

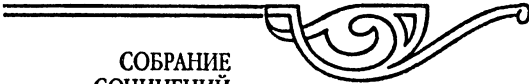
The image shows the front cover of a book. The cover is a deep red color with a subtle texture. A decorative border, also in red, frames the entire cover. Inside this border, there are four ornate, symmetrical designs in a slightly lighter shade of red, positioned in the corners. These designs appear to be stylized floral or foliate motifs. A diagonal banner, also in red, runs across the center of the cover. On this banner, the text "MOÏSE" is printed in large, bold, serif capital letters. Above "MOÏSE", the words "COMMERCE" and "ET" are printed in smaller, similar capital letters, separated by a small space. The overall design is classic and elegant.

MOÏSE
COMMERCE
ET

COMERCET
МОЭМ



СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Том 1

БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Главы 1—59

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
М87

Перевод с английского
Е. ГОЛЫШЕВОЙ, Б. ИЗАКОВА

Разработка оформления художника
И. МАРЕВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Моэм С.

М87 Собрание сочинений: В 9 т. Т. 1: Бремя страстей человеческих: Гл. 1—59 / Пер. с англ. Е. Голышевой, Б. Изакова; Вступ. ст. В. Скороденко. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 352 с.

ISBN 5-300-02729-4 (т. 1)

ISBN 5-300-02728-6

Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.

В первый том Собрания сочинений включены первые главы романа «Бремя страстей человеческих» (1915).

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-300-02729-4 (т. 1)
ISBN 5-300-02728-6

© Е. Голышева, перевод, наследники, 1999
© Б. Изаков, перевод, 1999
© ТЕРРА—Книжный клуб, 1999

«Я замыслил тогда прожить такую жизнь, в которой писательство, не исключая других форм деятельности, играло бы самую существенную роль и которую гармонично завершала бы смерть.

Гармония в моем случае уже достигнута.
(У. Сомерсет Моэм. В девяностолетний юбилей)

ДОСТИГНУТАЯ ГАРМОНИЯ

В 1897 году рецензент английского журнала «Литературный мир» с похвалой отозвался о дебюте молодого автора — романе «Лиза из Ламбета»: «Поставленную перед собой задачу он исполнил с примечательным умением». В 1964 году маститый английский писатель Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) подвел черту: «Я давно уже перенес на бумагу все, что у меня было, и отложил перо в сторону». Однако же старый мэтр, более полувека отслуживший английской изящной словесности, не удержался и посетовал: «Меня, правда, взяла досада, что я не успел закончить новую книгу...»

Между этими двумя веками уместается впечатляющий литературный труд — множество романов, рассказов, эссе, пьес, очерковых книг, критических выступлений и т. п. — и долгая человеческая жизнь: в целом благополучная, отмеченная бесконечными путешествиями, поездками, встречами, жадным вниманием к многообразию мира и людей.

Сам мастер сказал на закате лет:

«Жизнь у меня была полная, интересная».

Здесь необходимо уточнение. При том, что Моэм отнюдь не был аскетом и понимал толк в чувственных радостях существования, жизнь его была отдана творчеству, слову, о чем сам он писал с присущей ему определенностью в книге «Подводя итоги» (1938), этом необычном для английской литературы соединении автобиографии, свободного эссе об искусстве, осторожной исповеди и эстетического трактата. «В каждом человеке я вижу не самоцель, а материал, который может пригодиться мне как писателю». Такой материал видел он и в собственной жизни.

Один из самых проницательных в английской литературе XX столетия авторов, писавших о трагикомедии жизни, Моэм делал упор на комедии, но, когда полагал нужным,

с не меньшим мастерством и пронзительной силой изображал трагические развязки судеб, пагубу заблуждений и самообманов, роковое торжество «общественного мнения» над естественными стремлениями личности. С первого же произведения, которое он опубликовал еще студентом медицинского института при лондонской больнице святого Фомы, Мозэм предпочитал говорить своим соотечественникам вещи нелестные, малоприятные, а то и вовсе, с их точки зрения, недопустимые и даже оскорбительные.

Дело заключалось не в том, о чем он писал, — писал о многом и разном: о лондонских трущобах и литературных салонах, об английской провинции и столичной аристократии, о культурных центрах Европы и об экзотических уголках планеты. И даже не в том, что он издевался над официально провозглашенными установлениями, клеймил общественные язвы и смеялся над индивидуальными пороками: этим занимались и до него, и занимались успешно, так что обличение социальных несправедливостей и критика нравов есть неотъемлемая часть британской литературной традиции — Джон Беньян, Свифт, Филдинг, Смоллетт, Джейн Остен, Диккенс, Теккерея, Джордж Элиот, Сэмюел Батлер. Все заключалось в том, как это делал Мозэм.

Сдержанно. Невозмутимо. Непринужденно. Тонко. Субийственной иронией. Не давая при этом поблажки и себе самому, кем бы ни выступал его alter ego, главным ли действующим лицом или просто рассказчиком, и какое бы имя ни носил — Филипа Кэри («Бремя страстей человеческих», 1915), Уильяма Эшендена («Луна и грош», 1919; одноименный сборник рассказов, 1928; «Пироги и пиво», 1930) или, просто и откровенно, мистера Мозэма («Острые бритвы», 1944).

Он говорил современникам то, что о них думал, и заставлял их увидеть себя такими, какими они доподлинно смотрелись на «ярмарке житейской суеты» (метафора Д. Беньяна). Автор и себя числил среди участников этой ярмарки и не только не стремился приобрести за счет ближних моральный капитал в глазах читателя, но сам себя подчас судил более нелестно, чем действующих лиц.

Такая позиция невольнo провоцировала даже читателей, не говоря о критиках. Если уж сам автор, скрываясь за фигурой повествователя, подчеркивает, что отказывается выносить нравственный суд над жизнью, что он не выше и не ниже, не лучше и не хуже своих персонажей, то, стало

быть, все люди таковы. Неутешительный вывод, особенно для тех, кто считает, что уж к его-то персоне рассказанное в книге не может иметь никакого отношения. Моэма требовалось уличить в предвзятости, еще лучше — в очернительстве, чтобы объяснить такую его творческую установку. На помощь пришла нормативная эстетика.

Она сложилась в Великобритании в XIX веке при королеве Виктории и все еще пыталась диктовать художникам свои законы, когда Моэм был уже посредине своего творческого пути. Эта эстетика с ее твердым кодом «нравственного» и «подобающего» в искусстве и литературе не только указывала, что прилично (то есть можно), а что неприлично (то есть нельзя) изобразить, но и требовала неукоснительного разграничения и противопоставления добра и зла, добродетели и порока, причем порок надлежало заклеить и наказать, а добродетели дать продемонстрировать свое торжество и схлопотать награду. Моэм эти требования постоянно нарушал, как нарушает их сама жизнь, а критика делала вывод, что он не различает добро и зло, что для него не существует святых, что он способен лишь охаивать да осмеивать. Иными словами, что автор — циник.

Он сам, впрочем, понимал, что дразнит гусей, и устами эстета Элроя Кира, персонажа романа «Пирог и пиво», признал, что по-иному и быть не могло: «И потом вы ведь знаете критиков. Если напишешь правду, они назовут тебя циником, а такая репутация не идет на пользу писателю». Не шли на пользу Моэму и весьма здравые его суждения о материальной стороне творчества, приносящего автору средства к существованию. Допустим, такое: «Рискуя оскорбить чувство читателя, исповедующего недоступность писательского вдохновения практическим расчетам, должен сказать, что писатели, естественно, предпочитают писать то, на что имеется спрос». Позволительно, однако, задаться вопросом — что циничного. в том, если писатель, ставящий свободу первейшим условием творчества, резонно считает деньги необходимой в человеческом обществе предпосылкой такой свободы, ибо такова природа общества? В девяносто лет он подытожил это в блистательном афоризме: «...деньги можно сравнить разве что с шестым чувством, которое помогает пользоваться остальными пятью».

Желание самому сказать о себе правду, развеять домыслы, клубившиеся вокруг его имени, было, возможно, одним из стимулов, подвигнувших Моэма на книгу «Подводя

итоги», в которой он с предельной — для ставшего притчей во языцех сдержанного английского характера вообще и скрытного собственного в частности — откровенностью поведал о себе и своих взглядах на жизнь, искусство и писательское ремесло. Облик автора, встающий со страниц этой книги, отнюдь не прост; самоуважение и культ мастерства не позволили Моэму пускаться в оправдания или подниматься на котурны. Из книги явствует — и это подтверждают эссе Моэма и косвенно его романы и новеллы, — что по своим философским взглядам он был агностик, по натуре — скептик, в литературе же тяготел к реалистическому письму. И еще эта книга неоспоримо свидетельствует о демократизме Моэма.

Об английском, конечно, демократизме, который отличается от популистского его варианта, распространенного в Америке, и проявляется не столько в житейских обстоятельствах, сколько в сфере миропонимания. С каждым человеком Моэм умел разговаривать на его языке, но общение с народом, тем паче «хождение в народ» его не привлекало. Его демократизм выражался, во-первых, в признании и отстаивании принципов социальной справедливости для всех, что привело его, человека, консервативного во всем, что касалось революций, переворотов и прочих пертурбаций общества, к апологии революции: «Трудно примириться с тем, что у людей нет работы; что самая работа так уныла; что они, а с ними их жены и дети, живут впроголодь и впереди их не ждет ничего, кроме нищеты. Если помочь этому может только революция, тогда пусть будет революция, и поскорее». Во-вторых, последовательные и твердые демократические убеждения Моэма, претворившись у него, писателя, в эстетические установки, обернулись требованием культуры для всех, то есть общедоступности всех культурных ценностей, включая литературу. Художественная сторона культуры, полагал Моэм, важна не сама по себе, она подчинена нравственной сверхзадаче. В «Итогах» он писал о культуре: «Она должна служить жизни. Цель ее — не красота, а добро». Поэтому позиция тех, кто сознательно творит для узкого круга посвященных, зашифровывая свои произведения, с тем чтобы они заведомо не были понятны массовому читателю и, следовательно, до него не дошли, в лучшем случае, на взгляд Моэма, граничила с самообманом, в худшем — с шарлатанством. Кичившуюся своей рафинированностью и эрудицией и не подпускавшую

к ней «непосвященных» элиту он обозначил зло и метко: «спесь культуры». Поясним на всякий случай: это определение он никоим образом не распространял на великих экспериментаторов XX века, открывавших, нередко ценой гениальных ошибок, новые горизонты в искусстве и литературе, таких, например, как Пруст или Джойс.

После смерти Моэма, как всегда после кончины литературных патриархов, в Англии и за рубежом начали появляться критические монографии, авторы которых стремились переоценить его наследие и хотя бы задним числом отдать долг писателю, чьи лучшие книги пользуются любовью читателей во всем мире вот уже на протяжении нескольких поколений. Они не пытаются канонизировать Моэма, выпрямив и «причесав» его жизненный и творческий путь, как то намерен сделать в романе «Пирог и пиво» вездесущий критик Элрой Кир с писателем Дрифилдом. Впрочем, и пожелай они — едва ли в этом бы преуспели: словно предвидя такую возможность, Моэм с достаточной обстоятельностью сам рассказал о себе еще при жизни.

Он был мудр. В «великие» не рвался, но не страдал и от ложной скромности. Трезвость его суждений, суждений человека без иллюзий, самоочевидна, и когда он заявляет, что лучше любого критика понимает пределы, поставленные его таланту, ему можно верить на слово. Он не обольщался на собственный счет, размышляя над тем, что именно делает художника не просто мастером, но великим художником, мастером на все времена: «Мне кажется, что гениальность — это сочетание природного творческого дара и особой способности художника видеть мир совершенно по-своему и в то же время с такой широтой, что он находит отклик не у людей того или иного типа, но у всех людей. Его личный мир — это мир обыкновенных людей, только обширнее и богаче. Он обращается ко всему человечеству, и даже когда люди не вполне понимают его слово, они чувствуют, что оно полно значения».

Сам Моэм был готов удовольствоваться званием профессионального писателя без претензий: «...в произведениях моих нет и не может быть той теплоты, широкой человечности и душевной ясности, которую мы находим лишь у самых великих писателей». При всем том Моэм остается фигурой значительной, если мерить его не тем, чего нет в его книгах, а тем, что в них есть.

Есть же правда жизни и правда характеров — тех областей жизни и тех характеров, с которыми писатель был знаком и за верность изображения которых ручался. Говорить правду о том, что знаешь, было для Моэма главной творческой заповедью. Есть острая критика всевозможных форм нормативной и корпоративной морали, от мелкобуржуазной (госпожа Стрикленд в романе «Луна и грош») до архиреволюционной (Саймон Фенимор в «Рождественских каникулах», 1939). Перо Моэма обретало особенно злое ехидство, когда речь заходила о социальной кастовой системе в британском, прежде всего — имперском ее варианте. Есть философско-художественный анализ в контексте исторического времени и социальной среды таких «вечных» вопросов, как смысл жизни, любовь, смерть, деяние, природа и предназначение искусства.

К этому надлежит добавить взыскательное мастерство формы — тщательно взвешенный и крепко сбитый сюжет, строгий отбор жизненного материала, емкость художественной детали, естественный как дыхание диалог, виртуозное подчинение своим целям смысловых и звуковых богатств родного языка, интонация повествования — доверительная, раскованная и одновременно отстраненная, лукаво смущающая читателя открытостью авторского суждения, но ограждающая самую личность автора от неподобающего любопытства. И, разумеется, знаменитый «моэмовский» стиль — соединение этой интонации с прозрачностью мысли и слова. Выразительный в своей прицельной точности и экономной простоте, его стиль — дань уважения читателю, тем более примечательная, что Моэм верил: даже заведомо равняясь на читателя, художник творит не для других — для себя. Он избавляется в процессе творчества от давления материала, замысла, видения, обретает свободу самоврачевателя и демиурга в одном лице:

«Все свои грехи и безумства, несчастья, выпавшие на его долю, любовь без ответа, физические недостатки, болезни, нужду, разбитые надежды, горести, унижения — все это он волен обратить в материал и преодолеть, написав об этом... Все недоброе, что с ним может случиться, он властен изжить, переплавив в строфу, в песню или в повесть. Из всех людей только художнику дана свобода».

Что еще есть в книгах Моэма? Неброская гордость британца, подразумевающая уважение к другим народам и весям. В ее основе лежит то, без чего не может состояться

настоящий писатель, — любовь к родной стране и соотечественникам; любовь, окрашенная терпкой горечью недовольства, здраво учитывающая все «накладки» на историческом пути государства и нации, далекая от квасного (в данном случае, видимо, уместней было бы сказать — замешенного на эле) патриотизма; любовь, опирающаяся на органическое чувство родной речи, великого языка Шекспира.

Всего этого, если подумать, вполне хватает, чтобы Моэму было обеспечено его законное место среди старших и младших современников, мастеров английской прозы нынешнего завершающегося столетия, — Д. Голсуорси, Г.-Д. Уэллса, Р. Киплинга, Г.-К. Честертона, А. Беннетта, Д.-Г. Лоуренса, Вирджинии Вулф, Р. Олдингтона, О. Хаксли, Д. Кэри, И. Во, Л.-П. Хартли. Очень разные художники, державшиеся подчас диаметрально противоположных точек зрения на назначение и природу искусства, все они в конечном счете служили одному и тому же: родной стране, ее культуре, приумножению английской литературы.

Это следует подчеркнуть, потому что разговоры о французских «корнях» творчества Моэма в критике не редкость. Они носят комплиментарный характер, когда его именуют, скажем, «английским Мопассаном», или, напротив, уничижительный, когда его представляют эдаким эпигоном французского натурализма. Моэм сам подал пищу для подобных толков. Он не скрывал, что прошел «школу» французского художественного письма, Вольтера называл любимым писателем, а в «Итогах» признавался: «Французских романистов я изучал больше, чем английских, — взяв все, что мог, у Мопассана, я обратился к Стендалю, Бальзаку, Гонкурам, Флоберу и Анатолью Франсу».

Однако «школа» совсем не то, что подражание, и чем автор талантливей, тем дальше он отходит от учителей, тем самостоятельней и самобытнее то, что выходит из-под его пера. Взгляд Моэма, его метафора (в широком смысле), его подходы были специфически английскими и сугубо моэмовскими. Вести его литературную генеалогию от Франции так же бессмысленно, как, допустим, вести ее от России на том основании, что он многожды писал с восхищением о Достоевском, Толстом, Чехове, и если его в свое время не произвели в «английские Чеховы», то, вероятно, лишь потому, что Кэтрин Мэнсфилд успела удостоиться этого титула раньше, чем Моэм прославился своими рассказами.

Патриотизм парадоксальным образом сосуществовал в нем с качествами, присущими тем, кого называют «гражданином мира», — тягой к перемене мест, способностью проникать в «земли чужой язык и нравы», любовью к Средиземноморью. Он вообще жаловал Старый Свет, особенно Испанию и Италию. После успеха «Лизы» он первым делом отправился на лето в Андалузию. Став преуспевающим драматургом, регулярно ездил по Европе, навещал Париж. С началом первой мировой войны отправился переводчиком при автоколонне Красного Креста в ту же Францию, а уж оттуда обстоятельства забросили его в США.

В 1916 году Моэм предпринял свое первое масштабное путешествие — плавание к островам южной части Тихого океана. Вернувшись в Америку, он женился на Сейре Уэлкам, которая родила ему дочь и с которой он разошелся в конце 1920-х годов. До конца войны ему выпало еще одно дальнее путешествие (по тайной казенной надобности), о котором пойдет речь в свое время. Вернувшись в Англию, он прожил в Лондоне десять лет (1918—1928). В 1928 году писатель приобрел на французском Лазурном берегу виллу «Мориск», ставшую его постоянной резиденцией и местом паломничества друзей и литераторов.

До второй мировой войны Моэм побывал в Малайе, Вест-Индии, Индии, Южной Америке, многих европейских странах; часто наезжал в Англию. Война застала его во Франции, и, прежде чем бежать морем из оккупированной немцами страны после разгрома союзников в Дюнкерке, он выпустил книгу очерков «Сражающаяся Франция» (1940), привлечшую внимание читателей даже в то трудное время. Работал он над этой книгой по предложению британского военного ведомства; оно же попросило Моэма отправиться в США рассказать американцам о сражающейся Англии. В октябре 1940 года писатель прилетел в Нью-Йорк. Он прожил в США в Калифорнии до 1946 года, когда возвратился на свою потрепанную, однако уцелевшую виллу.

На Лазурном берегу он оставался до конца своих дней. По-прежнему много путешествовал, в частности, бывал в США, Индо-Китае, Японии; каждое лето проводил в Англии, в Дорчестере. Принимал на вилле «Мориск» гостей, занимался популяризацией классического наследия, публиковал материалы автобиографического и литературно-критического характера. После войны увидели свет такие известные книги Моэма, как «Великие романисты и их

романы» (1948), «Записная книжка писателя» (1949), «Вкус к странствиям» (1952), «Точки зрения» (1958). Одним словом, эти годы его жизни показали, что вполне можно оставаться английским писателем, живя во Франции.

И все же Франция была особенно близка Моэму: в этой стране он родился, в ней он и умер. Ближе Франции ему была только Англия: жил и умер он подданным Британской короны, служил своей стране пером и умом и вернулся туда после смерти — прах Моэма, согласно его воле, был захоронен у библиотеки его имени в школе для мальчиков «Кингз Скул», той самой, куда он поступил десяти лет и откуда, недоучившись, с радостью уехал в старинный немецкий университетский город Гейдельберг шестнадцатилетним юнцом пополнять образование.

Моэм родился в Париже в семье юрисконсульта Британского посольства. Рано осиротев (в 1882 году умерла мать, через два года — отец), он был отправлен на воспитание в Англию к дяде со стороны отца, священнику в городке Уитстебл, графство Кентербери. Из дядюшкиного дома его и отдали в «Кингз Скул». Об этом периоде его жизни можно получить представление по романам «Бремя страстей человеческих» и «Пироги и пиво». В первом воссозданы переживания раннего увечного мальчика, одинокого среди грубоватых здоровых сверстников и в доме родственников-пуритан. Во втором выведен самоуверенный и самодовольный подросток, неглупый, наблюдательный, зараженный всеми предрассудками своих провинциальных родных — викария и его жены, чванливый и робкий одновременно.

Два взгляда на собственное прошлое.

«Бремя страстей человеческих» во многом повторяет поэтику «Лизы из Ламбета» через дистанцию почти в двадцать лет. Конечно, в «Бремени» меньше натурализма, фактографичность и наблюдения над социальной средой, свойственные «физиологическому очерку», смягчены и почти сведены на нет, тоньше и непроявленной психологические состояния персонажей, но в целом оба романа — добротные образцы самого что ни на есть критического социально-психологического письма, разве что в «Лизе» мастерство рисунка еще не так совершенно, тогда как в «Бремени» уже ощутима рука мастера. Показательно, что на этот роман восторженно откликнулся Т. Драйзер, почувствовав в нем близкую его собственной трактовку жизненного материала. От того горько-проницательного и мудро-ехидного

Мозма, романиста и рассказчика, звезда которого взошла на литературном небосклоне после первой мировой войны вместе с выходом в свет «Луны и гроша», в «Бремении», пожалуй, только бесконечная терпимость, рассеянные вспышки ироничности да отдельные сатирические мазки. Вместе с тем «Бремя страстей человеческих» остается одним из лучших романов о «воспитании чувств» во всей английской литературе и в этом смысле, безусловно, произведение классического ряда. Оно совершенно в своем жанровом «ключе», его появление было подготовлено предшествующим творчеством Мозма. Не случайно за годы, отделяющие эту книгу от самой первой, «Лизы из Ламбета», он опубликовал шесть романов (один исторический, пять социально-психологических на материале жизни английской провинции), а написал еще больше. «Бремя» подводит черту под определенным периодом — назовем его периодом близкого следования традиции — в писательской биографии Мозма, знаменует собой его вершину и завершение. Многие критики и читатели, приверженные эстетике великого английского романа XVIII — XIX веков, считают «Бремя страстей человеческих» лучшей книгой Мозма, и писатель с ними соглашался — возможно, из ностальгических чувств.

Появление «Луны и гроша» также было подготовлено работой Мозма, однако уже в другом жанре — драматургии. После скромного, но все же успеха у рецензентов «Лизы из Ламбета» Мозм сделал не столько даже решительный, сколько рискованный шаг, изменивший всю его жизненную планиду: поставил крест на карьере врача, к которой упорно готовился в институте пять лет (1892—1897), и стал профессиональным литератором. Но последовавшие за «Лизой» романы — «Становление святого» (1898), «Герой» (1901), «Миссис Крэддок» (1902) — денег не принесли, и молодой автор попробовал силы в драматургии.

Его пьесы не сразу попали на сцену, но, попав, прочно на ней обосновались. Самая первая, «Муж и жена» (1903), особого успеха не имела, но когда светская комедия «Леди Фредерик», написанная в 1904 году, а поставленная в 1907-м, целый год продержалась с аншлагом, судьба Мозма определилась твердо и окончательно. Другие его пьесы, в том числе созданные ранее, тоже нашли постановщиков, и в 1908 году в четырех лондонских театрах одновременно шли четыре разные пьесы Мозма. На одной из карикатур тех лет изображен Шекспир, изнывающий перед набором афиш о спектаклях по пьесам Мозма.

Биограф Моэма Энтони Кертис довольно сдержан в оценке его драматургического наследия: «Моэм... превратил себя в своеобразный компьютер по производству пьес, заложив в программу все элементы, необходимые для того, чтобы обеспечить пьесе спрос и успех: остроты, искательницу приключений с сердцем из чистого золота, шантаж и легкий ирландский акцент»¹. Ясно, что критик держит перед глазами «Леди Фредерик». Ясно и другое — для «хорошо сделанной пьесы», в каноне которой писал Моэм-драматург, этого мало; тут требуется еще абсолютный слух на живую речь в диалогах и столь же абсолютное чувство соразмерности в сюжете. Все это имеется в «Леди Фредерик», изящной мелодраматической комедии о нравах эдвардианской эпохи² и образце не просто хорошо, но блестяще сделанной пьесы.

За тридцать лет (1903—1933) свет ramпы увидели двадцать три пьесы Моэма, большей частью комедии, самая смешная из которых, по мнению критики, — «Круг» (1921), а также драмы, причем трагические. Одна из последних, повествующая о преступлении матери, убившей из сострадания любимого сына-инвалида («Священный огонь», 1929), воспринимается как аналог античной трагедии рока в XX веке. Перед тем как оставить драматургию, Моэм создал две пьесы, относящиеся к числу его самых сильных. Это драма «За заслуги» (1932) о кризисе традиционных мировоззренческих и духовных ценностей Великобритании после первой мировой войны, об искажении и иссушении души страданием — и гротескная комедия «Шеппи» (1933), построенная на обыгрывании абсурдных положений, возникающих из несоответствия между психологией рабочего человека и требованиями внезапно привалившего ему богатства.

Рассуждая о «хорошо сделанной пьесе», обычно ссылаются на А. Пинеро, Д.-М. Барри, Г.-А. Джонса, Н. Коурда, как будто пьесы О. Уайльда или Б. Шоу «сделаны» плохо. Моэм-драматург, как правило, рассматривается в кругу А. Пинеро и других, а между тем по складу своей иронии, по вкусу к положениям парадоксальным, по неприятию культа видимости, внешнего благообразия, которое выдается за

¹ Curtis Anthony. The pattern of Maugham. — L., H. Hamilton, 1974, p. 62.

² Так именуют годы правления (1901—1910) английского короля Эдуарда VII.

внутреннюю порядочность, он был ближе к Уайльду. Что до его последних пьес (с конца 1920-х годов), то свойственная им запечатленность исторического времени, социальная подоплека конфликтов и гротесковая заостренность мизансцен приводят на память Б. Шоу. Комедии Моэма никогда не были только комедиями; это были в прямом и переносном смысле комедии характеров, и на этом уровне содержащаяся в них издевка над социальной мифологией бывала довольно злой.

Пьесы Моэма, таким образом, — неотъемлемая страница английской драматургии XX века, звено в цепочке, соединяющей драматургию О. Уайльда, Д.-Б. Пристли и Д. Осборна, автора послевоенных трагикомедий о жизни «среднего» англичанина. Они несколько не устарели: в хорошей постановке динамика действия и сценичность мизансцен обеспечат им успех и у современного зрителя. Они ценны сами по себе — и все же в перспективе времени значение драматургии для творчества Моэма видится в другом. Пьесы принесли ему независимость и веру в правильность сделанного шага, это во-первых. Они стали своего рода полигоном стиля, это во-вторых. Работая над ними, писатель учился устраняться из повествования, уводить смысл и свою оценку изображенного в характеры и положения, комментировать жизнь не от первого лица (напомним, что в книгах Моэма рассказчик отказывается быть судьей), а через сюжет, говорить сжато, емко, по существу. Все эти приобретения мастерства в полной мере проявились в романе «Луна и грош».

Вместе с двумя другими, «Пироги и пиво» и «Театр» (1937), он образует нечто вроде трилогии о художниках-творцах и творчестве. Центральные персонажи этих книг, к кому так или иначе стянуты все нити повествования, — живописец Чарлз Стрикленд («Луна и грош»), писатель Эдуард Дриффилд («Пироги и пиво»), актриса Джулия Лэмберт («Театр»). Современники усматривали в них сходство с реальными лицами, упрекали писателя в искажениях, окарикатуривании, даже клевете. Писатель как мог опровергал такие обвинения, указывая в тех случаях, когда сходство было очевидным (например, между влиятельным критиком Хью Уолполом и действующим лицом «Пирогов и пива» Элроем Киром), что образ чисто собирательный, а в тех, когда совсем небольшим, как Дриффилда с английским писателем Томасом Гарди, что оно случайно и автор, всего

лишь раз встречавшийся с «прототипом» в реальной жизни, вообще не понимает, о чем тут можно спорить. Моэм, конечно, лукавил: ему бывало достаточно одной беседы с человеком, чтобы тот возник потом как живой на страницах его прозы. Но он безусловно был прав, утверждая: «Ведь все образы, что мы создаем, — это лишь копии с нас самих». Так что, скажем, не Поль Гоген, человек и художник, интересовал Моэма в романе «Луна и грош» — автору было важно, отталкиваясь от фактов личной и творческой биографии французского мастера кисти, создать самобытное художественное произведение и поставить в нем проблемы творчества, нравственности и социального окружения творца, которые занимали именно его, Моэма. Они исследованы во всех трех романах, однако решены неодинаково.

Возьмем одну из них: творец — и социальное окружение.

В романе «Луна и грош» вселенная Стрикленда-художника — его искусство и служение искусству — представлена как некий замкнутый мир, подчиняющийся собственным законам. Рядом с ним существует другой мир — вселенная буржуа, о которой повествуется уже в другом «ключе».

Если мир Стрикленда прорывается в вечность, если забвение и время не властны над его искусством, то мир госпожи Стрикленд, этой респектабельной буржуазки, обречен на небытие. Бег времени почти физически ощутим там, где жизнь суетна и пошла. Моэм подчеркивает это великолепно найденным композиционным «ходом»: описав интерьер в доме Стриклендов еще тогда, когда его хозяин был добропорядочным гражданином и семьянином (гл. четвертая), он сопоставляет его с интерьером в особняке госпожи Стрикленд по прошествии двадцати лет (гл. пятьдесят восьмая). Добропорядочный гражданин после многих метаморфоз превратился в великого художника, гордость человечества, а вот госпожа Стрикленд только постарела, в остальном же ничуть не изменилась. В ее доме ткани по узору Морриса уступают место диванным подушечкам по эскизам Бакста, что естественно: моды меняются, время уходит, ускользает. Но пошлость остается неизбывной.

Тут требуется отступление об отношении Моэма к снобизму, явлению весьма распространенному, но по происхождению сугубо британскому. Суть его заключается в оценке человека не по его личным качествам, а по месту, которое он занимает на лестнице общественной иерархии, и в соответствующем поведении: тех, кто хотя бы на ступеньку

ниже, уже можно третировать; тех, кто стоит выше, надлежит почитать; смысл жизни — самому подняться на столько ступенек, на сколько получится, для чего, понятно, приходится кого-то топтать, а перед кем-то тянуться. Снобизм как холуйское по природе состояние души уничтожал своим пером, выставляя его на осмеяние, еще великий Свифт в «Сказке бочки» и «Путешествиях Гулливера». Ко временам Моэма снобизм пришел обогащенный опытом многовекового колониального владычества, включая сложившийся в имперских условиях и вошедший в плоть и кровь нации социально-психологический стереотип британского офицера и джентльмена.

Ирония Моэма суховата, язвительна и нередко по-свифтовски ригорична, когда он касается пошлой жизни пошлых людей, и это понятно. Но столь же понятно и то, что нравственная и эстетическая критика мира буржуазной посредственности принимает в его книгах форму развенчания снобизма с помощью смеха и едкой иронии. У Моэма было особое чутье на истинные побуждения, лежащие в основании человеческих действий, и он умел эти побуждения обнажать, точнее, заставлять персонажи самораскрываться в характерных фразах, жестах, гримасах, типичных, то есть предсказуемых, реакциях на те или другие жизненные обстоятельства. Из английских писателей XX века, может быть, никто не представил снобов так полно и в таком разнообразии видов, как Моэм, и многие из созданных им гротескных образов вполне могли бы претендовать на включение в теккереевскую «Книгу снобов», эту художественную энциклопедию явления в первой трети XIX века, но верную и для XX.

Моэм создал впечатляющую галерею — госпожа Стрикленд, помощник губернатора Гонконга Чарлз Таунсенд («Узорный покров», 1925), эстетствующий критик Элрой Кир, юный Уилл Эшенден и его церковная родня и вторая жена Дрифилла («Пироги и пиво»), молодой карьерист Томас Феннел («Театр»), Чарлз Мейсон из «Рождественских каникул», многие герои рассказов («Макинтош», «На окраине империи», «Заводь», «Записка», «Нечто человеческое», «В львиной шкуре» и др.); наконец, американец Эллиот Темплтон в «Острие бритвы» — ходячее вочеловечение снобизма. Он воплощает снобизм с такой же исчерпывающей полнотой, с какой шекспировский Шейлок — скупость, а Диккенсов Пекснифф — лицемерие.

Таковы персонажи первого ряда, но Моэм не упускает возможности выявить и припечатать социальный феномен и в самом незначительном из действующих лиц, причем для саморазоблачения сноба бывает достаточно двух слов, выразительной мины, жеста, ассоциации или сравнения, возникающего у рассказчика. Примеров хватает в каждом произведении, ограничимся поэтому «моментальными фотографиями» офицеров и джентльменов, а также их достойных половин в «трилогии».

«Театр» — полковник Госселин: «В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении». «Пирог и пиво»: майор Гринкорт делит все человечество на «сахибов» (то есть хозяев, соль земли) и всех прочих; при майорше Гринкорт не заговаривают о посуде, поскольку негласный источник ее наследства — торговля этим товаром. «Луна и грош» — явление полковницы: «У миссис Мак-Эндрю, уже изрядно поблекшей, был такой воинственный вид, словно она засунула к себе в карман всю Британскую империю; вид, кстати сказать, характерный для жен старших офицеров и обусловленный горделивым сознанием принадлежности к высшей касте...»

В трактовке Моэма снобизм — это возведенный в абсолют предрассудок. Абсолютизация же любой мнимости, считал писатель, порождает нетерпимость и, как следствие, разнообразные изощренные формы фанатизма. Все это, по Моэму, глубоко противно человеческой натуре, суть насилия над жизнью, а последняя — в этом он был глубоко убежден — не терпит насилия, восстает и заставляет человека жестоко расплачиваться за поругание естества — и биологического, как в сильном рассказе о запретной любви-инцесте «Сумка с книгами», и социального, как в случае с преподобным Дэвидсоном из хрестоматийной новеллы «Дождь».

Как бы там ни было, Моэм свидетельствует: в разгороженном «протокольном» мире, где правят мнимости, человеку-творцу делать нечего — он в него не «вписывается». Стрикленд обретается вне этого мира. Дриффилд от него отталкивается, бежит из этого мира в переносном, а на закате жизни и в прямом смысле слова, когда удирает от второй жены пообщаться с простым человеком в трактире. На свой лад, впрочем, бежит и его молодой коллега по писательскому цеху Эшенден, усвоивший истину: «Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем».

Актеру сложнее — бежать, казалось бы, некуда: «Все люди — наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение — быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения». От зрителя и впрямь не убежишь. Однако предрассудок — это предрассудок, о чем Джулия Лэмберт забыть не дают: «Отец (полковник Госселин. — В. С.) говорит, ты — настоящая леди, ни капли не похожа на актрису». Так Джулия находит свой способ бегства, поменяв местами искусство и действительность. «Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности» — вот что для нее значит выход на сцену.

В таком контексте Мозму никак было не обойти «вечного» вопроса, неизменно волнующего людей творческой мысли и творческого темперамента, — об отношении искусства и жизни. Это суть соотношения между красотой и моралью, между личностью художника-творца и плодами его искусства.

В «Мощарте и Сальери» А. С. Пушкин утверждал, что «гений и злодейство две вещи несовместные». Мозм в романе «Луна и грош» показал, что эти «вещи» совмещаются. Убийство (в конечном счете это именно убийство) Стриклендом Бланш Стрѐв своей жестокостью не становится чем-то другим оттого, что убийца — человек гениальный и великий художник, что деяния его лишены ханжества и лицемерия и нет для него в смерти Бланш никакой личной корысти.

Служа искусству, Стрикленд убивает не одну Бланш — он убивает в себе человека. Чтобы реализовать свой гений, он превращается в личность бездушную, безнравственную, причем не с точки зрения нормативной морали, опирающейся на снобизм (тут все ясно: раз гений — значит, богема, и нечего ждать другого), но по большому счету общечеловеческой нравственности. Почему такое превращение необходимо связано с его гениальностью — этот парадокс Мозм оставляет без ответа. «Гений и злодейство» совмещены в Стрикленде статично, ему недостает того, что, в применении к характерам великой литературы, называется диалектикой души. Разумеется, в трактовке Мозма Стрикленд-художник неизмеримо существенней в любом смысле, чем Стрикленд — плохой человек. Мозм возвеличивает дело жизни творца. И все же... Все же лучшее творение Стрикленда, фреска на стенах деревянной хижины, гибнет

в огне. Деталь явно символическая, которую тем более нельзя обойти, что символика у Моэма нечастый гость.

Нет, отнюдь не случайно введен в роман эпизод уничтожения самой гениальной работы Стрикленда — росписи «страшной», «ужасающей». Уже самые эпитеты указывают на то, что могут существовать иные, более высокие формы прекрасного, соединяющие красоту, истину и добро. Другими словами: творческий гений, одержимость вдохновением — с разумной человеческой совестью.

Так оно и происходит в двух других романах «трилогии», где в облике мастеров — Дриффилда и Джулии Лэмберт — творческое начало и живой человек не разведены по полюсам, взаимопроникают, и это прослежено автором. Поэтому их характеры не лишены диалектики души.

Видимо, с ходом лет Моэму становилось яснее и то, каким образом в одной душе низменные инстинкты и физиология уживаются с гениальностью, и кое-что в природе самой гениальности. Теперь гениальность для него в первую очередь способность не к феерическому самовыражению, но к неповторимому, отмеченному личностью художника перевоссозданию жизни, успех которого и есть показатель красоты. Не красивости, а именно красоты, как о том недвусмысленно свидетельствует «портрет» лучшей книги Дриффилда, романа «Чаша жизни»: «В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко — от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус».

Можно видеть, что высшая свобода художника, о которой писал Моэм, — свобода переплавить собственный опыт, перевоссоздав жизнь, — заложена в самой природе гениальности. Именно с ней связаны творческие взлеты Дриффилда. Таково же, под пером Моэма, и существо актерского гения: «У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием». Нетрудно убедиться, насколько непохожими на самих себя в жизни предстают художники в своем

творчестве — и в то же время насколько их творчество является выражением их личности со всеми ее сторонами, в том числе и малосимпатичными.

В отличие от Стрикленда, Дрифилд и Джулия Лэмберт не злодеи, хотя и ангелами их отнюдь не назовешь; но и неангелические свойства натуры они преобразуют в красоту. В этом — их высший суд и оправдание. То ли потому, что Стрикленд — гений посмертной славы, тогда как книги Дрифилда находят своего читателя при жизни автора, а дару актрисы, помимо самовыражения, требуется сидящий в зале живой человек; то ли потому, что Моэм кое-что пересмотрел в своих взглядах, но в двух последних частях «трилогии» отчетливо проводится мысль, прозвучавшая в подтексте романа «Луна и грош» несколько глухо: конечное оправдание человека-творца — в создании красоты, необходимой другим.

Но что такое — необходимость красоты?

По Ф. М. Достоевскому, красота должна спасти мир. Моэм почитал Достоевского, и, видимо, эта формула великого писателя не вызвала бы у Моэма внутреннего сопротивления. Однако он, с присущей британцам эмпиричностью, захотел бы сузить ее космический характер до обозримых масштабов. Практически именно это он и сделал в своем определении классики: «Классической книга становится не потому, что ее хвалят критики, разбирают профессора и проходят в школе, а потому, что большие массы читателей из поколения в поколение получают, читая ее, удовольствие и духовную пользу».

«Духовная польза» — это в высшей степени важно для Моэма. Под нею он разумел не воспитательные и уж подавно не пропагандистские задачи, но способность побуждать к нравственным переживаниям: «Ценность искусства — не красота, а правильные поступки». Тут нет противоречия, поскольку, как явствует из многих суждений Моэма, искусство приводит к «правильным» (читай: нравственным, добрым) поступкам не напрямую, а через красоту, вызывающую к эстетическому чувству. Красота — необходимый, хотя и недостаточный критерий значимости произведения искусства. Или, как формулировал это Моэм: «Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека и таким образом вызывает в нем активное отношение к жизни». Никакого ущемления прав искусства в этом нет. Если вспомнить, что абсолютным

искусством было для Моэма искусство жить, то становится ясным, сколь высоко ставил этот скептик и рационалист работу художника-творца.

И все же подчинял творчество жизни. Как ни любил Моэм искусство, как ни был ревнив к своему ремеслу писателя, жизнь для него была выше искусства, важнее. Когда художники в «трилогии» забывают о том, что первично, жизнь восстает и берет реванш. Счеты между художником и жизнью не сводятся только в «Театре», да и то, вероятно, потому, что для великой актрисы жизнь — это искусство, а искусство — это жизнь. А вот Стрикленда, как уже говорились, жизнь, на которую ему было плевать, настигает — и гибнет его лучшее творение. Расплачивается жизнь и с Дрифилдом: и за свободу художника (фраза его первой жены Розы о том, что, будь жив их ребенок, она бы не ушла от мужа), и за легкое к себе отношение — сначала оставив без Розы, потом устроив тюрьму с надзирательницей в виде второй жены, наделенной всеми ненавистными Дрифилду мещанскими пороками и снобизмом, а затем, после смерти, отдав на растерзание литературным стервятникам. Велика внутренняя свобода художника, но призрачна свобода человека. По-настоящему свободна только жизнь в своем непрерывном течении, и эту свободную жизнь с ее раскованностью и щедростью открытого чувства олицетворяет в романе Розы, один из самых живых и обаятельных женских характеров у Моэма. Роман — о писателях, живых и мертвых, а последнее слово в нем остается за Розой, которая и книг-то их никогда не читала, просто живет себе — и все.

Если спор о главенстве между искусством и жизнью Моэм однозначно решал в пользу последней, то вопрос вопросов — «что такое вообще жизнь и есть ли в ней какой-то смысл» («Острые бритвы») — занимал Моэма на протяжении всего творческого пути, и ответы на него он давал разные.

В период «Лизы из Ламбета», когда на его взгляды влияли теория Дарвина и спенсерианство (бесподобный портрет мрачноватого юного детерминиста дан в главе XXI «Итогов»), ответ, естественно, был ясен и прост: человек живет для того, чтобы участвовать в битве за существование, где может выстоять, а может и проиграть. Ранние пьесы не добавили к этой концепции ничего нового, хотя и перенесли арену битвы в светские салоны и буржуазные

гостиные (см. «Леди Фредерик»). В «Бремени страстей человеческих» Моэм уже ближе к философии, одушевляющей Мопассана в романе «Жизнь»: жизнь не так уж плоха и не так уж прекрасна, ее смысл в том, чтобы жить.

Иное решение предложено в первом романе «трилогии»: оправдание жизни — в плодах, что деятельность человека приносит людям. Если созданное им становится необходимым другим, значит, это прекрасно и жизнь прожита не зря. В какой-то степени эта точка зрения проведена и в двух других книгах, «Пирогам и пиве» и «Театре», при том что в романе 1929 года прекрасным творением человека становится сама его жизнь, которой он способен одарить других, как одаривает Роза молодого Эшендена. Однако еще раньше, в «Узорном покрове», уже развита мысль о жизни-красоте: «Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса... И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это — самое высокое произведение искусства».

Преподанный героине романа погибшим в борьбе с эпидемией мужем и скромно-героическими усилиями сестер-монахинь урок «прекрасно прожитой жизни» выводит ее на путь освобождения от «бремени страстей человеческих». Казалось бы, ответ найден: смысл жизни — в подвижничестве, в служении ближнему. Но Моэм на этом не останавливается. Сказав в пьесах «Священный огонь» и «За заслуги» о том, что страдание есть отрицание прекрасного и нравственного, он в романе «Рождественские каникулы» неожиданно пересматривает эту оценку, выступая с трактовкой страдания как очищения и искупления, то есть высшего в жизни деяния, ее «звездного часа». Героиня романа Лидия, русская по рождению, решает после осуждения за убийство мужа-француза стать проституткой, чтобы испытать чашу страданий.

«За грех надобно расплачиваться страданием. Откуда вам с вашей холодной английской душой знать, что такое любовь, в которой вся моя жизнь? Я — его, а он — мой. Я сотворила бы такое же гнусное преступление, когда б отказалась разделить с ним муки. Я знаю, что его грех можно искупить только нашим обоюдным страданием», — так прокламирует она смысл своего существования, а поскольку образ этот в сильной степени идеален, можно заключить,

что автор почитает идеальной и жизненную установку Лидии.

В обрисовке Лидии очевиднейше сказалось воздействие на Мозма женских образов классического русского романа, в первую очередь героинь Достоевского и Катюши Масловой из «Воскресения» Л. Толстого. Лидия с ее любовью к олитературенной России Чехова, Тургенева, Толстого, Скрябина, с ее странной, на взгляд западного человека, повадкой и загадочной «русской душой» — образ в принципе литературный, и литературные аналогии, как заметит читатель, возникают в связи с этим образом постоянно. Однако заимствования продиктованы явно поисками самого Мозма, стремившегося найти наиболее органичную форму слияния прекрасного с нравственным как образец «прекрасно прожитой жизни».

Нашел он его, как ни парадоксально, еще восточнее России — в философии веданты, включающей в себя понятия судьбы, предназначения и жизненного пути. В том, к чему вслепую идет героиня «Узорного покрова» и приходит осознанно Ларри Даррел, главное действующее лицо романа «Острие бритвы» и, пожалуй, единственный в творчестве Мозма образ, по определению Достоевского, положительно прекрасного человека.

Интерес Мозма к восточным религиозно-философским системам не случаен — они привлекали не одно поколение интеллигенции и молодежи на Западе. Привлекали как возможная альтернатива деляческому прагматизму, политическому цинизму, христианской догматике и пессимизму философии отчаяния от Шопенгауэра до Шпенглера. Однако мудрый скептик Моэм, в отличие, например, от своего соотечественника и крупного писателя Олдоса Хаксли, не принимал восточный мистицизм на веру, то есть не ставил новую религию на место старого христианства. Так и для его героя веданта не символ веры, а своеобразное руководство в повседневной жизни; основательное штудирование веданты под наставничеством учителя — «гуру» — лишь укрепляет Ларри в том, о чем он уже догадывался, помогает сформулировать истины, которые уже перед ним маячили, хотя и не давались в руки.

Принципиальное отличие Ларри Даррела от других персонажей Мозма — в решении проблемы «я и другие». Ему мало быть терпимым и просто помогать людям. Противясь любым попыткам превратить его в чью-либо собственность,

он в то же время готов полностью отдать себя и свое участие в распоряжение тех, кому это жизненно необходимо. Об активном милосердии Ларри свидетельствует его отношение к двум «падшим» в глазах респектабельного общества женщинам — Сюзанне Рувье, которую он в прямом смысле спасает от смерти, и сломленной обстоятельствами американке Софи Макдональд.

Повествователь — а он, напомним, носит здесь настоящую фамилию автора — уже не задумывается над тем, являет ли собою жизнь Ларри «самое высокое произведение искусства»: она, эта жизнь, оправдывает самое себя и наполняется смыслом, не нуждаясь в том, чтобы ее ценность отмеривали по эстетической шкале. Знаменательно, что Моэм, неизменно скрывающийся за маской рассказчика, в данном случае, когда грань между автором и повествователем практически стерта, демонстративно нарушает положенный им для себя принцип невмешательства и выступает с прямой оценкой персонажа: «...я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека». Это говорит о том, что в своем итоговом романе Моэм объективно признает: смысл жизни человека — в ее нравственном содержании.

Едва ли случайно, что образ этот возник в романе, создававшемся в разгар второй мировой войны. И в реакции Ларри на первую мировую войну, а он в ней сражался, и в его послевоенных настроениях есть многое, объединяющее его с героями «потерянного поколения», какими их показали Олдингтон, Ремарк, Хемингуэй. Однако история, а с ней вместе и Моэм, пересмотрела к концу 1930-х годов само явление, увидев в «потерянном поколении» не только трагедию веры, но и несостоятельность безверия. Закономерно. Первая мировая война повлекла за собой крах старых ценностей европейской цивилизации, вторая поставила под угрозу само существование этой цивилизации. Противостоять угрозе и спасти цивилизацию, не имея за душой ценностей, было невозможно. Моэм утверждал необходимость обретения ценностей, построенных на правде и справедливости, и приветствовал их даже в тех случаях, когда лично ему они были бесконечно далеки, как, скажем, ценности, провозглашенные в России двумя революциями. Февральской и Октябрьской.

Здесь он мог судить не совсем понаслышке: он побывал в России как раз между революциями, и привели его туда

не совсем обычные обстоятельства. Стремясь принести посильную пользу своей стране, он в годы войны согласился выполнить для британской контрразведки несколько деликатных заданий. О том, как это произошло и что это были за задания, он рассказал в новеллах, составивших книгу «Эшенден, или Британский агент». С секретными миссиями он побывал в Швейцарии, Италии — и в России, где ему было поручено уговорить Временное правительство продолжать военные действия и выяснить, как страны Антанты могут ему помочь удержаться у власти. Миссия окончилась ничем, что и следовало ожидать, но опыт пригодился Моэму как писателю, обогатив его знанием «тайной войны» в ее жестокой, а то и отталкивающей реальности. Это подтверждают новеллы из книги «Эшенден», в частности опереточная и одновременно жутковатая фигура «безвольного мексиканца», этой предтечи многочисленных агентов, заполонивших дурную западную беллетристику после второй мировой войны.

Но не только это. Увидел он тогда в России мало, разобравшись в увиденном не смог, что неудивительно, но трагизм и грандиозные масштабы происходящего, его изначальную непохожесть на все, что бывало когда-то в истории западных стран, ощутил каким-то шестым чувством, о чем говорят «российские» страницы «Эшендена», объединенные впоследствии Моэмом в большую новеллу, получившую название по одной из ее «составляющих» — «Рубашки мистера Харрингтона». Это помогло Моэму прочувствовать дух справедливости, поднявший народ на Октябрьскую революцию, и принять послеоктябрьскую действительность как историческую данность — неоспоримую, необратимую и утверждающую собственные идеалы, о чем он и писал в «Итогах».

Вместе с тем извращения послереволюционной практики в Советском Союзе, насколько он мог о них знать и судить о них применительно к западноевропейской действительности, он не принимал и осуждал. Об этом более чем красноречиво свидетельствует одиозная, хотя и не лишенная трагизма фигура Саймона Фенимора в романе «Рождественские каникулы». В его обрисовке тоже очевидны литературные влияния, в частности романа Достоевского «Бесы» (образ Верховенского-младшего). Саймон — средневропейское воплощение «верховенховщины» на новом историческом этапе. Автор вскрывает социально-психологические

«корни» явления: ущербность в детстве, обернувшаяся комплексом неполноценности, переродившимся, в свою очередь, в непомерное властолюбие; прагматизм и цинизм, помноженные на самоотрицание; политическое левачество вкупе с отказом от общечеловеческих ценностей и культом террора. Знакомый набор.

Левацкий максимализм, наложенный на исторический опыт Европы после первой мировой войны и Октября, приводит Саймона к утверждению диктатуры и террора как неперменных форм и условий существования сильной государственности. Достаточно самокритичный, чтобы понимать свою непригодность на роль диктатора, он готов удовлетвориться другой, более скромной, — главы аппарата подавления, организующего террор в общегосударственном масштабе. За образец он берет Дзержинского, вернее тенденциозный, и даже очень, облик этого деятеля. Саймон потому и порывает с героем романа, что видит в этой своей дружеской привязанности последние путы, сковывающие его в преддверии великой карьеры — распорядителя казнями при будущем тиране.

Следует отдать Моэму должное: он не был блестящим политологом, но человеческую натуру знал совсем неплохо. Последнее, вероятно, и помогло ему на примере Саймона Фенимора показать, какую уродливую форму способно принимать в человеке с гипертрофированным властолюбием сочетание ультрареволюционной левизны, доктрины террора и откровенно цинической «здоровой политики». Не нужно забывать, что герой, как и его автор, имел перед глазами наглядный пример успешного (мнилось тогда) функционирования таких разных по происхождению, идеологическому окрасу и пропагандистской терминологии, но очень схожих по методам подавления диктатур, как сложившиеся в Германии и в Советском Союзе.

Роман «Рождественские каникулы» любопытен, помимо прочего, как показатель интереса писателя к «русской» теме, воздействия на него русской литературы, а через нее и культуры в целом и озабоченности Моэма тем, что происходило в социалистической России. Критика новоявленной бесовщины говорит о том, что автор, что бы там ни писали современные ему критики и как бы сам он ни открещивался от политики, отнюдь не был чужд политической злобе дня, не жаловал террора и не оправдывал подавления прав человека. Роман крепко соотнесен с историческими реалиями

кануна второй мировой войны и показывает исчерпанность традиционных либерально-буржуазных воззрений и опирающегося на них образа жизни, как, впрочем, и несостоятельность насильственного внедрения новых классовых добродетелей.

Вот так творчество Моэма, при основательном с ним знакомстве, опрокидывает один за другим мифы о писателе, творившиеся при его жизни. С ходом времени значение его вклада в литературу становится все бесспорней, а облик творца, освобождаясь от наслоений, привнесенных страстями эпохи и обидами критиков, проступает все четче. Далекий от хрестоматийного, о чем предусмотрительно позаботился сам Моэм, но отмеченный теми качествами, которые писатель ценил в других, — добротой, терпимостью, верностью избранной стезе, требовательностью в служении своему ремеслу.

Моэм не пролагал новых путей в литературе, но создал свой стиль. Он не претендовал на открытие новых истин, но предложил свою точку зрения на истины известные, заставив их заиграть по-новому. Он жил в свое время и своим временем, не уходя от вопросов, которые оно ставило перед ним — художником слова и англичанином. Он честно свидетельствовал о том, что видел. Он говорил правду, как он ее понимал («Добиться успеха, как подсказывает мне опыт, можно лишь одним способом — говоря правду, как ты ее понимаешь...»). Он писал для того, чтобы его читали, он этого хотел, и он этого добился: с его смерти минуло четверть века, а его читают все так же. Как-то незаметно он перешел из современников — в классики. Вероятно, потому, что никогда не заботился о посмертной судьбе своих книг.

Потому, что жизнь была в его глазах важнее искусства и литературы.

Потому, что демократический читатель его книг был для писателя прежде всего живым существом, чье повседневное существование волновало его не меньше, если не больше эстетических предпочтений этого самого читателя. Недаром эссе к своему восьмидесятилетию он счел нужным закончить именно на этой ноте:

«Богатые сегодня уже не богаты... И бедняки теперь не так уж бедны: они живут в пристойных домах, лучше одеваются, в каждой семье есть приемники, телевизоры, проигрыватели. Наконец-то эти люди получили возможность

жить вполне обеспеченно и без страха смотреть в будущее. Мы все должны благодарить за это судьбу».

Судьба воздала и ему по заслугам.

«Что изменилось бы на свете, не существуй меня совсем?» — спрашивал он незадолго до смерти.

Теперь время ответило со всей определенностью: все стали бы беднее на несколько мудрых, интересных и нужных книг, оставленных Уильямом Сомерсетом Моэмом.

Завидный итог.

В. Скороденко

БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Главы 1—59



ГЛАВА 1

День занялся тусклый, серый. Тучи повисли низко, воздух был студеный — вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив — оштукатуренный, с портиком — и подошла к детской кроватке.

— Вставай, Филип, — сказала она.

Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся.

— Тебя зовет мама.

Отворив дверь в комнату на первом этаже, няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе.

— Тебе хочется спать, детка? — спросила она.

Голос у нее был такой слабый, что казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели.

— Дайте ему побыть со мной хоть немножко, — простонала она.

Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу; взяв правую ножку, она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притонулась к левой ноге. Она заплакала.

— Что с вами? — спросил врач. — Вы устали?

Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Доктор наклонился к ней.

— Дайте его мне.

Она была слишком слаба, чтобы протестовать. Врач передал ребенка на руки няньке.

— Положите его обратно в постельку.

— Сейчас.

Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь.

— Бедняжка! Что с ним теперь будет!

Сиделка пробовала ее успокоить; выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И хотя кровать была отгорожена ширмой, женщина догадалась, что он делает.

— Мальчик или девочка? — шепотом спросила она у сиделки.

— Тоже мальчик.

Женщина ничего не сказала. В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной.

— Филипп так и не проснулся, — сказала она.

Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс.

— Пожалуй, пока я здесь больше не нужен, — сказал он. — Зайду после завтрака.

— Я вас провожу, — предложила сиделка.

Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился.

— Вы послали за деверем миссис Кэри?

— Да.

— Как вы думаете, когда он придет?

— Не знаю, я жду телеграмму.

— А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать?

— Мисс Уоткин согласилась взять его к себе.

— А кто она такая?

— Его крестная. Как по-вашему, миссис Кэри поправится?

Доктор покачал головой.

ГЛАВА 2

Неделю спустя Филип сидел на полу гостиной мисс Уоткин в Онслоу Гарденс. Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших подушки. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол.

— Ах ты, шалун! Мисс Уоткин рассердится.

— Ку-ку, Эмма! — сказал он.

Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки.

— Мы домой поедem? — спросил он.

— Да, я пришла за тобой.

— У тебя новое платье.

Шел 1885 год, и женщины носили турнюры. Платье было сшито из черного бархата, с узкими рукавами и покатыми плечами; юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ.

— Почему же ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? — не выдержала она наконец.

— Я позабыл. А как поживает мама?

Теперь уже она могла ответить:

— Твоей маме хорошо. Она очень счастлива.

— Да?

— Мама уехала. Ты ее больше не увидишь.

Филип ничего не понимал.

— Почему?

— Твоя мама на небе.

Она заплакала, и Филип, хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма — высокая, костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица — была родом из Девоншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора.

От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда постигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя она взяла себя в руки.

— Тебя дожидается дядя Уильям, — сказала она. — Сходи попрощайся с мисс Уоткин, и мы поедем домой.

— Я не хочу с ней прощаться, — ответил он, почему-то стыдясь своих слез.

— Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу.

Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной доносились голоса. Филипп в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами, и подумал — мальчику было всего девять лет, — что, если он к ним зайдет, они его пожалеют.

— Я все-таки пойду попрощаюсь с мисс Уоткин.

— Вот молодец, сходи, — похвалила его Эмма.

— Ты сперва им скажи, что я сейчас приду.

Ему хотелось получше обставить прощание. Эмма постучала в дверь и вошла. Он услышал, как она говорит:

— Филипп хочет с вами проститься.

Разговор сразу смолк, и Филипп, прихрамывая, вошел в кабинет. Генриетта Уоткин была краснолицая, тучная дама с крашеными волосами. В те дни крашеные волосы были редкостью и привлекали всеобщее внимание; Филипп слышал немало пересудов на этот счет у себя дома, когда крестная вдруг изменила свою окраску. Жила она вдвоем со старшей сестрой, которая безропотно смирилась со своими преклонными годами. В гостях у них были две незнакомые Филиппу дамы; они с любопытством разглядывали мальчика.

— Бедное мое дитя, — произнесла мисс Уоткин и широко раскрыла Филиппу объятия.

Она заплакала. Филипп понял, почему она не вышла к обеду и надела черное платье. Ей было трудно говорить.

— Мне надо домой, — прервал наконец молчание мальчик.

Он высвободился из объятий мисс Уоткин, и она поцеловала его на прощание. Потом Филипп подошел к ее сестре и простился с ней. Одна из незнакомых дам спросила, можно ли ей тоже его поцеловать, и он степенно разрешил. У него

хоть и текли слезы, но ему очень нравилось, что он — причина такого переполоха; он с удовольствием побыл бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает, и сказал, что Эмма, наверно, его дожидается. Мальчик вышел из комнаты. Эмма спустилась в помещение для прислуги поговорить со своей знакомой, и он остался ждать ее на площадке. До него донесся голос Генриетты Уоткин:

— Его мать была моей самой близкой подругой. Никак не могу примириться с мыслью, что она умерла.

— Не надо было тебе ходить на похороны, Генриетта! — сказала сестра. — Я так и знала, что ты вконец расстроишься.

В беседу вмешалась одна из незнакомых дам:

— Бедный малыш! Остался круглым сиротой — вот ужас! Он, кажется, еще и хромым?

— Да, от рождения. Бедная мать так всегда горевала!

Пришла Эмма. Они сели в кеб, и Эмма сказала кучеру, куда ехать.

ГЛАВА 3

Когда они подъехали к дому, где умерла миссис Кэри — он стоял на унылой, чинной улице между Ноттинг-хиллгейт и Хай-стрит в Кенсингтоне¹, — Эмма повела Филипа прямо в гостиную. Дядя писал благодарственные письма за присланные на похороны венки. Один из них, принесенный слишком поздно, лежал в картонной коробке на столе в прихожей.

— Вот и Филип, — сказала Эмма.

Мистер Кэри неторопливо привстал и обменялся с мальчиком рукопожатием. Потом подумал, нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Это был человек невысокого роста, склонный к полноте. Волосы он носил длинные и зачесывал набок, чтобы скрыть лысину, а лицо брил. Черты лица были правильные, и в молодости мистер Кэри, наверно, считался красивым. На часовой цепочке он носил золотой крестик.

— Ну, Филип, ты теперь будешь жить со мной, — сказал мистер Кэри. — Ты рад?

Два года назад, когда Филип перенес оспу, его послали в деревню погостить к дяде священнику, но в памяти у

¹ Кенсингтон — квартал в Лондоне, где живут художники.

него сохранились только чердак и большой сад; дядю и тетю он не запомнил.

— Да.

— Мы теперь с тетей Луизой будем тебе вместо отца и матери.

Губы у мальчика задрожали, он покраснел, но ничего не ответил.

— Твоя дорогая мама оставила тебя на мое попечение.

Мистеру Кэри нелегко было разговаривать с детьми. Когда пришла весть, что жена его брата при смерти, он тут же отправился в Лондон, но по дороге только и думал о том, какую возьмет на себя обузу, если будет вынужден заботиться о племяннике. Ему было далеко за пятьдесят, с женой они прожили тридцать лет, но детей у них не было; мысль о появлении в доме мальчишки, который мог оказаться сорванцом, его совсем не радовала. Да и жена брата никогда ему особенно не нравилась.

— Я отвезу тебя завтра же в Блэкстебл, — сказал он.

— И Эмму тоже?

Ребенок положил свою ручонку в руку няни, и Эмма ее сжала.

— Боюсь, что Эмме придется с нами расстаться, — сказал мистер Кэри.

— А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной.

Филип заплакал, и няня тоже не смогла удержаться от слез. Мистер Кэри беспомощно глядел на них обоих.

— Попрошу вас оставить нас с Филипом на минутку одних.

— Пожалуйста, сэр.

Филип цеплялся за нее, но она ласково отвела его руки. Мистер Кэри посадил мальчика на колени и обнял.

— Не плачь, — сказал он. — Ты уже большой — стыдно, чтобы за тобой ходила няня. Скоро все равно придется отправить тебя в школу.

— А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной! — твердил ребенок.

— Это стоит много денег. А твой отец оставил очень мало. Не знаю, куда все девалось. Тебе придется считать каждое пенни.

Накануне мистер Кэри сходил к поверенному, который вел все дела их семьи. Отец Филипа был хирургом с хорошей практикой, и его работа в клинике, казалось,

должна была дать ему обеспеченное положение. Но после его скоропостижной смерти от заражения крови, к всеобщему удивлению, выяснилось, что он не оставил вдове ничего, кроме страховой премии и дома на Брутен-стрит. Умер он полгода назад, и миссис Кэри, слабая здоровьем и беременная, совсем потеряла голову, сдала дом за первую предложенную ей цену. Свою мебель она отправила на склад, а для того, чтобы не терпеть во время беременности неудобств, сняла на год целый меблированный дом, платя за него, по мнению священника, бешеные деньги. Правда, она никогда не умела экономить и была не способна сократить расходы в соответствии со своим новым положением. То немногое, что ей оставил муж, она растратила, и теперь, когда все издержки будут покрыты, на содержание мальчика до его совершеннолетия останется не больше двух тысяч фунтов. Но все это трудно было объяснить Филипу, и он продолжал горько рыдать.

— Пойди лучше к Эмме, — сказал мистер Кэри, понимая, что няне будет легче утешить ребенка.

Филип молча слез с дядиных колен, но мистер Кэри его удержал.

— Нам надо завтра ехать, в субботу я должен приготовиться к воскресной проповеди. Скажи Эмме, чтобы она сегодня же собрала твои вещи. Можешь взять все свои игрушки. И, если хочешь, выбери по какой-нибудь вещице на память об отце и матери. Все остальное будет продано.

Мальчик выскользнул из комнаты. Мистер Кэри не привык трудиться: он вернулся к своим эпистолярным занятиям с явным неудовольствием. Сбоку на столе лежала пачка счетов, которые очень его злили. Один из них казался ему особенно возмутительным. Сразу же после смерти миссис Кэри Эмма заказала в цветочном магазине целый лес белых цветов, чтобы украсить комнату усопшей. Какая пустая трата денег! Эмма слишком много себе позволяла. Даже если бы в этом не было необходимости, он все равно бы ее уволил.

А Филип подошел к ней, уткнулся головой ей в грудь и зарыдал так, словно у него разрывалось сердце. Она же, чувствуя, что любит его почти как родного сына — Эмму наняли, когда ему не было еще и месяца, — утешала его ласковыми словами. Она обещала часто его навещать, говорила, что никогда его не забудет; рассказывала ему о тех

местах, куда он едет, и о своем доме в Девоншире — отец ее взимал пошлину за проезд по дороге, ведущей в Экстер, у них были свои свиньи и корова, а корова только что отелилась... У Филипа высохли слезы, и завтрашнее путешествие стало казаться ему заманчивым. Эмма поставила мальчика на пол — дел было еще много, — и Филип помог ей вынимать одежду и раскладывать на постели. Эмма послала его в детскую собирать игрушки; вскоре он уже весело играл.

Но потом ему надоело играть одному и он прибежал в спальню, где Эмма укладывала его вещи в большой сундук, обитый жестью. Филип вспомнил, что дядя разрешил ему взять что-нибудь на память о папе и маме. Он рассказал об этом Эмме и спросил, что ему лучше взять.

— Сходи в гостиную и погляди, что тебе больше нравится.

— Там дядя Уильям.

— Ну и что же? Вещи-то ведь твои.

Филип нерешительно спустился по лестнице и увидел, что дверь в гостиную отворена. Мистер Кэри куда-то вышел. Филип медленно обошел комнату. Они жили в этом доме так недолго, что в нем было мало вещей, к которым он успел привязаться. Комната казалась ему чужой, и Филипу ничего в ней не приглянулось. Он помнил, какие вещи остались от матери и что принадлежало хозяину дома. Наконец он выбрал небольшие часы — мать говорила, что они ей нравятся. Взяв часы, Филип снова понуро поднялся вверх. Он подошел к двери материнской спальни и прислушался. Никто не запрещал ему туда входить, но он почему-то чувствовал, что это нехорошо. Мальчику стало жутко, и сердце у него испуганно забилося; однако он все-таки повернул ручку. Он сделал это потихоньку, словно боясь, что его кто-то услышит, и медленно отворил дверь. Прежде чем войти, он собрался с духом и немножко постоял на пороге. Страх прошел, но ему по-прежнему было не по себе. Филип тихонько прикрыл за собой дверь. Шторы были опущены, и в холодном свете январского полдня комната казалась очень мрачной. На туалетном столике лежали щетка миссис Кэри и ручное зеркальце, а на подносике — головные шпильки. На каменной доске стояли фотографии отца Филипа и его самого. Мальчик часто бывал в этой комнате, когда мамы здесь не было, но сейчас

все здесь выглядело как-то по-другому. Даже у стульев — и у тех был какой-то непривычный вид. Кровать была постелена, словно кто-то собирался лечь спать, а на подушке в конверте лежала ночная рубашка. Филип открыл большой гардероб, битком набитый платьями, влез в него, обхватил столько платьев, сколько смог, и уткнулся в них лицом. Платья пахли духами матери. Потом Филип стал выдвигать ящики с ее вещами; белье было переложено мешочками с сухой лавандой, запах был свежий и очень приятный. Комната перестала быть нежилой, и ему показалось, что мать просто ушла погулять. Она скоро придет и поднимется к нему в детскую, чтобы выпить с ним чая. Ему даже почудилось, что она только что его поцеловала.

Неправда, что он никогда больше ее не увидит. Неправда, потому что этого не может быть. Филип вскарабкался на постель и положил голову на подушку. Он лежал не шевелясь и почти не дыша.

ГЛАВА 4

Филип плакал, расставаясь с Эммой, но путешествие в Блэкстебл его развлекло, и, когда они подъезжали, мальчик уже успокоился и был весел. Блэкстебл находился в шестидесяти милях от Лондона. Отдав багаж носильщику, мистер Кэри и Филип отправились домой пешком; идти нужно было всего минут пять. Подойдя к воротам, Филип вдруг вспомнил их. Они были красные, с пятью перекладинами и свободно ходили на петлях в обе стороны; на них удобно кататься, хотя ему это и было запрещено. Миновав сад, они подошли к парадной двери. Через эту дверь входили гости; обитатели дома пользовались ею только по воскресеньям и в особенных случаях, — когда священник ездил в Лондон или возвращался оттуда. Обычно же в дом входили через боковую дверь. Был тут и черный ход — для садовника, нищих и бродяг. Дом, довольно просторный, из желтого кирпича, с красной крышей, был построен лет двадцать пять назад в церковном стиле. Парадное крыльцо напоминало паперть, а окна в гостиной были узкие, как в готическом храме.

Миссис Кэри знала, каким поездом они приедут, и дождалась их в гостиной, прислушиваясь к стуку калитки. Когда звякнула щеколда, она вышла на порог.

— Вон тетя Луиза, — сказал мистер Кэри. — Беги поцелуй ее.

Филип неуклюже побежал, волоча хромую ногу. Миссис Кэри была маленькая, высохшая женщина, одних лет со своим мужем; лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели. На черном платье она носила единственное украшение — золотую цепочку с крестиком. Держалась она застенчиво, и голос у нее был слабый.

— Ты шел пешком, Уильям? — спросила она с укором, поцеловав мужа.

— Я не подумал, что для него это далеко, — ответил тот, взглянув на племянника.

— Тебе не трудно было идти, Филип? — спросила миссис Кэри мальчика.

— Нет. Я люблю гулять.

Разговор этот немножко его удивил. Тетя Луиза позвала его в дом, и они вошли в прихожую. Пол был выложен красными и желтыми плитками, на которых чередовались изображения греческого креста и Агнца Божия. Отсюда наверх вела парадная лестница из полированной сосны с каким-то особенным запахом; дому священника повезло: когда в церкви делали новые скамьи, леса хватило и на эту лестницу. Резные перила были украшены эмблемами четырех евангелистов.

— Я велела протопить печь, боялась, что вы в дороге замерзнете, — сказала миссис Кэри.

Большая черная печь в прихожей топилась только в очень дурную погоду или когда священник был простужен. Если простужена была миссис Кэри, печь не топили. Уголь стоил дорого, да и прислуга, Мэри-Энн, ворчала, когда приходилось топить все печи. Ежели им приспичило повсюду разводить огонь, пусть наймут вторую прислугу. Зимой мистер и миссис Кэри больше сидели в столовой и обходились одной печью; но и летом привычка брала свое: они все время тоже проводили в столовой; гостиной пользовался один мистер Кэри, да и то по воскресеньям, когда ложился соснуть после обеда. Зато каждую субботу ему протапливали печь в кабинете, чтобы он мог написать воскресную проповедь.

Тетя Луиза отвела Филипа наверх, в крошечную спальню; окно ее выходило на дорогу. Прямо перед окном росло большое дерево. Филип припомнил теперь и его:

ветви росли так низко, что на дерево нетрудно было вскарабкаться даже ему.

— Комнатка невелика, да ведь и ты еще маленький, — сказала миссис Кэри. — А тебе не страшно будет спать одному?

— Нет.

В прошлый раз, когда Филип жил в доме священника, он приехал сюда с няней, и у миссис Кэри немного было с ним хлопот. Теперь она поглядывала на мальчика с некоторым беспокойством.

— Ты умеешь мыть руки, не то дай я тебе их вымою...

— Я сам умею мыться, — сказал он гордо.

— Ладно, когда придешь пить чай, я проверю, хорошо ли ты вымыл руки, — заявила миссис Кэри.

Она ничего не понимала в детях. Когда было решено, что Филип приедет жить в Блэкстебл, миссис Кэри много думала о том, как ей получше обращаться с ребенком: ей хотелось добросовестно выполнить свой долг. А теперь, когда мальчик приехал, она робела перед ним ничуть не меньше, чем он перед ней. Миссис Кэри от души надеялась, что Филип не окажется шаловливым или невоспитанным мальчишкой, ведь муж ее терпеть не мог шаловливых и невоспитанных детей. Извинившись, миссис Кэри оставила Филипа одного, но минуту спустя вернулась — постучала и спросила за дверью, сумеет ли он сам налить себе в таз воды. Потом она спустилась вниз и позвонила служанке, чтобы та подавала чай.

В просторной, красивой столовой окна выходили на две стороны и были завешены тяжелыми шторами из красного репса. Посредине стоял большой стол, у одной из стен — солидный буфет красного дерева с зеркалом, в углу — фисгармония, а по бокам камина — два кресла, обитые тисненой кожей, с наколотыми на спинки салфеточками; одно из них, с ручками, называлось «супругом», другое, без ручек, — «супругой». Миссис Кэри никогда не сидела в кресле, говоря, что предпочитает стулья, хотя на них и не так удобно: дел всегда много, а в кресло сядешь, облокотишься на ручки, и встать уже не захочется.

Когда Филип вошел, мистер Кэри разжигал огонь в камине; он показал племяннику две кочерги. Одна была большая, до блеска отполированная и совсем новая — ее звали «священником»; другая, поменьше и множество

раз побывавшая в огне, звалась «помощником священника».

— Чего мы ждем? — спросил мистер Кэри.

— Я попросила Мэри-Энн сварить тебе яйцо. Ты ведь, наверно, проголодался с дороги.

Миссис Кэри считала путешествие из Лондона в Блэкстебл очень изнурительным. Она сама редко выезжала из дома, потому что жалованья было всего триста фунтов в год, и, когда ее мужу хотелось отдохнуть, а денег на двоих не хватало, он ездил один. Ему очень нравилось посещать церковные конгрессы, и он каждый год умудрялся съездить в Лондон; один раз он даже побывал в Париже на выставке и два или три раза — в Швейцарии.

Мэри-Энн подала яйцо, и они сели за стол. Стул для Филипа был слишком низок, и мистер Кэри с женой растерялись.

— Я подложу ему несколько книг, — предложила Мэри-Энн.

Она взяла с фисгармонии толстую Библию и требник, по которому священник читал молитвы, и положила их Филипу на стул.

— Ах, Уильям, нехорошо, чтобы он сидел на Библии! — ужаснулась миссис Кэри. — Разве нельзя взять какие-нибудь книжки из кабинета?

Мистер Кэри задумался.

— Ну, от одного раза вряд ли будет большой вред, особенно если Мэри-Энн положит требник сверху, — сказал он. — Молитвенник составлен такими же простыми смертными, как мы. Он ведь и не претендует на то, что его начертала рука Всевышнего!

— Я совсем об этом не подумала, Уильям, — сказала тетя Луиза.

Филип вскарабкался на книги, и священник, произнеся молитву, срезал верхушку яйца.

— На, — сказал он Филипу, — можешь съесть.

Филип предпочел бы съесть целое яйцо, но ему никто этого не предложил, и он удовольствовался тем, что ему дали.

— Как тут у вас неслись куры, пока меня не было? — спросил священник.

— Ужасно! Яйца два в день.

— Ну, понравилась тебе верхушка, Филип? — спросил дядя.

— Спасибо, очень.

— Получишь еще одну в воскресенье днем.

Мистеру Кэри подавали к воскресному чаю яйцо, чтобы он мог подкрепиться перед вечерней службой.

ГЛАВА 5

Филип постепенно познакомился с теми, с кем ему пришлось жить, и по отрывочным разговорам, часто не предназначенным для его ушей, узнал многое и о себе и о своих покойных родителях. Отец Филипа был гораздо моложе священника из Блэкстебла. После блестяще пройденного курса медицины при больнице Святого Луки он получил там должность и сразу же стал зарабатывать много денег. Тратил он их не считая. Когда священник вздумал отремонтировать свою церковь и послал брату подписной лист, он изумился, получив двести фунтов; мистер Кэри — человек от природы бережливый и по необходимости расчетливый — принял этот дар со смешанным чувством: он завидовал брату, который мог пожертвовать такую сумму, радовался за свою церковь и был слегка смущен щедростью, казавшейся ему почти вызывающей. Потом Генри Кэри женился на своей пациентке — красивой девушке без гроша за душой, сироте, у которой не было даже близкой родни, хотя сама она была из хорошей семьи. На свадьбу понаехали толпы нарядных гостей. Священник, посещая их дом во время своих поездок в Лондон, держался с невесткой сдержанно. Она его смущала, и в душе он не одобрял ее удивительной красоты, да и одевалась миссис Кэри куда роскошнее, чем это пристало жене труженика-хирурга. А изящная обстановка дома, обилие цветов, которыми она себя окружала даже зимой, говорили о пагубной расточительности. Священник слушал ее рассказы о приемах, на которые ее приглашали, и, вернувшись домой, говорил жене, что неприлично пользоваться гостеприимством, не оказывая его в свою очередь. На стол подавали виноград, который должен был стоить не меньше восьми шиллингов за фунт; за завтраком ему предложили раннюю спаржу — в приходском саду она должна была поспеть не раньше чем месяца через два. Но вот случилось то, что он предрекал, и священник торжествовал, совсем как тот пророк, который радовался, глядя, как огонь и сера истребляют город,

не желавший, несмотря на все его увещевания, сойти со стези порока. Бедный Филип остался почти без гроша, и много ли ему теперь помогут великосветские друзья его матери? Мальчик слышал, как дядя говорил, что расточительность его отца была чуть ли не преступной и что провидение сжалилось над ребенком, прибрав его дорогую мамочку: она не знала цены деньгам, как малое дитя.

Когда Филип прожил в Блэкстебле неделю, произошел случай, возмущивший дядю до глубины души. Однажды утром, завтракая, он нашел на столе небольшой пакет, пересланный ему почтой из Лондона. Пакет был адресован покойной миссис Кэри. Священник распечатал его и нашел дюжину фотографий умершей. На них были сняты только ее голова и плечи; волосы зачесаны глаже, чем всегда, низко на лоб, что придавало ей какой-то необычный вид; лицо худое, изможденное, однако никакая болезнь не могла скрыть грусть, которой Филип у нее никогда не видел. Увидев лицо покойницы, мистер Кэри даже отпрянул, но испуг тут же сменился недоумением. Фотографии были явно сняты недавно, и священник не понимал, кто их мог заказать.

— Ты что-нибудь об этом знаешь? — спросил он Филипа.

— Я помню, мама говорила, что ее снимали. Мисс Уоткин ее тогда бранила... А мама сказала: мне хочется, чтобы у мальчика что-нибудь осталось от меня на память, когда он вырастет.

Мистер Кэри поглядел на Филипа. Голосок у мальчика дрогнул. Он повторял слова матери, не понимая их смысла.

— Возьми одну фотографию и поставь у себя в комнате, — сказал мистер Кэри. — Остальные я спрячу.

Он послал одну фотографию мисс Уоткин, и та написала ему, как было дело.

Миссис Кэри лежала в постели, но чувствовала себя лучше обычного, и у доктора с утра появилась даже надежда на ее выздоровление; Эмма повела мальчика гулять, а горничные были внизу. И вдруг миссис Кэри почувствовала страшное одиночество. Ее охватил безумный страх, что она умрет от родов, которых ожидали через две недели. Сыну ее было всего девять лет. Разве он может ее запомнить? Мысль о том, что Филип вырастет и забудет ее, забудет совершенно, казалась ей невыносимой: она ведь так любила его, потому что он был слабенький, калека и потому

что он был ее сын. Она ни разу не снималась со дня своей свадьбы, а с тех пор прошло уже десять лет. Ей хотелось, чтобы сын знал, как она выглядела перед смертью. Тогда он ее не забудет, не сможет ее забыть безвозвратно. Она знала: если позвать горничную и заявить, что она хочет встать, ей этого не позволят, а то и за доктором пошлют; у нее же не было сил, чтобы спорить. Тогда она поднялась с постели и стала одеваться. От долгого лежания на спине она ужасно ослабела, ноги у нее подкашивались, а подошвы кололо, словно иголками, и ей было страшно ступить на пол. Но она продолжала одеваться. Причесываться сама она не привыкла и, подняв руку с гребнем, почувствовала, что ей дурно. И все равно причесать волосы так, как это делала горничная, ей не удалось. Волосы были очень красивые, тонкие, похожие на старое золото. Брови — прямые и темные. Она надела черную юбку и лиф от любимого вечернего платья — из белого, очень модного в ту пору дамаска. Миссис Кэри поглядела на себя в зеркало. Щеки были без кровинки, но зато кожа очень нежная. Впрочем, румяной ее и прежде нельзя было назвать, но ее розовые губы красиво выделялись на бледном лице. Теперь же, глядя в зеркало, ей стоило большого труда не разрыдаться, но жалеть себя было некогда: она и так чувствовала отчаянную усталость. Закутавшись в меха, которые Генри подарил ей на прошлое рождество — как она ими тогда гордилась и дорожила, — она с бьющимся сердцем спустилась вниз. Выскользнув незамеченной из дому, она поехала к фотографу и заплатила ему за дюжину снимков. Посреди сеанса ей пришлось попросить стакан воды, и помощник фотографа, видя, что она больна, предложил ей приехать в другой раз, но она настояла на том, чтобы ее сфотографировали. Наконец ее отпустили, и она вернулась в убогий домик в Кенсингтоне, который ненавидела всей душой. Тяжело было умирать в таком доме.

Она издала увидела, что парадная дверь открыта, а когда подъехала к дому, со ступенек сбежали Эмма и горничная. Найдя спальню пустой, они очень перепугались. Сначала им пришло в голову, что больная ушла к мисс Уоткин, и за ней послали кухарку. Но та скоро вернулась вместе с встревоженной мисс Уоткин, которая сейчас дожидалась в гостиной. Она в тревоге вышла навстречу миссис Кэри и осыпала ее упреками, но напряжение, которое перенесла

больная, оказалось ей не под силу: теперь, когда не нужно было больше себя превозмогать, миссис Кэри упала на руки Эмме, и ее отнесли наверх. Там она пролежала без сознания так долго, что всем показалось, будто она никогда не очнется, а доктор, за которым послали, все не приходил. Только на другой день, когда ей стало немножко лучше, мисс Уоткин добились от нее объяснений. Филип играл на полу в спальне, и женщины забыли о его присутствии. Он лишь смутно понимал, о чем они разговаривают, и не смог бы объяснить, почему слова матери навсегда сохранились у него в памяти.

— Я хотела, чтобы мальчик мог вспомнить меня, когда вырастет.

— Непонятно, зачем ей вздумалось заказывать целую дюжину! — сказал мистер Кэри. — И двух фотографий вполне хватило бы.

ГЛАВА 6

В доме священника один день был похож на другой как две капли воды.

Сразу же после завтрака Мэри-Энн приносила «Таймс». Мистер Кэри вместе с двумя своими соседями выписывал одну газету на троих. В его распоряжении она была с десяти до часу; потом садовник относил ее мистеру Эллису, где она оставалась до семи, а затем отправлялась в господский дом к мисс Брукс, та получала газету поздно, но зато могла ее не возвращать. Летом, когда миссис Кэри варила варенье, она часто выпрашивала старую газету у мисс Брукс, чтобы закрыть банки. Стоило священнику приняться за газету, как жена его надевала капор и шла за покупками. Филип ее сопровождал.

Блэкстебл был рыбацким поселком. Он состоял из одной главной улицы — где помещались лавки, банк, жил доктор и два-три хозяина угольных барж — и небольшой гавани, от которой тянулись убогие переулки, — где селились рыбаки и беднота, а так как все они были нонконформистами и церковь не посещали, люди эти были нестоящие. Если миссис Кэри встречала кого-нибудь из священников-сектантов, она переходила на другую сторону, чтобы с ними не здороваться, а столкнувшись невзначай лицом к лицу, принималась разглядывать мостовую у себя под ногами.

На главной улице помещалось целых три молитвенных дома сектантов, и это было позором, с которым священник никак не мог примириться: ему казалось, что закон должен вмешаться и воспретить строительство подобных домов. Делать покупки в Блэкстебле было не так просто, ибо сектантов в поселке насчитывалось немало, тем более что приходская церковь стояла в двух милях от городка и ходить туда было слишком далеко. А покупать можно было только у своих прихожан. Миссис Кэри понимала, что поставка продуктов в дом священника сильно влияет на религиозные убеждения торговцев. В поселке было два мясника, и оба ходили в церковь. Они не желали понимать, почему священник не покупает у них обоих одновременно, их не устраивал и распорядок, который тот предложил: полгода покупать у одного, а следующие полгода — у другого. Если мясник не продавал мяса в дом священника, он постоянно грозился, что перестанет ходить в церковь. Мистеру Кэри порой приходилось самому прибегать к угрозе: мясник совершит грех, не посещая церкви; если он будет упрямоствовать в своем безбожии и посещать молитвенный дом, то как бы превосходен ни был его товар, мистеру Кэри придется навсегда отказаться от его услуг. Миссис Кэри часто заходила в банк, чтобы передать поручение управляющему Джозии Грейвсу, который был одновременно и регентом, и казначеем, и церковным старостой. Этот высокий, тощий и седой человек с землистым лицом и длинным носом казался Филипу ветхим старцем. Он вел счета прихода, устраивал угощения для хора и школьников, и, хотя в приходской церкви не было органа, все в Блэкстебле считали, что хор, которым он руководит, — лучший в графстве Кент. Когда затевалась какая-нибудь церемония — в связи ли с приездом епископа для конфирмации или благочинного для молебна по случаю урожая, — мистер Грейвс брал на себя все приготовления. И он, не колеблясь, принимал решения по всем вопросам, лишь для проформы спрашивая совета мистера Кэри, а священник, хотя и не любивший лишних хлопот, очень обижался на самоуправство церковного старосты. Можно было подумать, что он — самая влиятельная фигура в приходе! Мистер Кэри постоянно говорил жене, что, если мистер Грейвс не угомонится, он ему даст по рукам, но миссис Кэри советовала ему не сердиться на Джозию Грейвса: у него добрые намерения и не его

вина, что он дурно воспитан. Священнику было удобно проявлять истинно христианское долготерпение по отношению к старосте, но он мстил мистеру Грейвсу, обзывая его за спиной «Бисмарком».

Однажды между ними все же разыгралась ссора, и миссис Кэри до сих пор вспоминала это тяжкое время с содроганием. Кандидат консервативной партии объявил о своем намерении выступить на митинге в Блэкстебле, и Джозия Грейвс, назначив собрание в Миссионерском доме, явился к мистеру Кэри и попросил его сказать несколько слов. Выяснилось, что кандидат просил Джозию Грейвса быть председателем. Этого уж мистер Кэри не смог снести. У него был твердый взгляд на то, каким почетом должно пользоваться духовенство: смешно церковному старосте лезть на председательское место, когда тут же рядом сидит священник! Он напомнил Джозии Грейвсу, что «пастор» означает «пастырь», то есть пастух своих прихожан. Джозия Грейвс ответил, что, мол, кому, как не ему, почитать авторитет церкви, но тут дело политическое, и он должен в свою очередь напомнить священнику, что спаситель внушал им «воздать кесарю кесарево». На что мистер Кэри ответил, что и дьявол умел ссылаться на Святое писание в своих дьявольских целях, а что он, один распоряжаясь Миссионерским домом, откажется предоставить этот дом для политического митинга, если его не попросят председательствовать. Джозия Грейвс заявил мистеру Кэри, что тот волен, конечно, поступать, как ему заблагорассудится, но он лично считает, что и молитвенный дом методистов — вполне подходящее место для митинга. Тогда мистер Кэри сказал, что ежели нога Джозии Грейвса ступит на порог этого дома, который, по его, мистера Кэри, мнению, ничем не лучше языческого капища, то ему, Джозии Грейвсу, не пристанет оставаться церковным старостой христианского прихода. После чего Джозия Грейвс отказался от всех своих должностей и в тот же вечер послал в церковь за своей рясой и стихарем. Сестра его, мисс Грейвс, которая вела у него хозяйство, сразу же сняла с себя обязанности секретаря Клуба материнства, снабжавшего неимущих беременных женщин фланелью, пеленками, углем и пособием в пять шиллингов. Мистер Кэри объявил, что наконец-то он стал хозяином в собственном доме. Но скоро обнаружилось, что он вынужден решать вопросы, в которых ничего

не смыслит, а Джозия Грейвс, чуть поостыв, понял, что жизнь потеряла для него всякий интерес. Миссис Кэри и мисс Грейвс очень сокрушались по поводу этой ссоры; обменявшись осторожными письмами, они назначили друг другу свидание и решили уладить конфликт; переговоры одной дамы со своим мужем, а другой — с братом длились с утра до вечера, и, так как они убеждали своих мужчин сделать то, чего те в глубине души желали сами, мир был заключен. Обе стороны после трех недель таких тревожных были в нем очень заинтересованы, но приписали свою покладистость любви к Всевышнему. Митинг в Миссионерском доме состоялся, председательствовать попросили доктора, а мистер Кэри и Джозия Грейвс выступили с речами.

Когда миссис Кэри заканчивала свои дела с управляющим банком, она поднималась наверх поболтать с его сестрой, и, покуда дамы обменивались приходскими новостями — насчет помощника священника или новой шляпки миссис Уилсон (мистер Уилсон был самым богатым человеком в Блэкстебле: по слухам, у него было не меньше пятисот фунтов в год, но он женился на своей кухарке), — Филип чинно сидел в неудобной гостиной, которой пользовались только по торжественным случаям, и наблюдал за неутомимой золотой рыбкой в аквариуме. Окна здесь не открывались — разве что по утрам, на несколько минут, чтобы проветрить комнату, — и пахло чем-то затхлым; Филипу казалось, что у этого запаха есть таинственная связь с банковским делом.

Потом миссис Кэри вспоминала, что ей еще надо зайти в бакалейную лавку, и они продолжали свой поход. Часто, покончив с покупками, они спускались по переулку, где дома были маленькие и почти все деревянные и где жили одни рыбаки (на пороге сидел рыбак и чинил свои сети; сети для просушки висели и на дверях), к маленькой бухте, окруженной складами. Оттуда было видно море. Миссис Кэри постоит, бывало, и посмотрит на море, а вода в нем мутная, желтая (кто знает, о чем в это время думала жена священника?); Филип усердно собирал плоские камушки и швырял их в воду. Потом они не торопясь возвращались. Заглядывали на почту, чтобы проверить время, раскланивались с женой доктора, миссис Уигрэм, сидевшей с шитьем у окна, и наконец добирались до дому.

Обед был в час дня; по понедельникам, вторникам и средам подавали говядину — жареную, рубленую или тушеную, а по четвергам, пятницам и субботам — баранину. В воскресенье резали одну из своих кур. После обеда Филип готовил уроки. Латыни и математике его обучал дядя, не знавший ни того, ни другого; французскому и музыке — тетя. Во французском она была полной невеждой, но на пианино аккомпанировала себе, распевая старомодные романсы, — она пела их вот уже тридцать лет. Дядя Уильям рассказывал Филипу, что, когда он был помощником священника, его жена знала наизусть двенадцать романсов и могла, если попросят, тут же спеть любой из них. Она и теперь пела, когда в доме бывали званые гости. Кэри мало кого приглашали к себе, и поэтому у них бывали всегда одни и те же лица: помощник священника, Джозия Грейвс с сестрой и доктор Уигрэм с женой. После чая мисс Грейвс играла одну или две «Песни без слов» Мендельсона, а миссис Кэри пела «Когда ласточки летят домой» или «Топ, топ, топ, моя лошадка».

Но Кэри редко звали в дом чужих людей: приготовления выбивали их из колеи, и после ухода гостей они чувствовали себя совершенно измученными. Супруги предпочитали выпить чаю в семейном кругу, а потом поиграть в трик-трак. Миссис Кэри заботилась о том, чтобы муж всегда был в выигрыше: проигрывать он не любил. В восемь часов подавали холодный ужин. Ели что Бог послал, потому что Мэри-Энн не любила готовить вечером; миссис Кэри помогала ей убирать со стола. Сама она редко ела что-нибудь, кроме хлеба с маслом, запивая его компотом, но мистеру Кэри всегда подавали ломтик холодного мяса. Сразу же после ужина миссис Кэри созывала всех на вечернюю молитву, и Филип отправлялся спать. Он восстал против того, чтобы его раздевала Мэри-Энн, и со временем отвоевал себе право одеваться и раздеваться без посторонней помощи. В девять часов вечера Мэри-Энн вносила яйца и серебро. Миссис Кэри помечала на каждом яйце число и заносила количество яиц в книгу. Взяв на руку корзинку со столовым серебром, она отправлялась наверх. Мистер Кэри продолжал еще читать одну из своих старых книг, но часы били десять, он вставал, гасил лампы и тоже шел спать.

Когда приехал Филип, долго не могли решить, в какой из вечеров лучше его купать. Горячей воды всегда не хватало,

потому что кухонный котел был в неисправности, и двоим принять ванну в один и тот же день не удавалось.

Единственным обладателем ванной комнаты в Блэкстебле был мистер Уилсон, и, по мнению его земляков, обзавелся он ею для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Мэри-Энн купалась в кухне по понедельникам — она любила начинать новую неделю чистой. Дядя Уильям не мог принимать ванну по субботам: впереди у него был тяжелый день, а купание его немножко утомляло, поэтому он мылся в пятницу. По этой же причине миссис Кэри выбрала себе четверг. Казалось, сам Бог велел, чтобы Филипа купали по субботам, но Мэри-Энн заявила, что не может так поздно топить в канун праздника: и стряпни много в воскресенье, и тесто надо поставить, и мало ли других дел! Нет, не будет она еще и ребенка мыть по субботам! А купаться сам он, конечно, не мог. Миссис Кэри стеснялась купать мальчика, а священник был занят воскресной проповедью. Однако дядя настаивал, чтобы к Божьему празднику Филип был чист хотя бы телом; Мэри-Энн заявляла, что пусть ее лучше уволят, но она не допустит подобного измывательства: проработав восемнадцать лет, она могла бы надеяться, что на нее не станут наваливать лишнюю работу и будут хоть немножко с ней считаться; Филип же говорил, что желает мыться сам, без посторонней помощи. Это и решило вопрос. Мэри-Энн сказала, что он ни за что не сумеет помыться как следует и чем ребенку ходить грязному — не потому, что его осудит Господь, а потому, что она терпеть не может невымытых детей, — так и быть, уж лучше у нее руки от работы отсохнут, но она вымоет мальчика в субботу!

ГЛАВА 7

Воскресенье было днем, полным событий. Мистер Кэри говаривал, что он — единственный человек в приходе, который трудится все семь дней недели без отдыха.

В доме поднимались на полчаса раньше обычного. Бедный священнослужитель, он и в праздник не может позволить себе поваляться в постели, замечал мистер Кэри, когда Мэри-Энн стучала в дверь спальни ровно в восемь часов. В этот день одевание занимало у миссис Кэри больше времени, и она спускалась к завтраку в девять, слегка

запыхавшись и только чуть-чуть опередив своего мужа. Башмаки мистера Кэри грелись возле камина. Молитвы читались более длинные и завтрак был сытнее, чем в другие дни. После завтрака священник нарезал хлеб ломтиками для причастия, и Филипу разрешали брать себе корочку. Его посылали в кабинет за мраморным пресс-папье, которым мистер Кэри давил хлеб, пока ломтики не становились тонкими, как бумага, после чего их вырезали квадратами. Число кусочков зависело от погоды. В очень дурную погоду народу в церкви бывало мало; в очень хорошую — людей приходило много, но к причастию не оставалось почти никого. Больше всего молились в такую погоду, когда было достаточно сухо для того, чтобы пойти в церковь, но не настолько солнечно, чтобы спешить из церкви домой.

Миссис Кэри вынимала из сейфа, стоявшего в буфетной, дароносицу, и священник протирал ее замшей. В десять часов подъезжала коляска, и мистер Кэри надевал башмаки. Миссис Кэри задерживала мужа на несколько минут, чтобы надеть капор, а священник, уже облаченный в просторный плащ, терпеливо дожидался ее в прихожей с таким видом, будто он — христианский мученик, которого вот-вот бросят на съедение львам. Трудно поверить, что после тридцати лет замужества его жена так и не научилась поспевать вовремя к воскресной службе! Наконец она вышла, нарядженная в черный атлас: священник и вообще-то не терпел цветных нарядов на женах духовных лиц, а уж в воскресенье и подавно требовал, чтобы жена была в черном; время от времени, сговорившись с мисс Грейвс, она пыталась, словно ненароком, приколоть белое перышко или розовый бутон к шляпке, но священник тут же это пресекал: он не появится в церкви в обществе блудницы. И миссис Кэри, будучи женщиной, вздыхала, но повиновалась супружескому долгу. Они уже влезали в коляску, но тут священник вспоминал, что ему не дали яйца. Ведь они знают, что ему полагается съесть яйцо, чтобы лучше звучал голос. Две женщины в доме, а позаботиться о нем некому! Миссис Кэри бранила Мэри-Энн, а та огрызалась, что всего не упомнишь, но убегала в дом и приносила яйцо: миссис Кэри взбивала его в стакане хереса. Священник залпом проглатывал его; дароносицу ставили в карету, и они пускались в путь.

Карету заказывали в трактире «Красный лев», и в экипаже всегда пахло гнилой соломой. Ехали с закрытыми окнами, чтобы священник не простудился. Пономарь ждал их у входа, чтобы взять дароносицу, и, когда священник удалялся в ризницу, миссис Кэри с Филипом занимали свои места на скамьях. Миссис Кэри клала перед собой монетку в шесть пенсов, чтобы пожертвовать на церковь, и давала три пенса Филипу для той же цели. Церковь постепенно наполнялась верующими, и служба начиналась.

Филип очень скучал во время проповеди, но, если он вертелся, миссис Кэри тихонько клала ему руку на плечо и смотрела на него с укором. Он оживлялся, когда запевали последний псалом и мистер Грейвс с блюдом для пожертвований обходил прихожан.

Когда церковь начинала пустеть, миссис Кэри подходила к скамье мисс Грейвс, чтобы поболтать с ней, пока не освободятся их мужчины, а Филип отправлялся в ризницу. Дядя, его помощник и мистер Грейвс еще не успевали снять облачение. Мистер Кэри отдавал Филипу остаток освященного хлеба и разрешал его съесть. Раньше он съедал хлеб сам — ему казалось богохульством его выбрасывать, но здоровый аппетит племянника избавил дядю от этой обязанности. Потом подсчитывали пожертвования. Они состояли из пенсов, шестипенсовиков и монеток в три пенса. На блюде всегда лежали две монеты по шиллингу — одну клал священник, другую мистер Грейвс, — а иногда и чей-нибудь флорин. Мистер Грейвс неизменно докладывал священнику, кто его положил. Это всегда был какой-нибудь приезжий, и мистер Кэри недоумевал, кем же он мог быть. Мисс Грейвс, живая свидетельница этого безрассудства, рассказывала миссис Кэри, что незнакомец приехал из Лондона и был отцом семейства. По дороге домой миссис Кэри пересказывала эти подробности мужу, и священник решал навестить приезжего и попросить его пожертвовать в фонд «Общества лиц духовного звания». Мистер Кэри спрашивал, хорошо ли вел себя Филип, а миссис Кэри сообщала, что на миссис Уигрэм было новое пальто, мистер Кокс не пришел в церковь и люди поговаривают, будто мисс Филлипс помолвлена. Когда коляска подъезжала к дому, у всех было чувство, что они честно заслужили свой сытный обед.

После обеда миссис Кэри уходила отдохнуть к себе, а мистер Кэри укладывался подремать на кушетке в гостиной.

Чай пили в пять, и священник съедал яйцо, чтобы подкрепиться перед вечерней. Миссис Кэри не ездила вечером в церковь, чтобы Мэри-Энн могла послушать службу, но дома читала все положенные молитвы и псалмы. По вечерам мистер Кэри ходил в церковь пешком, и Филипп ковылял с ним рядом. Прогулка в темноте по проселочной дороге как-то странно его впечатляла, а дальние огни церкви, которые все приближались, были милы его сердцу. Сначала он стеснялся дяди, но постепенно к нему привык и, держа его за руку, шагал куда спокойнее, чувствуя себя под его защитой.

Вернувшись домой, они ужинали. На табуреточке возле камина грелись комнатные туфли мистера Кэри, а рядом с ними — туфли Филиппа: одна из них такая, как у всех детей, а другая — странной формы, ни на что не похожая. Мальчик едва добирался до кровати от усталости и тут уж не протестовал, если Мэри-Энн его раздевала. Подоткнув одеяло, она целовала его; Филипп все больше и больше к ней привязывался.

ГЛАВА 8

Филипп рос единственным ребенком в семье и привык к одиночеству, поэтому тут, в доме священника, он страдал от него не больше, чем при жизни матери. Он подружился с Мэри-Энн. Это была пухлая низенькая особа лет тридцати пяти, дочь рыбака; она поступила в услужение к священнику восемнадцати лет от роду и не собиралась бросать это место, но вечно держала своих робких хозяина и хозяйку в страхе, грозя им, что выйдет замуж. Родители Мэри-Энн жили в маленьком домике возле гавани, и она ходила к ним в гости по вечерам в свои выходные дни. Ее рассказы о море будили воображение Филиппа, и узенькие переулки вокруг гавани дышали романтикой, которой наделяла их его юная фантазия. Как-то раз вечером он попросил разрешения сходить с Мэри-Энн к ней домой, но тетя побоялась, как бы он там чем-нибудь не заразился, а дядя заявил, что дурное общество портит хорошие манеры. Он не любил рыбаков, которые были неотесанны, грубоваты и ходили в молитвенный дом, а не в церковь. Но Филипп чувствовал себя куда привольнее в кухне, чем в столовой, и, если мог, убегал туда со своими игрушками. Тетю

это не огорчало. Она не терпела беспорядка и, хотя знала, что мальчишкам полагается быть неряхами, предпочитала, чтобы Филип устраивал кавардак в кухне. Если он не мог усидеть на месте, дядя нервничал и говорил, что пора отдать мальчика в школу. Миссис Кэри считала, что Филип еще маленький, и сердце ее переполнялось нежностью к бедному сиротке; однако все ее попытки привязать его к себе были так неуклюжи, а застенчивый мальчик встречал ее ласки так угрюмо, что она обижалась до слез. Иногда из кухни до нее доносился его веселый визг, но стоило ей туда войти, как он сразу же замолкал и только багрово краснел, если Мэри-Энн начинала объяснять тетке причину их веселья. Миссис Кэри не находила в том, что ей рассказывали, ничего смешного и только натянуто улыбалась.

— Ему куда интереснее с Мэри-Энн, чем с нами, — пожаловалась она мужу, вернувшись к своему шитью.

— Сразу видно, как он плохо воспитан. Пора его привести в надлежащий вид.

В следующее воскресенье после приезда Филипа произошел неприятный случай. Мистер Кэри, как всегда после обеда, прилег подремать в гостиной, но был взбудоражен и не мог уснуть. Утром Джозия Грейвс весьма резко высказался против подсвечников, которыми священник украсил алтарь. Он купил эти подсвечники по случаю в Теркенбери и считал, что у них очень хороший вид. Но Джозия Грейвс заявил, что в подсвечниках есть что-то папистское. Подобные намеки всегда больно задевали мистера Кэри. Он учился в Оксфорде, когда там ширилось движение, которое привело Эдуарда Мэннинга к отступничеству от англиканской церкви¹, и чувствовал некоторую склонность к римско-католической вере. Мистер Кэри с радостью придал бы церковной службе большую пышность, чем это было принято в приходе Блэкстебла, и в тайниках души томился по крестному ходу и зажженным свечам. Правда, ладан даже он считал излишеством, но ненавидел самое слово «протестант» и называл себя католиком. Он любил говорить, что папизм не зря зовется «римской католической» религией;

¹ В 1833 году в Оксфорде возникло религиозное движение, ставившее целью сближение протестантской церкви с римско-католической; Генри Эдуард Мэннинг (1808—1892) — английский церковный деятель, кардинал римско-католической церкви.

что же касается англиканской церкви, то и она католическая, но в наиболее глубоком и благородном смысле этого слова. Его тешила мысль, что бритое лицо делает его похожим на патера, а в молодые годы во внешности его было даже нечто аскетическое, что еще больше углубляло это сходство. Он частенько рассказывал, как во время одной из своих поездок в Булонь, куда из соображений экономии ездил отдыхать один, без жены, он зашел как-то в церковь и заметивший его там кюре попросил мистера Кэри произнести проповедь. Придерживаясь строгих взглядов насчет безбрачия духовных лиц, не имеющих собственного прихода, он увольнял своих помощников, если те вступали в брак. Но, когда во время выборов либералы написали у него на ограде большими синими буквами: «Отсюда прямая дорога в Рим!» — он очень рассердился и грозил подать на местных заправил в суд. Лежа на оттоманке, он твердо решил, что никакие разговоры Джозии Грейвса не заставят его убрать подсвечники с алтаря, и с раздражением бормотал себе под нос: «Бисмарк! Бисмарк!»

Вдруг раздался шум. Сняв носовой платок, которым было прикрыто его лицо, священник встал и вышел в столовую. Филип сидел на столе, окруженный своими кубиками. Он построил из них громадный дворец, но какая-то ошибка в конструкции привела к тому, что его сооружение с грохотом рухнуло.

— Что ты тут вытворяешь со своими кубиками? Разве ты не знаешь, что нельзя играть по воскресеньям?

Филип с испугом воззрился на дядю и по привычке густо покраснел.

— Дома я всегда играл, — возразил он.

— Не верю, чтобы твоя дорогая мама позволяла тебе совершать такой грех.

Филип не знал, что это грех, но если так, ему не хотелось, чтобы его маму подозревали в потворстве греху. Понуриив голову, он молчал.

— Разве ты не знаешь, что большой грех — играть по воскресеньям? Отчего, по-твоему, этот день называют днем отдохновения? Вечером ты пойдешь в церковь, как же ты предстанешь перед своим создателем, если в этот день нарушил одну из его заповедей?

Мистер Кэри приказал Филипу немедленно убрать кубики и не ушел, пока мальчик не сделал этого.

— Ты гадкий мальчик, — повторял он. — Подумай, как ты огорчаешь свою бедную мамочку, которую ангелы взяли на небо!

Филипу очень хотелось заплакать, но он с детства не выносил, когда кто-нибудь видел его слезы; сжав зубы, он сдерживал рыдания. Мистер Кэри уселся в кресло и стал перелистывать книгу. Филип прижался к окну. Дом священника стоял в глубине сада, отделявшего его от дороги на Теркенбери; из окна столовой была видна полукруглая полоска газона, а за ней до самого горизонта — зеленые поля. Там паслись овцы. Небо было серенькое и сиротливое. Филип почувствовал себя глубоко несчастным.

Скоро пришла Мэри-Энн, чтобы накрыть на стол к чаю, и сверху спустилась тетя Луиза.

— Ты хорошо вздремнул, Уильям? — спросила она.

— Нет. Филип поднял такой шум, что я не мог сомкнуть глаз.

Священник допустил неточность: спать ему мешали собственные мысли; угрюмо прислушиваясь к разговору, Филип подумал, что шум был слышен только секунду; непонятно, почему дядя не спал до или после того, как рухнула башня. Миссис Кэри спросила, что произошло, и священник, изложив ей все обстоятельства дела, пожаловался:

— Он даже не счел нужным извиниться.

— Ах, Филип, я уверена, что ты жалеешь о своей шалости, — сказала миссис Кэри, боясь, что мальчик покажется дяде большим сорванцом, чем он был на самом деле.

Филип промолчал. Он продолжал жевать хлеб с маслом, сам не понимая, какая сила мешает ему попросить прощения. Уши у него горели, к горлу подступил комок, но он не мог выдать ни слова.

— Напрасно ты дуешься, от этого твой поступок становится только хуже, — сказала миссис Кэри.

Чай допили в гробовом молчании. Миссис Кэри то и дело поглядывала исподтишка на Филипа, но священник намеренно его не замечал. Увидев, что дядя пошел наверх собираться в церковь, Филип тоже взял в прихожей пальто и шляпу, но священник, сойдя вниз, сказал:

— Сегодня ты в церковь не пойдешь. В таком душевном состоянии не входят в Дом Божий.

Филип не произнес ни слова. Он чувствовал, что его глубоко унизили, и щеки его побагровели. Он молча

смотрел, как дядя надевает просторный плащ и широкополую шляпу. Миссис Кэри, как всегда, проводила мужа до двери, а потом сказала Филипу:

— Не огорчайся. В будущее воскресенье ты не станешь больше проказничать, правда? И дядя возьмет тебя вечером в церковь.

Сняв с него пальто и шляпу, она отвела его в столовую.

— Давай почитаем вместе молитвы и споем псалмы под фисгармонию. Хочешь?

Филип решительно помотал головой. Миссис Кэри была обескуражена. Как же ей с ним быть, если он не хочет читать молитвы?

— Что же нам тогда делать, пока не вернется дядя? — беспомощно спросила она.

Филип наконец-то прервал молчание:

— Оставь меня в покое!

— Филип, как тебе не стыдно так говорить? Ты же знаешь, что мы с дядей хотим тебе только добра! Неужели ты меня совсем не любишь?

— Я тебя ненавижу. Хоть бы ты умерла!

Миссис Кэри задохнулась. Мальчик произнес эти слова с такой яростью, что ей стало просто страшно. Она не нашлась, что сказать. Присев на кресло мужа и думая о том, как хотелось ей приголубить этого одинокого, хроменького ребенка, как недоставало любви ей самой — она ведь была бесплодной, и хотя, видно, на то воля Божья, ей иногда просто не вмоготу смотреть на чужих детей, — миссис Кэри почувствовала, как к глазам у нее подступили слезы и стали медленно скатываться по щекам. Филип смотрел на нее с недоумением. Она вынула платок и стала всхлипывать, уже не сдерживаясь. Вдруг Филип понял, что она плачет из-за того, что он ей сказал; ему стало ее жалко. Он молча подошел и поцеловал ее. Это был первый и непрощенный поцелуй, который она от него получила. И бедная женщина — такая сухонькая в своем черном атласном платье, такая сморщенная и желтая, с нелепыми завитушками — посадила мальчика на колени, обхватила его руками и заплакала уже навзрыд, так, словно у нее вот-вот разорвется сердце. Но в слезах ее была и отрада: она чувствовала, что между ними больше не было отчуждения. Она любила его теперь совсем по-другому — ведь он заставил ее страдать.

ГЛАВА 9

В следующее воскресенье, когда священник готовился прилечь в гостиной подремать (все, что он делал, подчинялось строгому ритуалу), а миссис Кэри поднималась к себе наверх, Филип спросил:

— А что же мне делать, если нельзя играть?

— Неужели ты не можешь хоть час посидеть спокойно?

— Ну да, сидеть спокойно до самого чая!

Мистер Кэри выглянул в окно, но на дворе было холодно и сыро; он не мог предложить Филипу пойти погулять.

— Ага, знаю, что тебе делать. Выучи-ка наизусть сегодняшнюю молитву.

Он снял с фисгармонии требник и, полистав, нашел нужное место.

— Молитва короткая. Если сможешь прочесть ее за чаем без запинки, получишь верхушку моего яйца.

Миссис Кэри пододвинула стул — и положила перед ним книгу.

— Дьявол ленивым рукам всегда работу отыщет, — назидательно произнес мистер Кэри.

Он добавил углей в камин, чтобы огонь жарче пылал, когда он выйдет к чаю, и ушел в гостиную. Расстегнув воротник, он поудобнее положил подушки и вытянулся на кушетке. Решив, что в гостиной прохладно, миссис Кэри принесла плед, прикрыла ему ноги и хорошенько подоткнула края вокруг ступней. Она приспустила занавески, чтобы свет не резал ему глаза, и, так как он уже успел их закрыть, вышла из комнаты на цыпочках. Сегодня в душе у священника было покойно, и ровно через десять минут он уже тихонько похрапывал.

Это было шестое воскресенье после праздника Богоявления, и молитва начиналась словами: «Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости своей поправшего козни диавола и посулившего учинить нас сынами Божьими, достойными царствия небесного».

Филип прочел молитву. Смысла ее он понять не мог и стал твердить слова вслух; однако многие из них были ему не знакомы и построение фразы непривычно. Больше двух строк кряду запомнить ему не удавалось. А внимание его все время рассеивалось: к стенам дома были подвязаны фруктовые деревья, и длинная ветка то и дело била по

оконному стеклу; в поле за садом степенно паслись овцы. Филипу казалось, что голова его пухнет. Его одолевал страх, что до чая он не выучит молитвы; он стал быстро-быстро бормотать слова себе под нос, даже не пытаясь их понять, а заучивая, как попугай.

Миссис Кэри в этот день не спалось, и в четыре часа она спустилась вниз. Ей хотелось проверить, учит ли Филип молитву, чтобы он мог прочесть ее дяде без ошибок.

Уильям будет доволен: он поймет, что у Филипа — доброе сердце. Но, когда миссис Кэри подошла к двери столовой, она услышала звуки, которые заставили ее замереть на месте. Сердце у нее сжалось. Она отошла и тихонько выскользнула в сад. Обойдя дом, она подкралась к окну столовой и тихонько в него заглянула. Филип по-прежнему сидел на стуле, который она ему подвинула, но голову он уронил на стол, закрыл лицо руками и отчаянно всхлипывал. Она видела, как дергаются у него плечи. Миссис Кэри испугалась. Ее всегда поражала выдержка этого ребенка. Она ни разу не видела его плачущим. А теперь она поняла, что спокойствие его было только внешним, ему было просто стыдно показывать свои чувства — он плакал тайком от всех.

Забыв, что муж не любит, когда его будят, она ворвалась в гостиную.

Мистер Кэри поднялся и скинул с ног плед.

— Почему? О чем он плачет?

— Не знаю... Ах, Уильям, ужасно, что мальчик так горюет! А что, если это наша вина? Будь у нас свои дети, мы бы, наверно, знали, как с ним обращаться.

Мистер Кэри растерянно на нее глядел. Он чувствовал себя совершенно беспомощным.

— Не может ведь он плакать оттого, что я велел ему выучить молитву! Там всего каких-нибудь десять строк...

— Как ты думаешь, можно мне отнести ему какую-нибудь книжку с картинками? У нас ведь есть книжки о святой земле. В этом же нет ничего дурного!

— Пожалуйста, я не возражаю.

Миссис Кэри пошла в кабинет. Книги были единственной страстью мистера Кэри — он ни разу не съездил в Теркенбери без того, чтобы часок-другой не провести у букиниста, и всегда привозил домой четыре или пять жел-

тевших томов. Читать он их не читал — охота к этому занятию была давно потеряна, но с удовольствием листал страницы, рассматривал картинки, если книга была иллюстрирована, и приводил в порядок переплет. Больше всего он любил дождливые дни: можно было со спокойным сердцем никуда не выходить и, вооружившись банкой клея и сырым белком, подклеивать телячью кожу какого-нибудь выдавшего вида фолианта. У священника было множество старых книг, украшенных гравюрами, с описаниями путешествий; миссис Кэри быстро отыскала среди них те, где рассказывалось про Палестину. Она нарочно покашляла за дверью, чтобы Филип успел вытереть слезы, понимая, что ему будет стыдно, если его застигнут плачущим, и с шумом подергала дверную ручку. Когда она вошла, Филип сидел, уставившись в молитвенник и заслонив глаза руками, чтобы скрыть следы слез.

— Ну как, выучил молитву? — спросила она.

Он ответил не сразу, и она поняла, что мальчик боится, как бы голос у него не дрогнул. Миссис Кэри почему-то страшно смутилась.

— Я не могу выучить ее наизусть, — произнес он, наконец, не очень твердо.

— Ну и Бог с ней, — весело сказала она. — И не надо. Вот, я тебе принесла книжек с картинками. Поди сюда, сядь ко мне на колени, давай посмотрим вместе.

Филип соскочил со стула и, хромая, подошел к ней. Глаза у него были опущены, чтобы она не видела, какие они красные. Миссис Кэри его обняла.

— Погляди, — сказала она. — Вот здесь родился наш Спаситель.

Она показала ему восточный город с плоскими крышами, куполами и минаретами. Впереди росло несколько пальм, а в тени их отдыхали два араба с верблюдами. Филип провел рукой по картинке, словно хотел пощупать стены домов и широкие одежды кочевников.

— Прочти, что тут написано, — попросил он.

Миссис Кэри своим тусклым голосом прочла ему текст на противоположной странице — романтические впечатления какого-то путешественника по Востоку в тридцатые годы девятнадцатого века. Манера рассказа, может, и была слегка напыщенной, но он был проникнут тем искренним восхищением, которое Восток вызывал у поколения,

жившего после Байрона и Шатобриана. Минуты через две Филип прервал ее:

— Я хочу посмотреть другую картинку.

Когда вошла Мэри-Энн и миссис Кэри поднялась, чтобы помочь ей расстелить скатерть, Филип взял книгу и поспешно просмотрел все картинки. Тетя Луиза с трудом уговорила его отложить книгу, пока они пили чай. Он позабыл о своих отчаянных усилиях выучить молитву, позабыл свои слезы. На другой день шел дождь, и он снова попросил дать ему книжку. Миссис Кэри принесла ее с радостью. Обсуждая с мужем будущее мальчика, они оба мечтали, что племянник примет духовный сан, и его интерес к книге, где описывались места, освященные именем Христовым, казался ей добрым предзнаменованием. У ребенка, видно, была врожденная тяга к религии. Через день-другой он попросил дать ему еще книг. Мистер Кэри отвел его в свой кабинет, показал полку, на которой стояли иллюстрированные издания, и выбрал ему книжку о Риме. Филип схватил ее с жадностью. Картинки стали для него новым развлечением. Он прочитывал страницу перед каждой гравюрой и страницу после нее, чтобы узнать о том, что изображено, и вскоре потерял всякий интерес к своим игрушкам.

Он стал сам доставать с полок книги, когда никого не было поблизости, и, может, потому, что первое и наиболее сильное впечатление на него произвел восточный город, больше всего нравились ему книги с описаниями Леванта. Сердце его взволнованно билось, когда он глядел на мечети и затейливые дворцы, но среди всех картинок была одна в книжке о Константинополе, которая особенно волновала его воображение. Она называлась «Зал тысячи колонн» — это был византийский водоем, который народная молва наделила фантастическими размерами; в легенде, которую он прочел, рассказывалось, что, соблазняя неосторожных, у ворот водоема всегда причалена лодка, но ни один путешественник, отважившийся уйти на ней в темноту, не вернулся назад. И Филип представлял себе, как лодка плывет и плывет между колоннами то по одному протоку, то по другому, и вот она наконец причаливает к какому-то таинственному дворцу...

Однажды ему повезло: он напал на «Тысячу и одну ночь» в переводе Лейна. Сначала его заинтересовали иллюстрации, а потом он начал читать, и его увлекли сказки, сперва

только волшебные, а потом и другие; сказки, которые ему нравились, он перечитывал снова и снова. Теперь он больше ни о чем не мог думать. Он забыл об окружающем мире. Его не могли дозваться обедать. Сам того не понимая, он приобрел прекраснейшую привычку на свете — привычку читать; он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол; не знал он, правда, и того, что создает для себя вымышленный мир, рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования.

Вскоре он стал читать и другие книги. Ум у него был любознательный. Увидев, что мальчик нашел себе занятие, больше не пристаёт к взрослым и не шумит, дядя и тетя перестали обращать на него внимание. У мистера Кэри было столько книг, что он не мог все их упомянуть, а так как читал он мало, то не знал и того, какие именно книги он привез в той или иной пачке, купленной по дешевке у букиниста. Вперемежку с проповедями, нравоучениями, путешествиями, житиями святых, историей религии и писаниями отцов церкви стояли старомодные романы — их-то и открыл для себя Филип. Он отыскивал их по заголовкам, и первое, на что он напал, были «Ланкаширские ведьмы», потом «Незаменимый Кричтон» и множество других. Стоило ему, раскрыв книгу, прочесть, как два одиноких путника едут по краю бездны, — и он уже предвкушал, сколько радостей ждет его впереди.

Настало лето, и садовник, бывший матрос, смастерил для него гамак и привязал к ветвям плакучей ивы. Филип лежал в нем часами, укрытый от всех, кто мог ненароком зайти к священнику, и читал, читал самозабвенно. Шло время, наступил июль, а за ним и август; по воскресеньям церковь была полна приезжих, и пожертвования часто доходили до двух фунтов. В дачный сезон ни священник, ни миссис Кэри не выходили из сада надолго: они не любили посторонних и смотрели на заезжих лондонцев с неприязнью. Дом напротив снял на полтора месяца какой-то господин, у которого было два мальчика; он послал спросить, не захочет ли Филип прийти поиграть с его сыновьями, но миссис Кэри ответила вежливым отказом. Она боялась, что столичные мальчишки испортят Филипа. Он ведь будет духовным лицом, и его надо оберегать от дурных влияний. Ей хотелось видеть в нем отрока Самуила.

ГЛАВА 10

Мистер и миссис Кэри решили отдать Филипа в Королевскую школу в Теркенбери. Все окрестное духовенство посылало туда своих сыновей. Школа была связана давними узами с кафедральным собором: ее директор был почетным каноником, а бывший директор — архидьяконом. Учеников поощряли стремиться к духовной карьере, а преподавание велось с таким уклоном, чтобы каждый добронравный юноша мог посвятить себя служению Богу. У школы были свои приготовительные классы; туда-то и было решено отдать Филипа. В один из четвергов в конце сентября священник повез племянника в Теркенбери. Весь день Филип волновался. Он знал о школьной жизни только по рассказам в «Юношеской газете». Прочел он также «Эрик, или Мало-помалу».

Когда поезд подошел к Теркенбери, Филип был полумертв от страха и по дороге в город сидел бледный, не произнося ни слова. Высокая кирпичная стена перед зданием школы делала ее похожей на тюрьму. В стене была дверца, она открылась, когда приезжие позвонили; оттуда вышел неопрятный увалень и внес сундучок Филипа и его ящик с игрушками за ограду. Их провели в гостиную, заставленную тяжелой, безобразной мебелью; стулья, словно солдаты, вытянулись вдоль стен. Мистер Кэри и Филип стали дожидаться директора.

— А он какой, этот мистер Уотсон? — спросил, не выдержав, Филип.

— погоди, сам увидишь.

Снова наступило молчание. Мистер Кэри недоумевал, почему директор так долго не приходит. Филип с трудом выдавил из себя:

— Ты им скажи, что у меня хромая нога.

Мистер Кэри не успел ответить: дверь распахнулась, в комнату величественно вошел мистер Уотсон. Филипу он показался гигантом. Это был могучий человек двухметрового роста, с огромными ручищами и большой рыжей бородой; говорил он зычным, веселым голосом, но его бьющая через край жизнерадостность вселяла в Филипа панический страх. Мистер Уотсон пожал руку мистеру Кэри, а потом схватил в свою лапу худенькую руку мальчика.

— Ну, как, молодой человек, рад, что поступаешь в школу? — зарычал он.

Филип покраснел и не нашелся, что ответить.

— Сколько тебе лет?

— Девять, — сказал Филип.

— Надо говорить: «Девять лет, сэр», — поправил его дядя.

— Да, тебе еще многому надо подучиться! — весело прогудел директор.

Желая приободрить мальчика, он стал щекотать его шершавыми пальцами. Филип робел и корчился от этих неприятных прикосновений.

— Я пока что поместил его в маленький дортуар... Тебе ведь это больше понравится, правда? — спросил он Филиппа. — Вы там будете ввосьмером. Скорее привыкнешь.

Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Уотсон — смуглая женщина с черными волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. У нее были чрезвычайно толстые губы, нос пуговкой и большие черные глаза. Весь ее вид выражал какую-то особенную холодность. Она редко разговаривала и еще реже улыбалась. Муж представил ей мистера Кэри, а потом приветливо подтолкнул к ней Филиппа.

— Это — новенький, Элен. Его фамилия Кэри.

Она молча пожала Филиппу руку и села, не говоря ни слова. А директор в это время спрашивал мистера Кэри, много ли Филип знает и по каким учебникам он готовился. Священник из Блэкстебла был несколько обескуражен шумливым благодушием мистера Уотсона и очень быстро ретировался.

— Пожалуй, мне лучше оставить Филиппа с вами.

— Как хотите, — сказал мистер Уотсон. — Со мной он не пропадет. Поднимется, как на дрожжах. Верно, молодой человек?

Не ожидая от Филиппа ответа, великан разразился громовым хохотом. Мистер Кэри поцеловал мальчика в лоб и откланялся.

— За мной, молодой человек! — пророкотал мистер Уотсон. — Я тебе покажу классную комнату.

Он двинулся из гостиной гигантскими шагами, и Филип поспешно заковылял за ним следом. Его привели в большую комнату с голыми стенами и двумя столами, тянувшимися во всю ее длину; по обе стороны столов стояли деревянные скамьи.

— Пока что здесь не оченьлюдно, — сказал мистер Уотсон. — Я покажу тебе площадку для игр, а потом уж привыкай сам.

Мистер Уотсон шел впереди. Филип очутился на просторной площадке, с трех сторон окруженной высокой кирпичной оградой. Вдоль четвертой стороны шла железная решетка, сквозь которую была видна большая поляна, а за ней — здания Королевской школы. По поляне понуро бродил маленький мальчик, подкидывая носком ботинка гравий.

— Привет, Веннинг! — закричал мистер Уотсон. — Ты когда это здесь появился?

Мальчик подошел к ним и поздоровался за руку.

— Вот наш новенький. Он старше и выше тебя, поэтому ты его не задирай.

Директор дружелюбно сверкнул глазами и раскатисто захохотал. У обоих мальчишек сердце ушло в пятки. Потом он оставил их одних.

— Как тебя зовут?

— Кэри.

— Кто твой отец?

— Он умер.

— Ага... А мать твоя любит поесть?

— Мама тоже умерла. — Филип понадеялся, что ответ смутит мальчика, но Веннинга не так легко было унять.

— Но раньше любила? — настаивал он.

— Наверно, — с возмущением сказал Филип.

— Значит, она была обжора?

— Нет, не была.

— Значит, она померла с голоду.

Мальчишка загоготал от восторга перед собственной железной логикой. Вдруг он обратил внимание на ногу Филипа.

— А что у тебя с ногой?

Филип сделал инстинктивное движение, чтобы убрать ногу. Он отставил ее назад, за здоровую.

— У меня больная нога, — сказал он.

— А что ты с ней сделал?

— Она всегда была такая.

— Дашь посмотреть?

— Не дам.

— Ну и не надо.

Мальчишка вдруг изо всех сил лягнул Филипа в голень. Филип этого не ожидал и не успел увернуться. Боль была так сильна, что он вскрикнул, но еще сильнее боли было недоумение. Он не понимал, почему Веннинг его лягнул. Филип так растерялся, что даже его не стукнул. К тому же мальчик был меньше его, а он прочитал в «Юношеской газете», что подло бить тех, кто меньше или слабее тебя. Филип стал тереть ушибленную ногу, и в это время появился еще один мальчишка. Веннинг сразу же оставил Филипа в покое. Скоро Филип заметил, что те двое говорят о нем и разглядывают его ногу. Он вспыхнул, и ему стало не по себе.

Но тут появились другие мальчики; их стало уже больше десятка, все они затараторили о том, что делали во время каникул и как здорово играли в крикет. Подошло еще несколько новеньких, с ними разговорился и Филип. Он был робок и очень застенчив. Ему хотелось расположить к себе товарищей, но он не знал, как это сделать. Его забрасывали вопросами, и он охотно на них отвечал. Один из мальчиков спросил, умеет ли он играть в крикет.

— Нет, — ответил Филип. — У меня хромая нога.

Мальчик сразу же взглянул на его ногу и покраснел. Филип понял, что он раскаивается в том, что задал бестактный вопрос, но слишком застенчив, чтобы извиниться. Мальчик растерянно смотрел на Филипа и молчал.

ГЛАВА 11

На следующее утро Филипа разбудили удары колокола, и он с удивлением оглядел свою спальню. Но кто-то запел и сразу напомнил ему, где он находится.

— Ты проснулся, Певун?

Дортуар был разделен на спальни перегородками из полированной сосны, а вместо дверей висели зеленые занавески. В те годы не слишком заботились о вентиляции, и окна открывались только по утрам, чтобы проветрить спальни.

Филип встал с постели и опустился на колени помолиться. Утро было холодное, и его слегка знобило, но дядя внушил ему, что молитва скорее доходит до Бога, если ее читать не одетым, в ночной рубашке. Это его несколько не удивляло: он уже понимал, что Бог, который его сотворил,

любит, чтобы верующие терпели лишения. Филип умылся. На пятьдесят воспитанников было всего две ванны, и каждый мог принять ванну только раз в неделю. Умывались в тазике на умывальнике, который вместе с кроватью и стулом составлял всю обстановку спальни. Одеваясь, мальчики весело болтали. Филип весь превратился в слух. Потом снова прозвонил колокол, и все побежали вниз. Они заняли свои места на скамьях, стоявших возле длинных столов в классной комнате. Вошел мистер Уотсон в сопровождении жены и слуг. Мистер Уотсон сел и прочел молитву. Читал он ее внушительно: обращение к Богу, произнесенное его громовым голосом, воспринималось как угроза, направленная каждому из мальчиков лично. Филип слушал его со страхом. Потом мистер Уотсон прочитал главу из Библии, и слуги покинули класс. Минуту спустя встрепанный паренек внес сначала два больших чайника, а потом огромные блюда с хлебом, намазанным маслом.

Филип был разборчив в еде, толстый слой не очень свежего масла сразу же вызвал у него тошноту; увидев, как другие мальчики соскребают это масло с хлеба, он последовал их примеру. У всех школьников, кроме казенной, была и своя еда — копчености и соленья, которые они вместе с игрушками привезли из дома; кое-кому дополнительно подавались яйца или сало, на чем неплохо зарабатывал мистер Уотсон. Он спросил у мистера Кэри, должен ли такую добавку получать и Филип, но священник ответил, что, по его мнению, мальчиков не следует баловать. Мистер Уотсон с готовностью согласился: он тоже считает, что хлеб с маслом — лучшая пища для юношества и что некоторые родители зря балуют своих детей, настаивая на особом питании.

Филип заметил, что эти «добавки» подчеркивали привилегированность тех, кто из получал, и решил попросить тетю Луизу, чтобы и ему давали дополнительное кушанье.

После завтрака дети отправились на площадку для игр. Сюда постепенно собрались и приходящие ученики — дети местного духовенства, офицеров расквартированного здесь полка, промышленников и торговцев этого старинного города. Скоро опять прозвонил колокол, и все пошли на занятия. Они проходили в большой длинной комнате; два младших преподавателя в разных ее концах обучали учеников второго и третьего классов. В отдельной комнате

рядом мистер Уотсон занимался с учениками первого класса. В официальных отчетах и речах, для того чтобы объединить эту начальную школу с Королевской, ее три класса именовали «высшим, средним и низшим приготовительными классами». Филипа поместили в низший. Учитель — краснощекий человек с приятным голосом, по фамилии Райс, — умел заинтересовать учеников, и время шло незаметно. Филип был удивлен, когда оказалось, что уже без четверти одиннадцать, и учеников отпустили на десятиминутную перемену.

Школа с шумом высыпала во двор. Новичкам было приказано встать посредине; остальные выстроились у стен по сторонам. Началась игра в «свинью посередке». Мальчишки постарше перебегали от одной стенки к другой; новички должны были их ловить; когда кто-нибудь из старших попадался и произносил заветные слова: «Раз, два, три, свинью бери!» — он становился пленником, переходил на сторону врага и помогал ловить тех, кто еще был на свободе. Филип заметил бегущего мимо него мальчишку и попытался его поймать, но хромота ему мешала, и те, кого ловили, пользуясь этим, старались пробежать мимо него. Одному из школьников пришла в голову блестящая идея: передразнить неуклюжую походку Филипа. Другие засмеялись, а потом и сами стали подражать товарищу; они бегали вокруг Филипа, смешно прихрамывая, вопили высокими ломающимися голосами и визгливо хохотали. Восторг, который они испытывали от этой новой забавы, заставил их совсем потерять голову — они давились от смеха. Один из них подставил Филипу ногу; тот упал, как всегда тяжело, и рассек коленку. Кругом захохотали еще громче. Когда он поднялся, один из мальчиков толкнул его сзади, и Филип упал бы снова, если бы другой его не подхватил. Игра была забыта, физическое уродство Филипа развлекало их куда больше. Один из ребят придумал странную прихрамывающую походку и стал раскачиваться всем туловищем; это показалось удивительно забавным, и несколько мальчишек повалились на землю, катаясь от смеха. Филип был напуган до немоты. Он не мог понять, почему над ним смеются. Сердце у него билось так, что ему трудно было дышать, — такого страха он не испытывал никогда в жизни. Он стоял как вкопанный, а мальчишки бегали вокруг него, кривляясь и хохоча; они кричали ему, чтобы он их

ловил, но он словно окаменел. Ему не хотелось, чтобы снова видели, как он бежит. Он напрягал все силы, стараясь не заплакать.

Внезапно зазвонил колокол, и все толпой ринулись в школу. У Филипа из колена текла кровь; он был растрепан и весь в пыли. Мистеру Райсу не сразу удалось навести порядок в классе. Его ученики все еще были возбуждены новой забавой, и Филип заметил, что двое или трое из них смотрят вниз, на его ноги. Он поджал их подальше под парту.

После обеда, когда школьники отправлялись играть в футбол, мистер Уотсон остановил Филипа.

— Кэри, ты, наверно, не можешь играть в футбол?

Филип стыдливо вспыхнул.

— Нет, сэр...

— Не огорчайся. Но ты все-таки ступай на поле... Ты можешь туда дойти? Для тебя это не далеко?

Филип представления не имел, где это поле, но все же ответил:

— Нет, сэр.

Мальчики отправились под командой мистера Райса.

Увидев, что Филип не переоделся в спортивный костюм, учитель спросил, почему он не хочет играть.

— Мистер Уотсон сказал, что мне можно не играть, сэр.

— Почему?

Филип чувствовал, что со всех сторон на него обращены любопытные взгляды; его мучил стыд. Он молчал, опустив глаза. За него ответили другие:

— У него хромая нога, сэр.

— Ах, вот как...

Мистер Райс был очень молод, диплом он получил только в прошлом году, и он вдруг растерялся. Учителя так и подмывало извиниться перед Филипом, но что-то ему мешало. Он вдруг сердито прикрикнул:

— А ну-ка, мальчики, чего вы ждете? Марш!

Кое-кто зашагал вперед; за ними двинулись и остальные группами по двое и по трое.

— А вы, Кэри, лучше идите со мной. Вы же не знаете дороги.

Филип понял, что учитель пожалел его, и к горлу у него подступил комок.

— Я не могу ходить очень быстро, сэр.

— Тогда я пойду очень медленно, — с улыбкой сказал учитель.

С этой минуты сердце Филипа было отдано краснощекому и самому что ни на есть заурядному молодому человеку, у которого нашлось для него ласковое слово. Он вдруг почувствовал себя не таким несчастным.

Ночью, когда все укладывались спать, мальчик, по прозвищу Певун, вышел из своей спальни и заглянул к Филипу.

— Послушай-ка, дай посмотреть на твою ногу, — попросил он.

— Не дам, — сказал Филип и быстро прыгнул в кровать.

— Нет, дашь, — сказал Певун. — А ну-ка, хватай его, Мейсон!

Мальчик из соседней спальни выглянул из-за перегородки и, услышав приглашение, проскользнул за занавеску. Вдвоем они накинулись на Филипа и стали сдирать с него одеяло, но тот крепко держал его обеими руками.

— Оставьте меня в покое! — закричал он.

Певун схватил головную щетку и стал оборотной стороной бить Филипа по пальцам. Филип вскрикнул от боли.

— А ты почему не показываешь нам ногу?

— Не хочу!

В отчаянии Филип стукнул своего мучителя кулаком, но сила была не на его стороне, и мальчишка, ухватив его за руку, начал ее выворачивать.

— Не надо, не надо! — взмолился Филип. — Ты мне руку сломаешь.

— А ты молчи и покажи ногу.

Филип всхлипнул, потом разрыдался. Мальчик выворачивал ему руку все сильнее. Боль стала невыносимой.

— Ладно, покажу! — сказал он.

Он высунул ногу из-под одеяла. Певун крепко держал руку Филипа и с любопытством разглядывал его уродливую ступню.

— Ужасная гадость, правда? — сказал Мейсон.

Вошел еще один мальчик и принял участие в осмотре.

— Фу! — сказал он с отвращением.

— Вот уродина, — скривившись, сказал Певун. — А она твердая?

Он пощупал ногу кончиком пальца так опасно, словно она была чем-то одушевленным. Вдруг на лестнице

послышались тяжелые шаги мистера Уотсона. Мальчишки накинули на Филипа одеяло и, как мыши, бросились врассыпную по своим спальням. В дортуар вошел мистер Уотсон. Встав на цыпочки, он мог заглянуть поверх зеленой занавески и проверить, что за ней делается. Окинув взором три кровати, он убедился, что мальчики спокойно спят, погасил свет и вышел.

Певун окликнул Филипа, но тот молчал. Вцепившись зубами в подушку, он беззвучно плакал. Он плакал не от боли, не от унижения, которое испытал, когда рассматривали его ногу, а от ненависти к себе самому, не выдержавшему пытки, к своему слабодушию.

И тут он почувствовал, как он несчастен. Его детской душе казалось, что страдания — удел всей его жизни. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил то холодное утро, когда Эмма вынула его из кровати и положила рядом с матерью. С тех пор он ни разу об этом не думал, но сейчас живо припомнил теплоту материнского тела и прикосновение ее рук. Вдруг ему почудилось, что все это сон — и смерть матери, и жизнь у дяди, и эти два горьких дня в школе, утром он проснется и очутится снова дома. От этой мысли слезы высохли. Ему слишком горько, так бывает только во сне, и мама его жива, и Эмма скоро придет и ляжет спать... Он забылся.

Но наутро его разбудил звон колокола, и, открыв глаза, он увидел зеленую занавеску своей спальни.

ГЛАВА 12

Время шло, и хромота Филипа перестала вызывать интерес. Ее уже не замечали, как рыжие волосы другого мальчика или противоестественную тучность третьего. Но Филип стал чудовищно мнительным. Он по возможности старался не бегать, зная, что тогда его увечье заметнее, и выработал особую походку. Он привык стоять неподвижно, пряча уродливую ногу позади здоровой, чтобы не привлекать к ней внимания, и вечно с тревогой ожидал насмешек. Не участвуя в играх других ребят, он был выключен из их жизни. На все, что волновало их, он мог смотреть только со стороны; ему казалось, что между ним и его товарищами — непреодолимая стена. Иногда им казалось, будто он сам виноват в том, что не играет в футбол, а он не мог им

ничего объяснить. Он часто бывал предоставлен самому себе. От природы общительный, Филип постепенно сделался молчаливым. Он начал задумываться над тем, что отличает его от других ребят.

Самый рослый мальчик в дортуаре, Певун, его невзлюбил, и щуплому для своих лет Филипу пришлось немало от него вытерпеть. Посреди семестра всю школу охватила мания игры в «перышки». Играли двое, сидя за столом или за партой, стальными перьями. Один ногтем толкал свое перо так, чтобы кончиком его покрыть кончик пера противника, а тот должен был помешать этому и в свою очередь добиваться того, чтобы его перо оказалось сверху; победитель, подышав на подушечку большого пальца, с силой прижимал оба перышка и, если ему удавалось поднять их в воздух и не уронить, становился обладателем обоих перьев. Скоро вся школа была целиком поглощена этой игрой, и наиболее искусные стали владельцами множества перышек. Мистер Уотсон, решив, что это — разновидность азартной игры, запретил ее и отнял у мальчиков перья. Филип, проявивший в этой игре большую ловкость, отдал свой выигрыш с тяжелым сердцем; пальцы его так и тянулись к перышкам, и спустя несколько дней по дороге на футбольное поле он зашел в магазин и купил перьев рондо на целое пенни. Он таскал их в кармане и радовался, чувствуя их под рукой. Певун дознался, что у Филипа есть перья. Ему тоже пришлось отдать свои запасы, но он утаил одно, самое большое перо, по прозвищу Слон, которое никто не мог победить. Трудно было избежать соблазна и не постараться выиграть у Филипа все его перья! И хотя Филип понимал слабость своих маленьких перышек, он от природы любил рисковать; к тому же он знал, что Певун все равно не даст ему покоя. Филип не играл уже целую неделю и сел за стол, предвкушая удовольствие. Он быстро потерял два своих перышка, и Певун уже ликовал, но в третий раз Слон каким-то образом промазал, и Филип сумел прикрыть его своим рондо. Он даже застонал от торжества. В этот миг в комнату вошел мистер Уотсон.

— Что вы тут делаете? — спросил он, переводя взгляд с Филипа на Певуна, но оба молчали.

— Разве вы не знаете, что я запретил эту идиотскую игру?

Сердце у Филипа отчаянно билось. Он знал, что им грозит, и был страшно испуган, но к страху у него

примешивалось какое-то приятное волнение. Филипа никогда еще не пороли. Конечно, это больно, зато будет чем похвастаться потом!

— Ступайте ко мне в кабинет.

Директор повернулся, и они пошли за ним. Певун прошептал Филипу:

— Ну, влетит!

Мистер Уотсон показал пальцем на Певуна:

— Нагнись.

Белый как мел Филип смотрел, как мальчик вздрагивает от каждого удара; после третьего он вскрикнул. За этим ударом последовало еще три.

— Хватит. Поднимайся.

Певун выпрямился. По его лицу катились слезы. Филип сделал шаг вперед. Мистер Уотсон посмотрел на него.

— Тебя я пороть не буду. Ты — новенький. И не могу я бить калеку. Ступайте оба и в следующий раз извольте слушаться.

Когда они вернулись в класс, их окружила толпа ребят, откуда-то пронюхавших о том, что с ними стряслось. Мальчишки жадно накинулись на Певуна с расспросами. Лицо у Певуна покраснело от боли, на щеках еще были следы слез. Он мотнул головой на Филипа, стоявшего позади.

— Ему сошло с рук, потому что он калека, — сказал он зло.

Филип сжал зубы, сгорая от стыда. Он чувствовал, что мальчишки смотрят на него с презрением.

— Сколько тебе дали? — спросил один из них Певуна.

Но тот не ответил. Он был зол: ведь ему сделали больно.

— Ты меня больше не проси с тобой играть, слышишь? Тебе-то что! Ты нечем не рискуешь.

— Я тебя и не просил!

— Врешь!

Он быстро дал ему подножку. Филип всегда неустойчиво держался на ногах, он больно грохнулся об пол.

— Калека! — крикнул Певун.

Он жестоко терзал Филипа до самого конца семестра, и хотя тот старался не попадаться ему на глаза, школа была так мала, что скрыться не удавалось. Филип пробовал заговорить со своим учителем по-товарищески; он унился даже до того, что купил ему нож; хотя Певун и взял

нож, но не утихомирился. Раза два, доведенный до отчаяния, Филип попытался ударить или лягнуть Певуна, но тот был намного его выше и настолько сильнее, что Филип не мог с ним справиться и, натерпевшись мук, всегда был вынужден просить пощады. Филипа угнетала развязка: унижительные извинения, которые вымогали у него при помощи нестерпимых пыток. Но хуже всего было то, что страданиям его, казалось, не будет конца: Певуну исполнилось всего одиннадцать лет, а в приготовительных классах он пробудет до тринадцати. Филип знал, что ему суждено целых два года прожить с палачом, от которого не было спасения. Он был счастлив только во время уроков и когда ложился в постель. И по вечерам к нему часто возвращалось странное чувство, что жизнь его со всеми ее бедами — только сон и утром он проснется в своей кровати в Лондоне.

ГЛАВА 13

Прошло два года, и Филипу было уже около двенадцати лет. Учился он в первом классе, шел вторым или третьим учеником, и после Рождества, когда несколько мальчиков перейдут из его класса в Королевскую школу, он станет первым. У него уже скопилась целая коллекция наград (никому не нужные книги на скверной бумаге, хотя и в роскошных переплетах, украшенных гербом школы). Завоеванное положение спасало его от издевательств, и жизнь больше не казалась такой уж тяжелой. Товарищи прощали ему успехи за его хромоту.

— Подумаешь! Кэри сам Бог велел получать награды, — говорили они. — Что ему еще делать, как не зубрить?..

Страх его перед мистером Уотсоном пропал. Он привык к его львиному рыку, и, когда на плечо его опускалась тяжелая рука директора, Филип угадывал в этом прикосновении ласку. У него была отличная память, что куда важнее для хорошего ученика, нежели умственные способности, и он знал, что мистер Уотсон рассчитывает выпустить его из приготовительной школы со стипендией.

Но Филип постоянно чувствовал себя настороже. Младенец не отдает себе отчета в том, что тело его принадлежит ему больше, чем окружающие предметы; он играет пальцами ноги, не чувствуя, что они — часть его самого

и чем-то отличаются от висящей рядом погремушки; лишь постепенно, испытав боль, ребенок начинает ощущать самостоятельное существование своего тела. Индивидууму, чтобы осознать свое «я», необходим такой же опыт; однако разница заключается в том, что всякий человек ощущает свое тело как особый и самостоятельный организм, но отнюдь не каждый осознает свое «я» как самостоятельную и независимую личность. Ощущение отчужденности от других приходит обычно с половой зрелостью, но не всегда развивается до такой степени, чтобы отличие индивидуума от окружающих стало заметно ему самому. И вот людям, так же мало осознающим свое «я», как пчелы в улье, суждена в жизни удача: им куда чаще выпадает счастье, ведь их бытие делит с ними все общество, их радости только потому и становятся радостями, что ими тешатся сообща; такие люди пляшут в духов день на Хэмстед-хид, орут на футбольном матче, машут из окон клубов на Пелл-Мелл королевскому кортежу. Это благодаря им человека прозвали общественным животным.

Филип шагнул от простодушия младенчества к горькому ощущению своего «я», подгоняемый насмешками, которым подвергалась его хромота. Условия его существования были необычны; к ним нельзя было применить ходячие правила, и ему волей-неволей приходилось думать самостоятельно.

Он прочел множество книг, и в голове его роились мысли, которые он еще и сам не вполне понимал; может, поэтому они так будоражили его воображение. Болезненная застенчивость делала его замкнутым, но в душе у него что-то созревало. И он смутно начинал отдавать себе отчет в том, что он — личность. По временам эта личность самого его удивляла: он совершал безотчетные поступки и, раздумывая о них потом, так и не мог их себе объяснить.

Он подружился с мальчиком по фамилии Люард, и однажды, когда они вдвоем играли в классе, Люард стал показывать какой-то фокус с ручкой из черного дерева, принадлежавший Филипу.

— Брось валять дурака, — сказал Филип. — Ты ее сломаешь.

— Не сломаю.

Но не успел он договорить, как ручка переломилась пополам. Люард с испугом посмотрел на Филипа.

— Прости, пожалуйста. Мне ужасно жалко, что она сломалась.

По щекам Филипа катились слезы; он не произнес ни слова.

— Послушай, что с тобой? — с изумлением спросил Люард. — Я куплю тебе точно такую же ручку.

— Мне не ручки жалко, — сказал Филип дрожащим голосом, — но ее подарила мне мама перед смертью...

— Послушай, Кэри, извини меня, пожалуйста...

— Да что там. Чем же ты виноват...

Филип взял обломки ручки и, глядя на них, старался сдерживать рыдания. Он чувствовал себя ужасно несчастным и сам не знал почему: ведь он-то отлично помнил, что купил эту ручку за шиллинг и два пенса в Блэкстебле, во время каникул. Филип сам не мог понять, что заставило его выдумать эту трогательную историю, но так горевал, словно все это была правда. Набожная атмосфера в семье священника и религиозная обстановка в школе сделали Филипа очень совестливым; он привык верить в то, что искуситель не дремлет, охотясь за его бессмертной душой, и, хотя он не был правдивее других ребят, всякая ложь заставляла его потом горько раскаиваться. Думая об этом происшествии, он очень каялся и наконец решил пойти к Люарду и сознаться в том, что все выдумал. И, пуще всего на свете боясь унижения, он целых три дня тешился мыслью о том, какую горькую радость испытает, унизив себя во славу Божию. Однако дальше этой мысли он не пошел. Он облегчил свою совесть более легким способом — покаявшись только перед Всевышним. Но Филип так и не понял, почему его взволновала история, которую он сам же выдумал. Ведь слезы текли по его грязным щекам, и это были неподдельные слезы! И тогда по какой-то ассоциации он вспомнил, как Эмма сообщила ему о смерти матери, а он, обливаясь слезами, все же настоял на том, чтобы проститься с мисс Уоткин и ее сестрой. Ему хотелось, чтобы они видели, как он горюет, чтобы его пожалели.

ГЛАВА 14

Потом всю школу захлестнула волна религиозного чувства. Не слышно стало ругани, и мелкие пакости малышей вызывали искреннее возмущение; старшие мальчики,

словно средневековые рыцари-тамплиеры, пользовались мощью своей длани для того, чтобы направить слабых духом на стезю добродетели.

Филип со своим беспокойным умом, жадным до всего нового, стал очень набожным. Прослышав, что можно вступить в Библейскую лигу, он написал в Лондон, желая разузнать о ней поподробнее. Ему прислали опросный лист, в котором надлежало сообщить имя, возраст и учебное заведение; он должен был также дать торжественное обещание в том, что каждый вечер в течение года будет читать отрывок из Священного писания; в конце его просили выслать полкроны. Деньги, как ему разъясняли, нужны для того, чтобы убедиться в серьезности его намерений и покрыть канцелярские расходы. Филип, не откладывая, выслал то, что у него просили, в ответ он получил календарь стоимостью в пенни, на котором были размечены для чтения главы из Библии, и лист бумаги; на одной стороне его изображался божественный пастырь с ягненком, а на другой была напечатана молитва в красивой красной рамке. Ее полагалось произносить перед чтением Священного писания.

Теперь каждый вечер Филип спешил поскорее раздеться, чтобы прочесть побольше, прежде чем погасят газ. Читал он, как всегда, прилежно, не допуская в душу сомнений, рассказы о жестокостях, коварстве, бесчестии, неблагодарности и низком обмане. Поступки, которые непременно возбудили бы в нем ужас, случись они в жизни, не вызывали у него осуждения, ибо совершались по прямому внушению Божьему. Лига предлагала чередовать главу из Ветхого завета с главой из Нового, и как-то ночью Филипу попались такие слова Христа: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море», — будет; И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите».

Слова эти не произвели на него особого впечатления, но случилось так, что дня через два, в воскресенье, соборный каноник выбрал этот же текст для своей проповеди. Если бы Филип и захотел ее слушать, ему бы это все равно не удалось: ученики Королевской школы сидели на хорах, а кафедра помещалась в углу бокового нефа, так что проповедник стоял к ним почти спиной. Да и расстояние было так велико, что на хорах можно было услышать только

человека с хорошим голосом и дикцией, а по давней традиции каноников Теркенбери выбирают скорее за образованность, чем за умение служить у алтаря. Однако евангельский текст, взятый для проповеди, Филип все же расслышал — может быть, потому, что он так недавно его прочел, — и мальчику вдруг показалось, что он касается его лично. Он раздумывал об этих словах чуть не всю проповедь и вечером, улегшись в постель, перелистал Новый завет и снова отыскал нужное место. И, хотя он неукоснительно верил всему, что напечатано в книгах, в Библии, как он уже убедился, часто говорилось одно, а подразумевалось, неизвестно почему, совсем другое. В школе не было человека, к которому он мог бы пойти за советом, поэтому он решил отложить волновавший его вопрос до Рождественских каникул, и тут ему представился подходящий случай. Дело было после ужина, вечерние молитвы были уже прочитаны. Миссис Кэри считала яйца, которые, как всегда, принесла Мэри-Энн, и писала на них дату. Филип стоял у окна и с безразличным видом перелистывал Библию.

— Послушай, дядя, вот это место... Как по-твоему, что оно означает?

Он показал пальцем абзац так, словно напал на него случайно.

Мистер Кэри взглянул на племянника поверх очков. Он сидел возле камина, держа у огня «Блэкстебл таймс». В тот вечер газета пришла из типографии еще сыроватая, и священник всегда в таких случаях подсушивал ее минут десять, прежде чем приняться за чтение.

— Какое место? — спросил он.

— Да вот тут написано, что, если у тебя есть вера, ты можешь сдвинуть с места горы.

— Если это сказано в Библии, значит, так оно и есть, — мягко заметила миссис Кэри, унося корзину со столовым серебром.

Филип молча смотрел на дядю, ожидая ответа.

— Все дело в вере.

— Неужели правда, что стоит поверить, будто ты можешь сдвинуть с места гору, и ты ее в самом деле сдвинешь?

— С Божьей помощью, — сказал священник.

— Ну, Филип, пожелай дяде спокойной ночи, — вмешалась тетя Луиза. — Ты ведь сегодня ночью не собираешься двигать гору?

Филип подставил дяде лоб для поцелуя и пошел наверх с тетей Луизой. Он получил ответ. В его комнате воздух был ледяной, и Филип дрожал, надевая ночную рубашку. Но он всегда верил, что молитвы угоднее Богу, если ты читаешь их, терпя неудобства. Окоченевшие руки и ноги были жертвой на алтарь Всевышнего. И сегодня он упал на колени, закрыл лицо руками и стал пламенно молиться Богу, чтобы тот сделал его уродливую ногу такой, как у всех. Ведь это же мелочь, разве можно сравнить какую-то ногу с горой? Он знал, что, если Бог захочет, он может это сделать, и его вера была несокрушима. На следующее утро, кончая молитву все той же просьбой, он назначил день, когда должно было совершиться чудо.

— О Господи, всеблагий и всемилостивый! Если будет на то воля твоя, прошу тебя, сделай мою ногу здоровой в ночь накануне моего возвращения в школу!

Ему было приятно, что он сумел выразить свою просьбу в такой складной форме, и он повторил ее в столовой, перед тем как подняться с колен после утренней молитвы, во время краткого молчания, которого требовал священник. Он снова произнес ее вечером, а потом еще раз, дрожа от холода, перед сном. И он верил. В первый раз он ждал с нетерпением конца каникул. Он смеялся в душе, представляя удивление дяди, когда тот увидит, как он бежит вприпрыжку с лестницы, перескакивая через три ступеньки... А после завтрака им с тетей Луизой придется спешно покупать новую пару ботинок. В школе будут поражены.

— Эй, Кэри, что ты сделал со своей ногой?

— Она у меня теперь в порядке, — скажет он небрежно, как будто произошла самая обычная вещь на свете.

Он сможет играть в футбол. Сердце его дрогнуло, когда он представил себе, как он бежит, бежит быстрее других ребят. В конце пасхального семестра будут спортивные состязания, и он сможет участвовать в беге; ему очень хотелось участвовать в беге с препятствиями. Какое счастье быть таким, как все, чтобы на тебя не пялили глаза новички, которые еще не знают о твоём увечье, чтобы летом, во время купания, тебе не нужно было принимать самые невероятные предосторожности, пока ты раздеваешься и еще не успел спрятать ногу в воде...

Он молился от всей души. Сомнения его не тревожили. Он полагался на слово Божие. И в ночь накануне отъезда в

школу он отправился спать, дрожа от волнения. Выпал снег, и тетя Луиза позволила себе непривычную роскошь — она затопила камин в своей спальне. Но в комнатухе Филипа было так холодно, что у него совсем онемели пальцы, и ему было трудно расстегнуть воротник. Зубы его стучали. Он решил, что сегодня ему надо совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы заслужить милость Бога, и он отвернул коврик у кровати и встал коленями на голые доски; тогда ему показалось, что ночная рубашка — это тоже баловство и может рассердить Создателя; он снял ее и стал молиться голый. Когда он лег в постель, ему было ужасно холодно, и он долго не мог заснуть, но сон наконец пришел, и такой крепкий, что Мэри-Энн наутро с трудом его разбудила. Она принесла горячую воду и что-то ему говорила, раздвигая занавески, но Филипп ей не отвечал: он сразу же вспомнил, что в это утро должно было совершиться чудо. Сердце его было полно благодарности и восторга. Он инстинктивно вытянул руку, чтобы пощупать ступню, которая была теперь такой, как у всех, но тут же отдернул ее, боясь, что это будет означать сомнение в благодати Божьей. Он ведь знает, что нога его здорова. Но в конце концов он все-таки решился и пальцем правой ноги легонько дотронулся до левой. Потом от провел по ней рукой.

Хромая, Филипп спустился вниз, когда Мэри-Энн вошла в столовую на молитву. Потом он сел завтракать.

— Ты сегодня какой-то тихий, — немного погодя сказала ему тетя Луиза.

— Он мечтает о вкусном завтраке, который ему завтра подадут в школе, — сказал священник.

Помолчав, Филипп ответил, но по всегдашней своей манере совсем не на то, о чем шла речь, — дядя злился и называл это дурацкой привычкой витать в облаках.

— Предположим, ты просил о чем-то Бога, — сказал Филипп, — и верил по-настоящему, что он это сделает, вот, например, передвинет гору на другое место или что-нибудь еще, понимаешь? И у тебя есть вера, а ничего не случилось. Что бы это могло значить?

— Какой странный мальчик! — сказала тетя Луиза. — Ты две недели назад уже спрашивал, можно ли передвинуть гору.

— Это значит, что у тебя не хватает веры, — ответил дядя Уильям.

Филип принял это объяснение. Если Бог его не исцелил, значит, он верил не так, как нужно. Но в тоже время он не понимал, как можно было верить сильнее. А что, если он дал Богу слишком мало времени? Он молил его всего каких-то девятнадцать дней. Через день-другой он стал снова повторять свою молитву и назначил Богу новый срок — Пасху. В этот светлый день воскрес из мертвых сын Божий, и Бог на радостях должен быть настроен милостиво. Но на этот раз Филип принял и другие меры, чтобы его заветное желание было исполнено: он загадывал его, глядя на молодой месяц или на коня в яблоках; ждал, не упадет ли звезда; во время короткой побывки дома им как-то подали курицу, и он ломал тушку с тетей Луизой, загадывая снова и снова, чтобы его нога стала здоровой, как у других. Бессознательно он взывал к богам куда более древним, чем Бог Израилев. Он засыпал Всевышнего своими молитвами во всякое время дня, когда бы он об этом ни вспомнил, но всегда в одних и тех же выражениях: ему почему-то казалось, что точность слов тут очень важна. Однако скоро он стал чувствовать, что и теперь его веры не хватит. Он уже не мог подавить в себе сомнения. И дело кончилось тем, что свой личный опыт от возвел в общее правило.

— Видно, ни у кого не хватает веры, — говорил он себе.

Все это было похоже на басни его няньки: та его уверяла, что можно поймать любую птицу, насыпав ей соли на хвост; как-то раз маленький Филип взял с собой в Кенсингтонский парк мешочек с солью. Но ему ни разу не удалось подобраться к птице так близко, чтобы можно было насыпать ей соли на хвост. Перед Пасхой Филип прекратил всякую борьбу. К дяде, который его обманул, он почувствовал глухую злобу. Текст, где говорилось, что вера движет горами, был лишним примером того, что в книгах пишется одно, а на деле выходит совсем другое. Дядя, наверно, просто подшутил над ним.

ГЛАВА 15

Королевская школа в Теркенбери, куда Филип поступил в тринадцать лет, гордилась своим древним происхождением. Основанная еще до завоевания Англии норманнами, она сперва была школой при аббатстве — начатки

наук преподавались там монахами-августинцами; с уничтожением монастырей школа, как и многие подобные ей заведения, была реорганизована чиновниками короля Генриха VIII, откуда и получила свое название. С тех пор она занимала подобающее ей место и давала образование детям дворян и лиц свободных профессий Кента. Из ее питомцев вышло несколько знаменитых литераторов, начиная с того поэта, чей гений уступал лишь блистательному гению Шекспира, и кончая прозаиком, чьи взгляды на жизнь глубоко повлияли на поколение Филипа; она воспитала и двух-трех известных адвокатов — положим, известные адвокаты совсем не редкость — и столько же видных военных. Но все три столетия, с тех пор как она отделилась от монашеского ордена, школа готовила главным образом мужей церкви: епископов, настоятелей, каноников и больше всего сельских священников; в школе были мальчики, отцы, деды и прадеды которых учились в ее же стенах, а затем становились приходскими священниками в Теркенберийской епархии; такие мальчики поступали в школу с готовым решением сделать духовную карьеру. Впрочем, даже тут заметны были признаки надвигающихся перемен: кое-кто из учеников, вторя пересудам взрослых, поговаривал, будто церковь уже не та, что прежде. Дело было даже не в ее доходах — изменился класс людей, которые желали принять духовный сан; мальчики знали священников, чьи отцы были простыми лавочниками. Лучше уж отправиться в колонии (в те дни колонии все еще были последней надеждой тех, кому нечего было делать в Англии), чем стать помощником какого-нибудь типа, который не был джентльменом. В Королевской школе, как и в доме блэкстеблского священника, лавочником считали всякого, кто не сподобился владеть землей (хотя и здесь проводилось тонкое различие между помещиком из дворян и простым землевладельцем) или не принадлежал к одной из четырех профессий, достойных джентльмена. Среди приходящих учеников — их было около ста пятидесяти — сыновья местных дворян и офицеров презирали тех, чьи отцы занимались коммерцией.

Учителя не признавали модных взглядов на воспитание, о которых иногда почитывали в «Таймс» или «Манчестер гардиан»; они от души надеялись, что Королевская школа останется верна своим старым традициям. Древние языки

преподавались с таким усердием, что бывший ученик всю жизнь не мог подумать о Гомере или Вергилии без отвращения; хотя в учительской иной смельчак за обедом и утверждал подчас, что роль математики нынче возрастает, большинство стояло на том, что изучать классические языки куда благороднее. Ни немецкому, ни химии не учили, а французский преподавали лишь классные наставники; они могли блюсти порядок в классе лучше какого-нибудь иностранца, а грамматику знали не хуже любого француза — что за беда, если ни один из них не смог бы заказать чашку кофе в ресторане в Булони, если бы официант хоть чуть-чуть не понимал по-английски? Обучение географии сводилось к тому, что ребят заставляли чертить карты, в особенности если изучаемая страна была гористой; можно убить уйму времени, вычерчивая Анды или Апеннины. Учителя были выпускниками Оксфорда или Кембриджа, посвящены в духовный сан и все как один — холостяки: если кто-нибудь из них вдруг решал жениться, ему оставалось лишь принять от капитула менее доходную должность; но за много лет никто из них не пожелал променять изысканное теркенберийское общество — благодаря кавалерийскому гарнизону здесь была не только духовная, но и военная знать — на однообразную жизнь в сельском приходе; во времена Филипа все учителя были людьми пожилыми.

Зато директору полагалось быть человеком женатым, и он руководил школой, пока у него хватало сил. Когда он выходил в отставку, его награждали пенсией, куда большей, чем та, на какую могли рассчитывать учителя, и саном почетного каноника в придачу.

Но за год до поступления Филипа в школе произошли серьезные события. Давно было ясно, что доктор Флеминг, пробывший директором уже четверть века, стал чересчур глух, чтобы продолжать свою деятельность во славу Господню; когда на одной из окраин города освободился приход с окладом в шестьсот фунтов, доктору предложили принять его в весьма недвусмысленных выражениях, подразумевавших, что ему давно пора на покой. На такое жалованье нетрудно было врачевать свои недуги. Младшие священники, надеявшиеся на повышение, говорили своим женам, что обидно отдавать приход, нуждавшейся в молодом, крепком и энергичном человеке, старикану, который понятия не имеет о приходских делах и уже скопил денег на

черный день; но жалобы необеспеченного духовенства не достигали ушей членов капитула. Что касается прихожан, то их дело было сторона и никто их мнения не спрашивал. К тому же у них был выбор: в приходе имели свои молитвенные дома как методисты, так и баптисты.

Когда избавились от доктора Флеминга, пришлось подыскать ему заместителя. Избрание одного из младших учителей нарушило бы школьные традиции. Учительская была единодушно настроена в пользу мистера Уотсона, директора подготовительных классов; его никак нельзя было считать преподавателем Королевской школы; все знали его добрых двадцать лет и не боялись с его стороны подвоха. Но капитул преподнес им сюрприз. Он назначил некоего Перкинса. Сперва никто не знал, кто такой Перкинс, и это простонародное имя само по себе вызывало кривотолки; но, прежде чем улеглось первое потрясение, выяснилось, что это сын Перкинса, торговца полотном. Доктор Флеминг с нескрываемым ужасом сообщил об этом классным наставникам как раз перед обедом. Все, кто сидел за столом, ели в молчании, не касаясь этой темы, пока слуги не покинули комнату. Зато потом они отвели душу. Имена присутствовавших не имеют значения, но целые поколения школьников звали их Занудой, Дегтем, Соней, Ирлашкой и Выскочкой.

Все они знали Тома Перкинса. Во-первых, он был плебеєм. Они его отлично помнили. Это был маленький, смуглый, глазастый мальчик с всклокоченными черными волосами. Вылитый цыганенок. В школе он был приходящим учеником и получал наивысшую стипендию, так что образование не стоило ему ни гроша. Конечно, у него были блестящие способности. Ежегодно школьный акт приносил ему награды. Учителя выставляли его напоказ, и теперь они с горечью вспоминали, как в свое время боялись, что он попытается получить стипендию в какой-нибудь из более привилегированных школ и таким образом ускользнет у них из рук. Доктор Флеминг даже посетил его отца, торговца полотном — все они помнят лавку Перкинса и Купера на Сент-Кэтрин-стрит — и выразил надежду, что Том останется у них в школе до поступления в Оксфорд. Школа была самым выгодным покупателем Перкинса и Купера, и мистер Перкинс с радостью заверил директора, что все будет в порядке. Слава Тома Перкинса не меркла, по

древним языкам он был лучшим учеником из всех, кого помнил доктор Флеминг, и по окончании школы получил самую большую стипендию, какую она могла предложить. В колледже Святой Магдалины он получил еще одну стипендию, с чего и началась его блестящая университетская карьера. Школьный журнал каждый год отмечал достигнутые им успехи, и, когда по окончании университета он получил диплом первой степени по двум специальностям, доктор Флеминг собственноручно начертил в передовице несколько похвальных слов. Его успехи радовали всех еще и потому, что для Перкинса и Купера настали тяжелые времена. Куперпил горькую, и фирме пришлось заявить о банкротстве, как раз накануне получения Томом Перкинсом ученой степени.

В положенный срок Том Перкинс принял духовный сан и вступил на ту стезю, для которой подходил как нельзя более. Он служил младшим преподавателем в Веллингтоне, а потом в Регби.

Но между признанием его успехов в других школах и службой под его началом в их собственной была большая разница. Деготь часто заставлял его переписывать латинские и греческие стихи, а Выскочка драл его за уши. Они были поражены, как это капитул допустил такую ошибку. Разве можно забыть, что Перкинс — сын обанкротившегося торговца полотном, а пьянство Купера еще усугубляло этот позор. Разнесся слух, что настоятель усердно поддерживал его кандидатуру, так что, вероятно, Перкинса будут приглашать к нему ужинать; но останутся ли эти интимные трапезы такими же приятными, как прежде, если за стол посадят Тома Перкинса? А как насчет гарнизона? Не мог же Перкинс ожидать, что офицеры и все прочие джентльмены примут его как равного. Все это нанесет школе неизмеримый урон. Родители будут недовольны, и, чего доброго, ученики начнут толпами переходить в другие школы. И вдобавок какое унижение — называть его «мистер Перкинс»! Учителя собирались в знак протеста коллективно подать в отставку, но их удерживал страх, что отставка будет принята.

— Да, новшеств нам не миновать, — промолвил Зануда, который уже двадцать пять лет с поразительной бездарностью вел пятый класс.

Встреча с Перкинсом не внесла успокоения в их души. Доктор Флеминг пригласил их для этой встречи на обед.

Новому директору было уже года тридцать два, он был высок и худощав, но сохранил все тот же диковатый и расстрепанный вид, который они помнили с его мальчишеских лет. Одевался он небрежно, костюм был дурно сшит и изрядно поношен. Волосы были по-прежнему черные и длинные, но расчесывать их он, по-видимому, так и не научился; при каждом движении они падали ему на лоб, и он привычным жестом отбрасывал их назад. Рот был закрыт черными усами, лицо заросло бородой до самых скул. Беседовал он с учителями совершенно свободно, словно расстался с ними каких-нибудь две недели назад; казалось, он был в восторге, что видит их снова. Он явно не чувствовал неловкости положения и не видел ничего странного в том, что его называют мистером Перкинсом.

Прощаясь, один из учителей заметил из вежливости, что у Перкинса еще много времени до отхода поезда.

— Я хочу побродить по городу и взглянуть на лавку, — весело ответил тот.

Наступило замешательство. Учителя подивились его бестактности, в довершение доктор Флеминг не расслышал его слов. Миссис Флеминг пришлось крикнуть ему в самое ухо:

— Он хочет побродить по городу и поглядеть на отцовскую лавку.

Один лишь Том Перкинс не чувствовал унижения, которое испытывало все общество. Он спросил миссис Флеминг:

— Вы случайно не знаете, кому она сейчас принадлежит?

Она чуть было не лишилась дара речи. Ее охватила ярость.

— Там все еще торгуют полотном, — резко сказала она. — Хозяина зовут Гров. Мы там больше не покупаем.

— Любопытно, позволит ли он мне походить по дому.

— Наверно, позволит, если вы ему скажете, кто вы такой.

Только вечером после ужина в учительской заговорили о том, что занимало всех. Зануда спросил:

— Ну, что вы думаете о нашем новом начальстве?

Они вспомнили разговор за обедом. Впрочем, вряд ли назовешь его разговором — скорее это был монолог. Перкинс говорил не умолкая, очень быстро, речь его лилась плавным потоком, а голос был глубоким и звучным.

Смеялся он странным коротким смешком, показывая ослепительно белые зубы. Им с трудом удавалось следить за ходом его речи, мысли его перескакивали с одного предмета на другой, и связь между ними часто от них ускользала. Он говорил о педагогике, и в этом еще не было ничего удивительного, но его волновали модные немецкие теории, о которых они никогда и не слышали, да и слышать не хотели! Он говорил об античности, коснулся и археологии; мистер Перкинс побывал в Греции — однажды он провел на раскопках целую зиму, им было непонятно, зачем все это учителю. Для того, чтобы готовить детей к экзаменам?.. Он говорил о политике. Странно было слышать, что он сравнивает лорда Биконсфилда с Алкивиадом. Он говорил о мистере Гладстоне и самоуправлении для Ирландии. Да он просто либерал! Сердце у них упало. Он говорил о немецкой философии и о французской литературе. Разве у серьезного человека могут быть такие разнородные интересы?

Соне удалось выразить общее впечатление, и в такой форме, которая в их устах означала самый суровый приговор. Соня — наставник старшего третьего класса — был человек слабовольный; веки его были всегда полуприкрыты. Недостаточно крепкий для своего высокого роста, он двигался медленно, вяло и выглядел ужасно утомленным; произище было очень метким.

— Уж больно увлекается, — сказал Соня.

Увлекаться было непристойно. Джентльменам увлекаться не подобало. Это напоминало об армии спасения с ее пронзительными трубами и барабаном. Увлечения вели ко всяким новшествам. Мороз продирает по коже от одной мысли, что любезным их сердцу традициям угрожает неминуемая опасность. Они с дрожью взирали на будущее.

— Он еще больше похож на цыгана, чем прежде, — изрек кто-то, помолчав.

— Интересно, знали настоятель и капитул, что он радикал? — горько спросил другой.

Но разговор не клеился. Они были взволнованы.

Когда неделю спустя Деготь и Зануда шли в здание капитула на торжественный акт, Деготь заметил с обычной своей язвительностью:

— Мы с вами присутствуем на таких торжествах уже много лет. Любопытно, доживем ли мы до следующего?

Зануда был настроен еще более меланхолично, чем всегда.

— Если мне попадется теплое местечко, — сказал он, я согласен и в отставку.

ГЛАВА 16

Прошел год, как Филип поступил в школу, но все старые учителя по-прежнему оставались на своих местах. Однако, несмотря на сопротивление педагогов, которое отнюдь не было менее упорным оттого, что скрывалось под мнимой готовностью поддерживать затеи нового начальства, в школе замечалось немало перемен. Классные наставники все еще обучали французскому языку в низших классах, но был приглашен новый учитель со степенью доктора филологии, полученной в Гейдельбергском университете, и свидетельством о трехлетнем пребывании во французском лицее; он преподавал французский в старших классах и немецкий — тем, кто предпочел этот язык греческому. Другого учителя пригласили преподавать математику более основательно, чем было принято до сих пор. Ни тот, ни другой не принадлежали к духовному званию. Это была настоящая революция, и, когда они появились, старые учителя встретили их враждебно. Была оборудована лаборатория, стали проводить военные занятия; все утверждали, что самый характер школы менялся на глазах. Одному только Богу было известно, какие еще проекты витали в вихрастой голове мистера Перкинса! Школа была невелика по сравнению с другими закрытыми учебными заведениями; ее интернат мог вместить не больше двухсот учеников. Она примыкала к собору, и ей трудно было расширяться; за исключением одного дома, в котором жили учителя, все соседние здания были заняты соборным причтом; свободных участков для новых построек не было. Но мистер Перкинс разработал подробный план, который позволял школе удвоить свои размеры. Ему хотелось привлечь учеников из Лондона. Им пойдет на пользу общение с ребятами из Кента, а те в свою очередь поднаберутся у них городского лоска.

— Но это идет вразрез со всеми нашими традициями, — сказал Зануда, когда мистер Перкинс поделился с ним своими проектами. — Мы всегда старались избежать этой заразы — лондонских мальчишек.

— А, вздор! — сказал мистер Перкинс.

Никто еще не говорил классному наставнику, что он болтает вздор; Зануда уже обдумывал едкий ответ с намеком на торговлю нижним бельем, но тут мистер Перкинс со свойственной ему горячностью напал на него самым оскорбительным образом:

— Что касается соседнего дома... вот если бы вы женились, я бы убедил капитул надстроить несколько этажей — мы бы оборудовали там дортуары и классные комнаты, а ваша жена помогала бы вам следить за порядком.

Пожилой священник просто ахнул. Зачем ему жениться? Ему стукнуло пятьдесят семь лет, разве можно жениться в пятьдесят семь лет! Да не способен он в свои годы присматривать за целым домом. Он не хочет жениться. Если уж надо выбирать между женитьбой и сельским приходом, он лучше подаст в отставку. Все, чего он теперь хочет, — это тишины и покоя.

— Да я и думать не желаю о браке, — заявил он.

Мистер Перкинс уставился на него своими черными горящими глазами, а если в них и были веселые искорки, бедный Зануда этого не заметил.

— Жаль! А вы бы не могли жениться, чтобы сделать мне одолжение? Это бы мне сильно помогло убедить настоятеля и капитул перестроить ваш дом...

Но самым ненавистным новшеством мистера Перкинса была его манера время от времени проводить занятия в чужом классе. Каждый раз он просил об этом как об одолжении, отлично понимая, что отказать ему нельзя. Выражаясь словами Дегтя, то бишь мистера Тернера, новый порядок был унизителен для обеих сторон. Не предупредив заранее, директор, бывало, говорил после утренней молитвы одному из преподавателей:

— Вы ведь не откажетесь взять сегодня с одиннадцати часов шестой класс? Поменяемся классами, ладно?

Они не знали, было ли это принято в других школах, но, во всяком случае, в Теркенбери так никогда не поступали. И последствия были самые неожиданные. Мистер Тернер — он стал первой жертвой — сообщил своему классу, что сегодня урок латыни будет вести директор, и под тем предлогом, что ученики, быть может, пожелают выяснить какие-нибудь вопросы, чтобы не попасть впросак перед директором, посвятил последние четверть часа урока

истории синтаксическому разбору заданного на этот день отрывка из Ливия. Но когда он вернулся в свой класс и заглянул в журнал, где мистер Перкинс ставил отметки, его ждал сюрприз: двум лучшим ученикам не повезло, тогда как другие, никогда прежде не отличавшиеся успехами, получили отличные отметки. Когда он спросил своего любимчика Элдриджа, как это надо понимать, тот угрюмо ответил:

— Мистер Перкинс вовсе и не спрашивал синтаксического разбора. Он спросил меня, что я знаю о генерале Гордоне.

Мистер Тернер уставился на него с изумлением. Ученики явно считали, что с ними поступили несправедливо, и он не мог не разделять их молчаливого недовольства. Как и они, он не понимал, что может быть общего между Ливием и генералом Гордоном. В конце концов он рискнул осведомиться об этом у директора.

— Элдридж был совсем сбит с толку, когда вы спросили его о генерале Гордоне, — сказал он директору, отваживаясь при этом хихикнуть.

Мистер Перкинс засмеялся.

— Я увидел, что они дошли до аграрных законов Гая Гракха, и поинтересовался, знают ли они что-нибудь об аграрных беспорядках в Ирландии. Но об Ирландии они знают только, что Дублин стоит на реке Лиффи. Вот мне и захотелось спросить, слыхали ли они о генерале Гордоне.

И тут обнаружился ужасающий факт: новый директор был просто одержимый, его интересовало общее развитие учащихся. Проверку зазубренных уроков он считал делом бесполезным и требовал сообразительности.

С каждым месяцем Зануда мрачнел все больше: его мучила мысль, что мистер Перкинс вот-вот потребует от него назначить срок женитьбы; к тому же его злило отношение директора к античной литературе. Без сомнения, тот был ее блестящим знатоком, к тому же он писал труд в лучших традициях классического образования — диссертацию о деревьях, упоминавшихся у латинских авторов. Но говорил он об этом легкомысленно, словно о пустячном занятии, вроде игры на бильярде, которой он увлекался в свободное время. А руководитель среднего третьего класса, Выскочка, становился с каждым днем все раздражительнее.

В его-то класс и попал Филип при поступлении в Королевскую школу. Преподобный Б.-Б. Гордон был человеком,

плохо приспособленным к учительской профессии: он отличался нетерпимостью и вспыльчивым характером. Не зная над собой никакой управы, имея дело с безответными малышами, он давно разучился сдерживаться. Он начинал трудовой день сердясь, а кончал его в бешенстве. Это был тучный человек среднего роста, с коротко подстриженными бесцветными и уже начавшими сесть волосами и маленькими щетинистыми усами. Его широкое одутловатое лицо с крошечными голубыми глазками было от природы красное, а во время частых приступов гнева оно темнело и становилось багровым. Ногти его были обкусаны до самого мяса, пока какой-нибудь мальчик, дрожа, разбирал предложение, он, сидя за столом, тряся от бешенства и грыз ногти. О его рукоприкладстве ходили, быть может, и преувеличенные слухи, но два года назад вся школа была встревожена, узнав, что отец одного из учеников, по фамилии Уолтерс, угрожает подать на Гордона в суд: он так сильно стукнул книгой мальчика по голове, что тот оглох и его пришлось взять из школы. Родители Уолтерса жили в Теркенбери, и город был ужасно возмущен этим происшествием — о нем даже упомянула местная газета. Но мистер Уолтерс был всего-навсего пивоваром, поэтому кое-кто сочувствовал и учителю. Остальные ученики хоть и ненавидели классного наставника, но по причинам, известным только им самим, встали на его сторону: в отместку за то, что школьные дела были преданы гласности, они, как могли, отравляли существование младшему брату Уолтерса, который еще оставался в школе. Но мистер Гордон был на волосок от того, чтобы приобщиться к прелестям сельской жизни, и, испугавшись этого, никогда больше не бил учеников. Классные наставники лишились права бить мальчиков тростью по рукам, и Выскочка больше не мог отводить душу, колотя палкой по столу. Теперь он позволял себе только хватать мальчика за плечи и трясти его. Но он все еще наказывал шалунов и непокорных, заставляя их стоять с вытянутой рукой от десяти минут до получаса, и оставался все так же невоздержан на язык, как прежде.

Вряд ли можно вообразить менее подходящего преподавателя для такого робкого подростка, каким был Филип. Когда он поступал в среднюю школу, у него уже не было тех страхов, которые одолевали его, когда он впервые попал к мистеру Уотсону. Он знал многих ребят, учившихся вместе

с ним в подготовительных классах. Теперь он был куда взрослее и инстинктивно понимал, что в большой толпе учеников его физический недостаток не так будет бросаться в глаза. Но с первого же дня мистер Гордон вселил в его сердце ужас: учитель быстро распознавал тех, кто его боится, и, казалось, поэтому у него возникла особая неприязнь к Филипу. Прежде Филип любил заниматься, но теперь он со страхом ожидал часов, которые надо было проводить в классе. Боясь неверно ответить и навлечь на себя бурю оскорблений, он предпочитал тупо молчать; когда приходила его очередь разбирать предложение, он бледнел и его начинало мутить от страха. Он был счастлив только в те часы, когда класс вел мистер Перкинс. Ему легко было удовлетворить требования директора, которого больше всего занимало общее развитие учеников, — ведь Филип не по возрасту много читал; часто мистер Перкинс, не получая ответа на поставленный им вопрос, останавливался возле Филипа и обращался к нему с улыбкой, от которой тот чувствовал себя на седьмом небе:

— Ну-ка, Кэри, расскажи им.

Хорошие отметки, которые ставил мальчику директор, еще больше разжигали неприязнь мистера Гордона. Как-то раз подошла очередь Филипа переводить; учитель сидел, пожирая его глазами и яростно грызя большой палец. Он кипел от ярости. Филип заговорил едва слышным голосом.

— Не бубни себе под нос! — крикнул учитель.

Филипу показалось, что слова застревают у него в горле.

— Давай! Давай! Давай!

С каждым разом учитель выкрикивал это слово все громче. Из головы Филипа улетучилось все, что он знал, и мальчик тупо уставился в книгу. Мистер Гордон захрипел:

— Если ты ничего не знаешь, так и скажи! Знаешь ты или нет? Слышал ты в прошлый раз разбор или нет? Чего ты молчишь? Говори, болван, говори!

Учитель изо всех сил ухватился за ручки кресла, словно для того, чтобы не броситься на Филипа. Ученики знали, что в прежние времена он нередко хватал учеников за горло и душил, пока они не посинеют. На лбу у него вздулись жилы, лицо потемнело и стало страшным. Он был в бешенстве. Накануне Филип отлично знал весь отрывок, но теперь ничего не мог вспомнить.

— Я не знаю, — еле выговорил он.

— Как это ты не знаешь? Давай разберем каждое слово в отдельности. Тогда мы увидим, знаешь ты или нет.

Филип стоял бледный как смерть, весь дрожа, молча уставившись в книгу. Дыхание с хрипом вырывалось из груди учителя.

— А директор говорит, будто ты способный ученик. Не знаю, с чего он это взял. Вот вам его хваленое общее развитие! — Учитель дико захохотал. — Не понимаю, зачем тебя посадили в этот класс. Болван!

Ему нравилось это слово, и он прокричал:

— Болван! Болван! Колченогий болван!

Тут у него немного отлегло от сердца. Он заметил, что Филип густо покраснел. Он приказал ему принести «Черную книгу». Филип отложил своего Цезаря и молча вышел. «Черная книга» была зловещим фолиантом, куда заносились имена учеников и их прегрешения, и, если какое-нибудь имя попадало туда в третий раз, виновному грозила порка. Филип отправился к директору. Мистер Перкинс сидел за письменным столом.

— Пожалуйста, сэр, дайте мне «Черную книгу».

— Вон она, — ответил мистер Перкинс, кивнул головой в сторону. — Что ты там натворил?

— Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс бросил на него быстрый взгляд и, не добавив ни слова, продолжал работать. Филип взял книгу и пошел в класс. Через несколько минут после окончания урока он принес ее назад.

— Дай-ка мне взглянуть, — сказал директор. — Я вижу, мистер Гордон занес тебя в «Черную книгу» за «грубую дерзость». В чем дело?

— Не знаю, сэр. Мистер Гордон сказал, что я колченогий болван.

Мистер Перкинс поглядел на него снова. У него мелькнула мысль, не скрывается ли в словах мальчика насмешка, но тот был для этого слишком взволнован. Филип был бледен, в глазах его застыл отчаянный страх. Мистер Перкинс встал и положил на место «Черную книгу». Он взял пачку фотографий.

— Один из моих друзей прислал мне сегодня снимки Афин, — сказал он, словно ничего не случилось. — Посмотри, вот Акрополь.

Он принялся объяснять Филипу, что было на фотографиях. Он говорил, и Филипу казалось, что руины оживают

у него на глазах. Мистер Перкинс показал ему театр Диониса и объяснил, как сидели зрители: прямо перед ними растянулось синее Эгейское море. А потом директор вдруг сказал:

— Помню, когда я учился у него в классе, мистер Гордон называл меня «цыганским приказчиком».

И, прежде чем до поглощенного фотографиями Филипа дошел смысл его замечания, мистер Перкинс уже показывал вид Саламина и, водя по фотографии пальцем, ноготь которого был обведен черной каемкой, объяснял, где стояли греческие, а где — персидские корабли.

ГЛАВА 17

Следующие два года прошли для Филипа без всяких тревожлений. Его изводили не больше, чем других, а физический недостаток, мешавший ему участвовать в играх, позволял оставаться в тени, и это его вполне устраивало. Его недолюбливали, он чувствовал себя очень одиноким. В старшем третьем классе целых два триместра его наставником был Соня. Вялые манеры и полуприкрытые веки придавали ему такой вид, словно ему наскучило все на свете. Свои обязанности он выполнял, но делал это с величайшей рассеянностью. Это был добряк, человек мягкий и недалекий. Он безгранично верил в честность своих учеников; для того чтобы они были правдивыми, нужно было, по его мнению, не допускать даже мысли, будто они могут солгать. «Просите, и дано будет вам», — цитировал он. В старшем третьем классе жилось легко. Было точно известно, какие вам достанутся стихи для разбора, и по шпаргалке, передававшейся из рук в руки, можно было за две минуты приготовить любой ответ; когда задавали вопрос, можно было держать на коленях раскрытую латинскую грамматику; Соня не видел ничего странного в том, что одна и та же несуразная ошибка попадалась в добром десятке ученических упражнений. Он не слишком верил в экзамены, так как заметил, что его ученики никогда не достигали на экзаменах таких успехов, как на классных занятиях; это было досадно, но в общем ничего не доказывало. В положенный срок ученики переходили в следующий класс, не научившись ровно ничему, кроме беспардонного обращения с правдой, что, пожалуй, могло пригодиться им в

последующей жизни больше, чем умение бегло читать полатыни.

Потом они попадали в руки Дегтя. Его настоящее имя было Тернер; этот коротышка с огромным брюхом, черной, с проседью, бородой и смуглой кожей был самым жизнерадостным из всех старых учителей. В своем облачении Тернер действительно напоминал нечто вроде бочки с дегтем; и хотя из принципа он наказывал всякого, с чьих уст срывалась эта кличка, заставляя переписывать по пятьсот строк греческих или латинских стихов, частенько на учительских вечеринках сам подшучивал над своим прозвищем. Он был наиболее светским человеком из учителей; вращался не только среди духовенства и чаще других обедал в чужой компании. Ученики считали его своим парнем. На каникулах он снимал черное облачение священника, и его встречали в Швейцарии в коротких спортивных штанах в клетку. Он любил распить бутылку вина и вкусно пообедать; однажды его видели в кафе «Ройал» с какой-то дамой — возможно, это была его родственница, — но с тех пор целые поколения школьников не сомневались, что он страшный повеса, и сообщали подробности, которые свидетельствовали об их безграничной вере в испорченность человеческой натуры.

По заверению мистера Тернера, целый триместр уходил у него на то, чтобы подтянуть учеников после их пребывания в старшем третьем классе; время от времени он позволял себе ехидный намек, показывавший полную осведомленность во всем, что творится в классе его коллеги. К обязанностям своим он относился добродушно. Учеников он считал малолетними преступниками, которые говорят правду лишь тогда, когда нет сомнений, что ложь будет разоблачена; у них свои понятия о чести, не распространяющиеся на их отношения с учителями, и меньше всего хлопот они вам причиняют, если уверены, что им это невыгодно. Он гордился своим классом и в пятьдесят пять лет с такой же настойчивостью добивался, чтобы его ученики занимали первые места на экзаменах, как и в начале школьной карьеры. Подобно многим тучным людям, он не умел сердиться подолгу, был вспыльчив, но отходчив, и его ученики вскоре поняли, что, несмотря на всю его воркотню, у него доброе сердце. Тупиц он не терпел, но не жалел сил на шалуна, если подозревал, что тот обладает живым умом.

Он любил приглашать учеников к чаю, и они с неподдельным удовольствием принимали его приглашения, хоть и клялись, что, сидя с ним за столом, нельзя дорваться до сдобы и пирожных: существовало убеждение, что его тучность — результат прожорливости, а прожорливость — следствие глистов.

Филипу жилось теперь куда привольнее: в школе было туго с помещениями, и отдельные комнаты для занятий предоставлялись только ученикам старших классов. Спал он по-прежнему в большом зале, который служил одновременно столовой и помещением, где младшие ученики готовили уроки; правда, близкое соседство других учеников было ему не очень приятно. Временами ему надоедало вечно быть на людях и хотелось остаться одному. Тогда он отправлялся в дальнюю прогулку. Невдалеке среди зеленых полей бежала речка; по обе стороны ее росли подстриженные деревья; сам не понимая почему, Филип испытывал радость, бродя по ее берегам. Устав, он ложился ничком в траву и наблюдал за возней пескарей и головастиков. Странное удовольствие доставляли ему и прогулки в школьном парке. Летом на лужайке происходили спортивные игры, но в другие времена года там было тихо; лишь изредка встретишь гуляющих мальчиков да какого-нибудь прилежного ученика, который с отсутствующим взглядом на ходу заучивает что-нибудь наизусть. На больших вязах жили грачи; они оглашали воздух печальными криками. По одну сторону стоял собор со своей огромной башней, и Филип, который еще понятия не имел о красоте, испытывал, глядя на него, безотчетный восторг. Когда ему и еще троим ученикам отвели комнату для занятий (это была крошечная квадратная комнатка, откуда были видны городские трущобы), он купил фотографию собора и прибил ее над своим столом. С новым интересом стал он глядеть на вид, открывавшийся из окна четвертого класса: на тщательно подстриженный газон и высокие деревья с пышными густыми кронами. Пейзаж пробуждал у него в сердце незнакомое чувство — он сам не знал, была ли то печаль или радость. Это рождалось в нем чувство прекрасного. Происходили с Филипом и другие перемены. Голос его ломался, стал непослушным, и порой из его горла вырывались какие-то странные звуки.

Он стал готовиться к конфирмации; занятия происходили в кабинете директора сразу же после чая. Набожность

Филипа не выдержала испытания временем, и он уже давно перестал читать по вечерам Библию; но теперь под влиянием мистера Перкинса и какого-то нового беспокойства в крови старые чувства вернулись вновь, и он горько упрекал себя в отступничестве. Перед его мысленным взором пылала геенна огненная. Ведь если бы смерть настигла его в те дни, когда он был ничем не лучше язычника, его душу ожидала бы неминуемая гибель; он непреложно верил в вечные муки, верил в них куда больше, чем в вечное блаженство; содрогаясь, он думал об опасностях, которым он себя подвергал.

С того дня, когда мистер Перкинс так ласково заговорил с ним и заставил забыть о нанесенной ему жгучей обиде, Филип стал питать к директору собачью преданность. Он постоянно ломал себе голову, как бы ему угодить. Он дорожил малейшим знаком одобрения, который тот ненароком выказывал. И, когда он стал посещать малолюдные собрания в директорском доме, он был готов душу отдать своему кумиру. Взор его был прикован к горящим глазам мистера Перкинса, рот полуоткрыт, шея вытянута — он старался не упустить ни единого слова. Будничность обстановки придавала беседе еще большую значительность. Нередко наставник, сам охваченный молитвенным восторгом, отстранял лежавшую перед ним книгу и, прижав руку к сердцу, словно для того, чтобы умерить его биение, говорил о тайнах религии. Филип не всегда его понимал, но он и не старался понять — ему почему-то казалось, что тут довольно одного чувства. Ему чудилось, что директор с его черной лохматой головой и бледным лицом похож на одного из пророков Израиля, которые не боялись бросать вызов царям; а когда он думал о Христе, тот представлялся ему таким же темноглазым, с таким же изможденным лицом.

Мистер Перкинс относился к этой своей обязанности с величайшим рвением. Тут он не допускал метких остроумий, побуждавших других учителей подозревать его в легкомыслии. Несмотря на свою занятость, он для всего находил время и успевал побеседовать с каждым из учеников, готовившихся к конфирмации, хотя бы по пятнадцать — двадцать минут.

Ему хотелось заставить их почувствовать, что они совершают первый важный, сознательный шаг в своей жизни; он пытался проникнуть в их души, мечтал внушить им свою

собственную пламенную веру. Несмотря на робость Филиппа, он чувствовал, что в нем может загореться такая же страстная вера, как у него. Ему казалось, что в мальчике сильно религиозное чувство. Как-то раз он неожиданно отвлекся от предмета их беседы.

— А ты задумывался над тем, кем ты будешь, когда вырастешь? — спросил он.

— Дядя хочет, чтобы я стал священником, — сказал Филип.

— А ты сам?

Филипп отвел глаза. Ему стыдно было в этом сознаться, но он считал себя недостойным.

— Никакая другая жизнь не принесет тебе столько радости, — продолжал директор. — Хотел бы я, чтобы ты это понял. Богу может служить всякий, но мы, духовенство, ближе к нему, чем другие. Я не хочу тебя понуждать, но, если ты примешь такое решение — вот тут, сию же минуту, — ты сразу же испытаешь блаженство, и это чувство уже никогда тебя не покинет.

Филипп ничего не ответил, но директор прочел в глазах мальчика, что слова его упали на благодатную почву.

— Если ты будешь прилежно работать и дальше, ты скоро станешь лучшим нашим учеником и можешь рассчитывать на стипендию по окончании школы. У тебя есть собственные средства?

— Дядя говорит, что, когда мне исполнится двадцать один год, у меня будет ежегодно сто фунтов.

— Да, ты богат. У меня не было ни гроша.

Директор помедлил; он машинально чертил карандашом на лежавшей перед ним промокательной бумаге; потом он продолжал:

— Боюсь, что у тебя не будет большого выбора. Тебе ведь не годится профессия, требующая физического напряжения.

Как и всегда, когда заходила речь о его хромоте, Филип покраснел до корней волос. Мистер Перкинс глядел на него в раздумье.

— А ты не слишком ли чувствителен к своему несчастью? Тебе ни разу не приходило в голову поблагодарить за него Бога?

Филипп быстро взглянул на него. Губы его сжались. Он вспомнил, как месяцами, веря тому, что ему говорили,

молил Бога об исцелении, — ведь исцелил же он прокаженного и сделал слепого зрячим.

— Пока дух твой мятежен, ты будешь испытывать лишь чувство стыда. Но если ты поймешь, что отмечен Господом, что крест твой возложен на тебя только потому, что у тебя сильные плечи, тогда твое увечье станет для тебя источником не горести, а утешения.

Он увидел, что этот разговор тяготит мальчика, и отпустил его.

Но Филип долго думал о том, что сказал ему директор; мысль о предстоящей церемонии наполняла его мистическим восторгом. Дух его, казалось, освободился от плотских уз, и он вступает в новую жизнь. Он стремился к совершенству со всей страстностью своей души. Ему хотелось целиком посвятить себя служению Богу, и он твердо решил принять духовный сан. Когда великий день настал, Филип едва владел собой от страха и радости: он был взволнован до глубины души всеми приготовлениями, книгами, которые прочел, и, главное, тем, что так пылко внушал ему директор. Мучила его только одна мысль. Он знал, что ему на глазах у всех придется пройти через алтарь, и не только вся школа, собранная на богослужение, но и посторонние — прихожане и родители тех мальчиков, которые вместе с ним впервые шли к причастию, — увидят, что он хромым. Но когда наступила решающая минута, Филип вдруг почувствовал, что с радостью примет любое унижение; ковыляя по проходу, такой маленький и ничтожный под этими величественными сводами, он в мыслях приносил свое уродство на алтарь Всевышнего, который его возлюбил.

ГЛАВА 18

Однако Филип не мог долго жить в разреженном воздухе горных вершин. То, что случилось с ним, когда он впервые был охвачен религиозным экстазом, повторилось снова. Именно потому, что он так остро ощущал всю красоту христианства, а в сердце у него горела ослепительным алмазом жажда самопожертвования, силы его не выдержали такого духовного подъема. Неистовая страсть изнурила и опустошила его душу. Он стал забывать, что находится в присутствии Бога, недавно всесильного и вездесущего, и религиозные обряды, которые он все еще аккуратно

выполнял, стали пустой формальностью. Сперва он упрекал себя за это новое отступничество, и страх перед геенной огненной доводил его до исступления, но пламенная вера умерла, и постепенно им завладели совсем другие интересы.

Друзей у Филипа было мало. Привычка к чтению отдаляла его от людей; одиночество стало для него такой потребностью, что, побыв некоторое время в обществе других ребят, он чувствовал усталость и скуку. Он гордился знаниями, почерпнутыми из множества книг, мысль его не дремала, и он не умел скрывать презрения к глупости своих товарищей. А те обвиняли его в зазнайстве; поскольку его превосходство проявлялось только в таких областях, которые казались им никому не нужными, они ядовито спрашивали, чего это он задирает нос. У Филипа проснулось чувство юмора, и он обнаружил, что умеет сказать колкость, задеть за живое собеседника; он говорил колкости, поскольку его это забавляло, не задумываясь о том, как больно они ранят, и очень обижался, когда видел, что его жертвы платят ему активной неприязнью. Унижения, которым он подвергался, когда пришел в школу, научили его чуждаться своих одноклассников; от этого он уже никогда не мог отвыкнуть и так и остался застенчивым и молчаливым. Но, хотя он и делал все, чтобы оттолкнуть от себя товарищей, он всей душой хотел привлечь к себе их сердца, мечтал о популярности, которая другим дается легко. Такими счастливыми Филипп втихомолку восхищался, и, хотя охотно над ними подшучивал и отпускал в их адрес язвительные замечания, он отдал бы все на свете, чтобы быть на их месте. Впрочем, он с радостью поменялся бы местами с самым тупым учеником в школе, лишь бы у него были здоровые ноги. У Филипа возникла странная привычка. Он представлял себя одним из тех мальчиков, которые ему особенно нравились; он как бы переселял свою душу в чужое тело, говорил чужим голосом и смеялся чужим смехом; воображал, что делает все то, что в действительности делал другой. Фантазия его работала так живо, что на какой-то миг он и в самом деле переставал быть самим собой. Таким способом он отвоевывал себе минуту воображаемого счастья.

В начале Рождественского триместра, сразу же после конфирмации, Филипа перевели в другую комнату для занятий. Одного из мальчиков, сидевших с ним рядом, звали

Роз. Он учился в одном классе с Филипом, и тот всегда смотрел на него с завистливым восхищением. Никто не назвал бы его красивым: ширококостный и большерукий, он был неуклюж и обещал стать очень высоким, у него были прелестные глаза, и, когда он смеялся (а смеялся он беспрестанно), вокруг них появлялись забавные морщинки. Он не был ни умен и ни глуп, но занимался неплохо, особенно охотно — спортом. Любимец учителей и учеников, он в свою очередь относился одинаково хорошо ко всем.

Перейдя в новую комнату, Филип поневоле заметил, что другие ученики, занимавшиеся тут почти уже год, встретили его с прохладцей. Он нервничал, чувствуя себя нежеланным гостем, но уже научился скрывать свои чувства, и мальчики сочли его тихоней и бирюком. С Розом Филип был особенно скрытен и немногословен — он, как и другие, не мог не поддаться его обаянию. То ли потому, что Роз, сам того не сознавая, любил привлекать к себе людей, то ли просто по доброте сердечной, но он втянул Филипа в свою компанию. Как-то раз он неожиданно предложил Филипу пройти с ним на футбольное поле. Филип вспыхнул.

— Я не могу так быстро ходить, как ты, — сказал он.

— Ерунда. Пошли.

Когда они собрались идти, какой-то мальчик просунул в комнату голову и позвал Роза погулять.

— Не могу, — ответил тот. — Я уже обещал Кэри.

— Не обращай на меня внимания, — поспешно сказал Филип. — Иди, я не возражаю.

— Ерунда, — сказал Роз.

Он посмотрел на Филипа своим добродушным взглядом и рассмеялся. Филип почувствовал, как у него дрогнуло сердце.

Дружба их росла с той быстротой, с какой она растет только у мальчишек, и скоро они стали неразлучны. Их товарищи удивлялись этой внезапной близости и спрашивали Роза, что он нашел в Филипе.

— Сам не знаю, — отвечал тот. — Да он вовсе уж не такой противный.

Вскоре все привыкли к тому, что они входят в часовню под руку или, болтая, бродят по парку; там, где был один из них, всегда можно было найти и другого; словно признав его право собственности, ребята, искавшие Роза,

обращались к Кэри. Сперва Филип вел себя сдержанно. Он не позволял себе целиком отдаться переполнявшему его чувству восторженной гордости, но постепенно недоверие к судьбе уступило место необузданной радости. Он считал, что Роз — самый замечательный парень на свете. Теперь он уже ни во что не ставил свои книги: можно ли было корпеть над ними, когда его занимало нечто куда более важное! Приятели Роза заходили к ним на чашку чаю или просто посидеть от нечего делать — Роз любил общество и любил подурачиться, — и все сошлись на том, что с Филипом можно ладить. Филип был счастлив.

Перед разездом на каникулы в конце триместра они с Розом условились, какими поездами вернуться в Теркенбери, чтобы встретиться на вокзале и выпить в городе чашку чаю, прежде чем отправиться в школу. Филип ехал домой с тяжелым сердцем. Мысль о Розе ни на минуту не оставляла его во время каникул, и он не переставал придумывать, что они будут делать в следующем триместре. Дома он скучал; в последний день дядя задал ему привычным шутливым тоном привычный вопрос:

— Ну, ты рад, что возвращаешься в школу?

И Филип весело ответил:

— Еще как!

Чтобы не разминуться с Розом на вокзале, он выехал раньше, чем обычно, и целый час ждал его на платформе. Когда пришел поезд из Февершема, где, как он знал, у Роза была пересадка, он со всех ног бросился его встречать. Но Роза не было. Филип узнал у носильщика, когда приходит следующий поезд, и снова стал ждать, но его опять постигло разочарование; продрогнув и проголодавшись, он поплелся в школу кратчайшим путем — переулками, мимо городских трущоб. Он нашел Роза в комнате для занятий: ноги его были задраны на каминную полку, и он весело болтал с десятком приятелей, рассеявшихся как попало. Роз шумно поздоровался с Филипом, но у того вытянулось лицо: ему стало ясно, что Роз совсем забыл об условленной встрече.

— Послушай, отчего ты так поздно? — спросил Роз. — Я уже боялся, что ты никогда не приедешь.

— Ведь ты же был на станции в половине пятого, — сказал Филипу один из мальчиков. — Я тебя видел, когда приехал.

Филип слегка покраснел. Ему не хотелось, чтобы Роз узнал, какого он сваял дурака, дожидаясь его на вокзале.

— Мне надо было подождать одну нашу знакомую, — тут же выдумал он. — Меня попросили ее проводить.

Но он немножко надулся, сидел молча и односложно отвечал, когда к нему обращались. В душе он решил объясниться с Розом, как только они останутся одни. Но, когда гости разошлись, Роз сразу же подошел к нему и присел на ручку его кресла.

— Послушай, вот здорово, что мы и в этом триместре будем заниматься в одной комнате, — сказал Роз. — Правда, хорошо?

Казалось, он неподдельно рад их встрече, и досада Филипа улетучилась. Они принялись горячо обсуждать тысячу занимавших их предметов, словно расстались пять минут назад.

ГЛАВА 19

Поначалу Филип был слишком благодарен Розу за его дружбу, чтобы предъявлять к нему какие-нибудь требования. Он был всем доволен и радовался жизни. Но вскоре его начали возмущать приятельские отношения Роза со всеми без разбору: он не хотел делить его дружбу ни с кем и стал считать своим законным правом то, что раньше принимал как дар. Он ревниво следил за Розом и его приятелями и, хотя понимал, как это глупо, делал ему порой язвительные замечания. Если Роз, дурачась, проводил часок в другой комнате, Филип встречал его с надутым видом и дулся весь день, еще пуще страдая оттого, что Роз либо не замечал его дурного настроения, либо намеренно не обращал на это внимания. Нередко Филип, сознавая собственную глупость, нарочно затевал ссору, и они не разговаривали друг с другом целыми днями. Но Филип не мог долго сердиться на друга и, даже будучи уверен, что прав, смиренно просил у него прощения. После этого они опять на неделю становились такими друзьями, что водой не разольешь. Но безоблачное счастье было уже позади, и Филип видел, что Роз часто гуляет с ним лишь по старой привычке или не желая его сердить; у них уже не находилось так много тем для разговоров, как прежде, и Роз все чаще скучал. Филип чувствовал, что друга стала раздражать его хромота.

К концу триместра несколько мальчиков заболело скарлатиной, поднялись разговоры о том, чтобы распустить школу во избежание эпидемии, но больных изолировали, а новых случаев не было; решили, что вспышку удалось погасить. Одним из тех, кто заболел, был Филипп. Пасхальные каникулы он провел в больнице, а в начале лета его отправили домой подышать свежим воздухом. Несмотря на заверения врачей, что мальчик больше не заразен, священник встретил его недоверчиво: он считал, что доктор поступил весьма неделикатно, послав племянника поправляться к родным, и впустил его в дом только потому, что мальчику некуда было деваться.

Филипп вернулся в школу в середине триместра. Он позабыл о ссорах с Розом и помнил только, что это его закадычный друг. Он знал, что вел себя глупо, и впредь решил быть умнее. Пока он болел, Роз присылал ему записочки, которые неизменно заканчивались словами: «Возвращайся скорее». Филипп думал, что Роз ждет его возвращения с таким же нетерпением, с каким сам он ждал встречи с Розом.

Выяснилось, что смерть от скарлатины одного из шестиклассников вызвала перемещения из одной комнаты для занятий в другую, и Филипп уже не попал в одну комнату с Розом. Для него это было жестоким разочарованием. Все же тотчас по приезде Филипп ураганом ворвался к своему другу. Тот сидел за столом — он готовил уроки с мальчиком по фамилии Хантер — и сердито огрызнулся на вошедшего:

— Кого там черт несет? — Увидев Филиппа, он сказал: — А, это ты...

Филипп остановился в смущении.

— Я хотел узнать, как ты поживаешь.

— Мы сейчас занимаемся.

В разговор вмешался Хантер:

— Когда ты вернулся?

— Пять минут назад.

Они сидели и глядели на него, всем своим видом показывая, что он им мешает. И с явным нетерпением ждали его ухода. Кровь бросилась в лицо Филиппу.

— Я пойду, — сказал он Розу. — Загляни ко мне, когда освободишься.

— Ладно.

Филипп закрыл за собой дверь и заковылял в свою комнату. Он был страшно обижен. Роз ни капли не обрадовался

встрече с ним — напротив, он как будто даже был раздосадован. Можно подумать, что их связывает только то, что они одноклассники. Филип стал ждать в своей комнате, не выходя оттуда ни на минуту, но его друг так и не появился; на следующее утро, когда Филип шел на молитву, он встретил Роза и Хантера — они бежали, держась за руки. То, чего он не увидел своими глазами, ему рассказали другие. Он не подумал о том, что три месяца — немалый срок в жизни школьника и если сам он провел их в одиночестве, то Роз жил среди других ребят. Хантер занял его место. Филип заметил, что Роз молча его избегает. Но Филип был не из тех, кто мирится со своим положением молча: ему надо было объясниться; выбрав минуту, когда Роз был один, он зашел к нему.

— Можно к тебе? — спросил он.

Роз растерялся, и это настроило его против Филипа.

— Заходи, если хочешь, — ответил он.

— Очень любезно с твоей стороны, — насмешливо заметил Филип.

— Чего тебе надо?

— Почему ты себя так подло ведешь?

— Не будь идиотом, — сказал Роз.

— Удивляюсь, что ты нашел в Хантере?

— Это уж мое дело.

Филип опустил глаза. Он не мог заставить себя сказать то, что было у него на сердце. Он боялся унижения. Роз встал со стула.

— Мне пора в спортивный зал, — сказал он.

Когда Роз подошел к двери, Филип все-таки заставил себя сказать.

— Послушай, Роз, не будь такой скотиной.

— А пошел ты к черту!

Роз хлопнул дверью, и Филип остался один. Он дрожал от бешенства. Вернувшись в свою комнату, он стал перебирать в памяти каждое слово их разговора. Теперь он ненавидел Роза, мечтал отомстить ему побольнее: Филипу приходили в голову язвительные слова, которые он мог бы бросить ему в лицо. Угрюмо размышляя о крушении их дружбы, он воображал, что другие только об этом и говорят. Со своей обостренной чувствительностью он читал насмешку и любопытство в глазах сверстников, хотя тем и дела до него не было. Ему казалось, что он слышит, как они

перешептываются: «В конце концов, чего ж тут удивляться? Странно, как он только терпел этого Кэри. Такое ничтожество!»

Желая показать свое безразличие, он завязал горячую дружбу с неким Шарпом, которого он видеть не мог. Это был мальчишка из Лондона, неотесанный и неуклюжий, с пробивающимися усиками и сросшимися на переносице бровями. У него были мягкие руки и чересчур учтивые для его лет манеры. В речи его слышался уличный жаргон. Он был слишком ленив, чтобы заниматься спортом, и проявлял недюжинную изобретательность, выдумывая, как бы увильнуть от тех спортивных занятий, которые считались обязательными. Как ученики, так и учителя относились к нему с какой-то неприязнью, но Филип теперь из упрямства искал его общества. Через полгода Шарп собирался уехать на год в Германию. Он ненавидел школу и считал пребывание в ней злом, которое приходилось терпеть, пока он не вырастет и не начнет настоящую жизнь. Целью его вожеланий был Лондон, и он рассказывал немало историй о своих похождениях во время каникул. В том, что он говорил — вкрадчивым, низким голосом, — слышался неясный гул ночных улиц Лондона. Филип слушал его с увлечением, но и с гадливостью. Его живое воображение рисовало ему толпу у театральных подъездов, яркие огни дешевых ресторанов, ночные бары, где полупьяные мужчины, сидя на высоких табуретах, болтают с официантками, темный лондонский поток, таинственно катящийся под уличными фонарями в погоне за развлечениями. Шарп снабжал Филипа бульварными романами, которыми тот с дрожью зачитывался в своей спальне.

Однажды Роз сделал попытку к примирению. Его добродушной натуре претила всякая вражда.

— Послушай, Кэри, — сказал он, — не будь же идиотом. Почему ты со мной не здороваешься?

— Чего ты от меня хочешь? — спросил Филип.

— Не понимаю, почему ты не желаешь со мной разговаривать?

— Ты мне просто надоел, — сказал Филип.

— Ну и пожалуйста!

Роз передернул плечами и отошел. Как и всегда в минуты волнения, Филип смертельно побледнел, и сердце его бешено заколотилось. Когда Роз ушел, он почувствовал себя

глубоко несчастным. Филип и сам не знал, зачем он так ответил. Ведь за дружбу с Розом он отдал бы все на свете. Ему было так тяжело, что они поссорились, и теперь, причинив другу боль, Филип страшно об этом жалел. Но в ту минуту он не владел собой. Казалось, его толкал какой-то демон, понуждавший его против воли говорить колкости, хотя в душе ему хотелось пожать Розу руку и сделать все, чтобы с ним помириться. Но желание причинить боль было слишком велико. Ему так хотелось отомстить за перенесенные страдания и унижения! Победила гордыня, а может, и безрассудство: ведь он знал, что для Роза все это глубоко безразлично, а себя самого он обрек на жестокие мучения. У него мелькнула мысль пойти к Розу и сказать: «Послушай, мне жаль, что я держал себя как скотина. Я ничего не мог с собой поделать. Давай помиримся».

Но он знал, что никогда не сможет на это решиться. Он боялся, что Роз станет над ним издеваться. Филип злился на самого себя, и, когда немного погодя к нему пришел Шарп, он воспользовался первым попавшимся поводом, чтобы с ним поссориться. Филип обладал дьявольской способностью найти у ближнего больное место и сказать ему то, что заденет его за живое. Но последнее слово осталось за Шарпом.

— Я слышал, как Роз только что говорил о тебе с Меллором, — сказал он. — Меллор его спросил: «Почему же ты не двинул его как следует? Он бы живо научился, как себя вести». А Роз ответил: «Не хотелось. Ну его, калеку проклятого».

Филип побагровел. Он ничего не смог ответить: что-то подступило к его горлу, и он чуть не задохнулся.

ГЛАВА 20

Филип перешел в шестой класс, но теперь он ненавидел школу всей душой; его больше не подгоняло честолюбие, и ему стало все равно, хорошо или плохо он учится. По утрам он просыпался с тяжелым сердцем; впереди был еще один безрадостный день. Ему надоело делать все по указке; запреты раздражали его не потому, что были неразумны, а потому, что это были запреты. Он жаждал свободы. Он устал от бесконечных повторений того, что уже знал, ему надоело долбить из-за непонятливости какого-нибудь тупицы то, что сам он понимал с полуслова.

У мистера Перкинса можно было и заниматься и нет — как угодно. Он был в одно и то же время усердным педагогом и человеком рассеянным. Шестой класс помещался в реставрированной части старого аббатства, там было большое готическое окно; пытаясь скоротать время, Филип рисовал его снова и снова; иногда он набрасывал по памяти высокую башню собора или ворота парка. У него обнаружили способности к рисованию. В молодости тетушка Луиза писала акварелью; у нее сохранилось несколько альбомов с эскизами церквей, старинных мостов и живописных коттеджей. Их часто показывали гостям, приглашенным к священнику на чашку чаю. Однажды на Рождество тетушка Луиза подарила Филипу ящик с красками, и он стал копировать ее акварели. У него это получалось лучше, чем можно было ожидать, и постепенно он стал делать собственные наброски. Миссис Кэри его поощряла. Это был верный способ отвлечь его от шалостей, а к тому же его рисунки могли пригодиться для благотворительных базаров. Две или три его акварели вставили в рамки и повесили в спальне.

Как-то раз по окончании утренних уроков мистер Перкинс остановил Филипа, когда тот выходил из класса.

— Я хочу поговорить с тобой, Кэри.

Филип ждал. Мистер Перкинс молча теребил бороду тонкими пальцами и глядел на него. Казалось, он обдумывал, что сказать.

— Что с тобой, Кэри? — неожиданно спросил он.

Филип, вспыхнув, кинул на него взгляд. Но теперь он знал его хорошо и поэтому молчал, ожидая, что будет дальше.

— Последнее время я тобою недоволен. Ты стал ленив и невнимателен. И как будто потерял всякий интерес к занятиям. Учишься ты из рук вон плохо.

— Извините, сэр, — сказал Филип.

— И больше ты ничего не скажешь в свое оправдание?

Филип угрюмо потупил глаза. Как объяснить, что все ему до смерти надоело?

— Знаешь, в этом триместре дела твои пошли хуже. Я не смогу выставить тебе в табель хороших отметок.

Филип подумал: если бы директор знал, как отнесутся дома к его табелю! Почта обычно доставляла табель к завтраку, мистер Кэри бросал на него безразличный взгляд и передавал Филипу.

— Вот твой табель. Почитай-ка, что там написано, — говорил он, перелистывая каталог букиниста.

Филип принимался читать.

— Ну как, табель у тебя хороший? — спрашивала тетушка Луиза.

— Не такой хороший, какого я заслуживаю, — с улыбкой отвечал Филип.

— Посмотрю потом, вот возьму только очки, — говорила тетушка.

Но после завтрака появлялась Мэри-Энн; она сообщала, что пришел мясник, и тетушка забывала о табеле...

А мистер Перкинс продолжал:

— Ты меня огорчаешь. И я ничего не понимаю. Я ведь знаю, на что ты способен, если захочешь, но ты, кажется, ничего больше не хочешь. Я думал назначить тебя в следующий триместр старостой, но, пожалуй, придется воздержаться.

Филип вспыхнул. Мысль, что его обойдут, была ему неприятна. Он сжал губы.

— И вот еще что. Пора тебе подумать о стипендии. Ты ничего не получишь, если не начнешь заниматься всерьез.

Нотация разозлила Филипа. Он сердился на директора и на самого себя.

— Да я и не собираюсь в Оксфорд, — сказал он.

— Почему? Мне казалось, что ты решил принять сан.

— Я передумал.

— Почему?

Филип не отвечал. Мистер Перкинс стоял в своей всегдашней чуть-чуть нелепой позе, словно фигура с картины Перуждино, задумчиво расчесывая пальцами бороду. Он вглядывался в Филипа, будто стараясь его понять, а потом внезапно отпустил.

Но директора явно не удовлетворил этот разговор; как-то вечером неделю спустя, когда Филип зашел к нему в кабинет с какими-то бумагами, он его возобновил. Но теперь он принял другой тон: он беседовал с Филипом не как с учеником, а как с равным. Казалось, ему безразлично, что Филип плохо учится и что у него мало шансов превзойти своих прилежных соперников и добиться стипендии для поступления в Оксфорд: куда важнее, что он изменил свои жизненные планы. Мистер Перкинс поставил себе задачей

снова пробудить в нем желание принять сан. С великим искусством он постарался разбередить его душу; ему это было нетрудно, потому что он и сам был по-настоящему взволнован. Его глубоко огорчало, что Филип изменил свое решение, он и в самом деле полагал, что тот неизвестно ради чего отказывается от своего счастья. Голос его звучал очень убедительно. Филип быстро заражался чужим волнением: несмотря на внешнее спокойствие, он был легко возбудим; лицо отчасти от природы, а отчасти в силу выработанной в школе привычки редко выдавало его чувства, разве только краснело, но слова учителя не на шутку его растрогали. Он был благодарен мистеру Перкинсу за интерес к его судьбе и каялся, что доставил ему огорчение. Ему льстило, что мистер Перкинс заботится о нем: директору ведь приходится думать о целой школе. В то же время что-то внутри его — словно какой-то другой человек, стоявший с ним рядом, — отчаянно твердило: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Он чувствовал, что сдается, и уже не мог совладать с нараставшей слабостью — она поднималась, как вода в пустой бутылке, которую держат над полной миской. Сжав зубы, он в душе повторял снова и снова: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Наконец мистер Перкинс положил ему руку на плечо.

— Я не желаю тебя принуждать, — сказал он. — Ты должен решать сам. Молись, чтобы Господь Всемогуший помог и наставил тебя.

Когда Филип вышел из директорского дома, моросил дождь. Под аркадой, которая вела на школьный двор, не было ни души, молчали даже грачи на старых вязах. Филип медленно обошел двор. Он разгорячился, и дождь приятно освежал ему лицо. Обдумав все, что сказал мистер Перкинс — теперь, когда он не чувствовал над собой власти этой страстной натуры, он мог размышлять спокойно, — Филип радовался, что не уступил.

В темноте он едва различал огромную махину собора; он возненавидел его за томительно долгие богослужения, на которых его заставляли присутствовать. Хорал длился бесконечно, и, пока его пели, приходилось стоять до изнеможения; во время монотонной проповеди, слов которой все равно нельзя было разобрать, ноги затекали до судорог — полагалось сидеть не шевелясь, когда так хотелось двигаться. Филип вспомнил два воскресных богослужения в

Блэкстебле. Церковь была холодная и голая, от прихожан пахло помадой и крахмальным бельем. Утреннюю проповедь произносил дядя, вечернюю — его помощник. С годами Филип все лучше узнавал дядю; в голове прямого и нетерпимого мальчика не укладывалось, как можно искренне проповедовать людям одно, а самому поступать совсем по-другому. Обман его возмущал. Дядя был слабовольный эгоист; главная его цель в жизни — избежать какого бы то ни было беспокойства.

Мистер Перкинс говорил о том, как прекрасна жизнь, посвященная служению Всевышнему. Филип знал жизнь духовенства в том уголке Восточной Англии, где он рос. Взять, например, священника из Уайтстона (этот приход лежал неподалеку от Блэкстебля): он был холостяком. Местная газета постоянно сообщала о его тяжбах — то он судился с батраками, которым не хотел платить, то с торговцами, которых обвинял в мошенничестве; о его скупости ходили скандальные слухи — говорили, что он морит голодом собственных коров; собирались принимать против него какие-то меры. Или взять священника из Ферна — представительного мужчину с окладистой бородой: от него ушла жена, обвинив его в жестокости, она взбудоражила всю округу рассказами о его пороках. Священника из Сарля — маленького местечка у самого моря — можно было каждый вечер застать в трактире в двух шагах от дома; церковные старосты обратились к мистеру Кэри за советом, как с ним быть. Ни у одного из этих служителей Господних не было никого, с кем бы можно было перемолвиться словом, кроме местных крестьян и рыбаков; в долгие зимние вечера, когда дул ветер, тоскливо завывая в голых ветвях деревьев, их окружало лишь пустынное однообразие вспаханных полей; уделом их были бедность и бессмысленный труд; любой изъян характера развивался без всякой помехи, и в конце концов они становились провинциальными чудачками. Филип знал все это, но со свойственной молодым нетерпимостью не находил оправдания для этих людей. Он содрогался при одной мысли о подобном существовании. Ему хотелось вырваться в несбытчный мир.

ГЛАВА 21

Мистер Перкинс вскоре убедился, что слова его не подействовали, и до поры до времени махнул на Филипа

рукой. Он дал ему в табеле уничтожающий отзыв. Когда табель пришел по почте и тетя Луиза спросила, хорошие ли в нем отметки, Филипп весело ответил:

— Хуже некуда.

— Вот как? — откликнулся священник. — Надо бы взглянуть, что там написано.

— Стоит ли мне дальше оставаться в Теркенбери? Лучше, пожалуй, я съезжу в Германию.

— Что это тебе пришло в голову? — спросила тетя Луиза.

— А разве это не отличная мысль?

Шарп уже бросил Королевскую школу и писал Филиппу из Ганновера. Он зажил настоящей жизнью, и мысль об этом вносила еще больше смятения в душу Филиппа. Он чувствовал, что не вынесет еще одного года взаперти.

— Но тогда ты не получишь стипендии.

— У меня все равно нет никаких шансов. Да мне и не особенно хочется поступать в Оксфорд.

— А как же ты станешь священником? — с огорчением воскликнула тетя Луиза.

— Я уже давно отказался от этой мысли.

Миссис Кэри испуганно на него взглянула, а потом, привычно взяв себя в руки, налила мужу еще чашку чаю. Наступила тишина. Минуту спустя Филипп увидел, как по ее щекам медленно покатились слезы. Сердце его сжалось при мысли, что он причинил ей боль. В узком черном платье, сшитом местной портнихой, с морщинистым личиком и усталыми выцветшими глазами, с седыми волосами, завитыми в легкомысленные кудряшки по моде ее молодости, она казалась немножко курьезной, но такой трогательной. Филипп заметил это впервые.

Позже, когда священник со своим помощником удалился в кабинет, Филипп обнял ее за талию.

— Мне очень жалко, что я тебя огорчил, — сказал он ей. — Но зачем мне быть священником, если у меня к этому нет настоящего призвания?

— Я ужасно огорчена, Филипп, — простонала она. — Я ведь так об этом мечтала. Надеюсь, что ты будешь помощником дяди, а потом, когда придет наш час — в конце концов не можем ведь мы жить вечно! — ты бы занял его место.

Филипп задрожал при одной мысли об этом. Его охватил ужас. Сердце у него забилося, как птица, попавшая в силос. Тетя тихо плакала, положив к нему на плечо голову.

— Уговори дядю Уильяма позволить мне уйти из Теркенбери! Если бы ты знала, как мне там опротивело!

Но священник из Блэкстебла не так-то легко менял свои планы; давно предполагалось, что Филип пробудет в Королевской школе до восемнадцати лет, а потом поступит в Оксфорд. Во всяком случае, дядя и слышать не хотел, чтобы Филип бросил школу немедленно, — ведь они не предупредили об этом директора заранее и, следовательно, все равно придется платить за будущий триместр.

— Значит, ты сообщишь, что я уйду на Рождество? — спросил Филип к концу длинного и крайне неприятного разговора.

— Я напишу мистеру Перкинсу и посмотрю, что он ответит.

— Ах, хоть бы мне скорей исполнился двадцать один год! Ужасно, когда ты во всем от кого-то зависишь.

— Филип, нельзя так говорить с дядей, — мягко упрекнула его миссис Кэри.

— Но как же ты не понимаешь — ведь Перкинс захочет, чтобы я остался. Каждый ученик — это для них лишние деньги.

— Почему ты не хочешь поступать в Оксфорд?

— Зачем мне это надо, если я не собираюсь посвящать свою жизнь религии?

— Ты уже посвятил себя ей, — возразил священник.

— Речь идет о том, что я не желаю становиться священником, — нетерпеливо ответил Филип.

— А кем ты хочешь стать? — спросила миссис Кэри.

— Не знаю. Я еще не решил. Но кем бы я ни был, мне пригодятся иностранные языки. Провести год в Германии для меня куда полезнее, чем торчать в этой дыре.

Он не договорил, что, по его мнению, учение в Оксфорде было бы немногим лучше его школьной жизни. Ему так хотелось стать самостоятельным. И потом, в Оксфорде он непременно встретит кого-нибудь из школьных товарищей, а ему не терпелось расстаться с ними навсегда. Он чувствовал, что его школьная жизнь не удалась, и мечтал начать все заново.

Его желание поехать в Германию случайно совпало с кое-какими новыми веяниями, проникшими даже в Блэкстебл. К доктору иногда приезжали друзья, а с ними приходили и вести из внешнего мира, да и дачники, проводившие

август на море, порой высказывали свои собственные взгляды на жизнь. Священник прослышал, что некоторые люди больше не считают старомодную систему образования такой уж полезной, а новые языки приобретают значение, какого не имели в дни его молодости. Сам он не знал, что и думать; одного из его братьев отправили в Германию, когда он провалился на каких-то экзаменах, и тем самым, казалось, в семье уже был создан прецедент, но, поскольку брат его умер там от брюшного тифа, этот опыт явно следовало считать опасным. В результате бесконечных обсуждений было решено, что Филипп вернется в школу еще на один триместр, а потом оттуда уйдет. Филипп был доволен таким решением. Но уже через несколько дней после возвращения в школу директор ему сказал:

— Я получил письмо от твоего дяди. Оказывается, ты хочешь ехать в Германию, и он спрашивает у меня, что я об этом думаю.

Филипп был поражен. Он отчаянно разозлился на опекуна за то, что тот нарушил свое слово.

— Я считал это делом решенным, — сказал он.

— Как бы не так! Я написал, что твой уход был бы величайшей ошибкой.

Филипп немедленно сел за стол и сочинил крайне резкое письмо дяде. Он не стеснялся в выражениях. Он был так зол, что долго не мог заснуть и рано утром проснулся в мрачном настроении. Он едва дождался ответа. Ответ пришел через два или три дня. Это было кроткое, грустное письмо от тети Луизы; по ее словам, ему не следовало так писать дяде: он причинил ему большое горе. Он поступил жестоко и не по-христиански. Надо ему понять, что они стараются для его же блага; они куда старше его, и им виднее, что для него лучше. Филипп сжал кулаки. Он часто слышал такие доводы, но не понимал, почему их надо принимать на веру; дядя и тетя не знают современных условий; почему они так уверены, что раз старше его, значит, и умнее?..

Письмо заканчивалось сообщением, что мистер Кэри взял обратно заявление об уходе племянника из школы.

Филипп кипел негодованием до следующего вторника: во вторник и четверг после обеда их освобождали от уроков, потому что по субботам они вечером ходили в собор.

Филипп задержался в классе позже других.

— Прошу вас, сэр, разрешите мне после обеда псехать в Блэкстебл, — попросил он.

— Нет, — отрезал директор.

— Мне нужно поговорить с дядей по важному делу.

— Разве ты не слышал, что я сказал «нет»?

Филип не стал возражать. Он вышел из класса. Его душила ярость от перенесенного унижения — унижительного отказа. Он ненавидел директора. Филип приходил в бешенство от всякого проявления деспотизма, особенно когда человек даже не считал нужным объяснить причины совершенного им насилия. Он был слитком зол, чтобы обдумывать свои поступки; после обеда он пошел знакомыми закоулками прямо на станцию и как раз поспел к поезду в Блэкстебл. Дядя и тетя были в гостинной.

— Ба! Откуда ты взялся? — спросил священник.

Он не мог скрыть, что совсем не рад приезду Филипа, и был слегка смущен.

— Я решил приехать и поговорить с тобой. Я хочу знать, почему ты обещал мне одно, когда я был здесь, а через неделю сделал совершенно другое.

Филип был немножко испуган своей храбростью, но он заранее обдумал все, что скажет, и, как ни билось его сердце, заставил себя произнести эти слова.

— Тебе разрешили сегодня приехать?

— Нет. Я просил Перкинса, но он отказал. Если ты хочешь донести ему, что я был здесь, ты можешь причинить мне целую кучу неприятностей.

Миссис Кэри дрожащими руками продолжала вязать. Она не привыкла к скандалам, они ее крайне волновали.

— Ты этого заслуживаешь, — сказал мистер Кэри.

— Если хочешь быть ябедой, пожалуйста. После твоего письма Перкинсу от тебя всего можно ожидать.

Со стороны Филипа было глупо так говорить — священник дождался нужного ему предлога.

— Я не желаю выслушивать твои дерзости, — произнес он с достоинством.

Он встал и поспешно ушел к себе в кабинет. Филип услышал, как он захлопнул за собой дверь и запер ее на ключ.

— О Господи, хоть бы мне скорей исполнился двадцать один год! Какой ужас быть связанным по рукам и ногам!

Тетя Луиза тихонько заплакала.

— Ах, Филип, как ты мог так говорить с дядей! Прощу тебя, пойди и извинись.

— И не подумаю. А с его стороны красиво пользоваться тем, что он опекун? Ведь это просто перевод денег — платить за меня в школу; но ему до этого и дела нет. Деньги-то не его. Зачем только меня отдали на попечение людям, которые ни черта в этом не смыслят.

— Филип...

Услышав ее голос, Филип сразу прервал свою яростную тираду — такое в нем было отчаяние. Он только теперь почувствовал всю резкость своих слов.

— Как ты можешь быть таким жестоким? Ты ведь знаешь, что мы стараемся для твоей же пользы. Конечно, у нас нет опыта... Будь у нас дети, все было бы иначе. Вот почему мы посоветовались с мистером Перкинсом. — Голос ее задрожал. — Я старалась быть тебе матерью. Я всегда любила тебя, как собственного сына.

Она была такая маленькая и хрупкая, во всем ее облике старой девы было что-то донельзя грустное. Филип был растроган. Он почувствовал, как горло его сжалось и на глазах выступили слезы.

— Прости меня, — сказал он. — Я вел себя как последняя скотина.

Он встал перед ней на колени, обнял ее и стал целовать увядшие мокрые щеки. Она горько рыдала, и он вдруг ощутил острую жалость к этой зря прожитой жизни. Никогда еще она себе не позволяла так открыто проявлять свои чувства.

— Я вижу, что не стала для тебя тем, кем хотела стать, но, ей-Богу же, я не знала, как это сделать. Я ведь так же страдаю, оттого что у меня нет детей, как и ты, что у тебя нет матери.

Филип позабыл свой гнев и свои огорчения: он думал только о том, как бы утешить ее, бормоча отрывистые слова и неуклюже, по-ребячьи, стараясь ее приласкать. Но вскоре пробили часы, и он бросился бежать, чтобы поспеть на последний поезд, приходивший в Теркенбери к вечерней переключке. Забившись в угол вагона, он думал о том, что ничего не достиг, и злился на собственную слабость. Противно, что высокомерный тон священника и слезы тетки отвлекли его от цели. Но в результате каких-то переговоров

между супругами, о которых Филип так и не узнал, директор получил еще одно письмо. Прочитав его, мистер Перкинс нетерпеливо передернул плечами. Он показал его Филипу.

Оно гласило:

«Дорогой мистер Перкинс!

Простите, что я снова тревожу Вас по поводу моего племянника, но и моя жена и я о нем беспокоимся. Судя по всему, он рвется из школы, и моя жена думает, что ему там очень тяжело. Нам трудно принять какое-нибудь решение — ведь мы не его родители. Сам он считает, что успехи у него посредственные и что оставаться в школе будет лишь тратой денег. Очень прошу Вас потолковать с ним, и, если он не передумает, ему, пожалуй, и в самом деле лучше уйти перед Рождеством, как я сперва и предполагал.

Искренне Ваш *Уильям Кэри*»

Филип отдал директору письмо. Он ликовал. Желание его исполнилось, он добился своего. Воля его пересилила волю других.

— Бряд ли мне стоит тратить полчаса на письмо своему дяде, ведь он снова передумает, если вслед за этим получит письмо от тебя, — с раздражением сказал директор.

Филип ничего не ответил; ни один мускул не дрогнул на его лице, только глаза лукаво блеснули. Мистер Перкинс заметил это и рассмеялся.

— Да, видно, твоя взяла, — сказал он.

Филип широко улыбнулся. Он не мог скрыть своего торжества.

— Это правда, что тебе невтерпеж в школе?

— Да, сэр.

— Тебе здесь плохо?

Филип покраснел. Он злился, когда люди пытались залезть к нему в душу.

— Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс задумчиво глядел на него, медленно теребя бороду. Потом он заговорил, словно сам с собой:

— Конечно, школы предназначены для заурядных детей. Дыры всегда круглые, и, какова бы ни была форма затычки, ее надо загнать в эту дыру. Нет времени заниматься незаурядным ребенком. — Внезапно он обратился к Филипу: — Послушай, я хочу тебе кое-что предложить. Дело идет к концу триместра. Ты не умрешь, если пробудешь

здесь еще один триместр, а если ты хочешь ехать в Германию, лучше это сделать не после Рождества, а после Пасхи. Весной там куда приятнее, чем в разгар зимы. Если к концу следующего триместра ты не передумаешь, я не стану чинить тебе препятствий. Что ты на это скажешь?

— Большое спасибо, сэр.

На радостях, что он все-таки выиграл три месяца, Филипп не стал возражать против еще одного триместра. Школа уже не казалась ему такой тюрьмой, как прежде: он знал, что навсегда избавится от нее еще до Пасхи. Сердце его прыгало в груди. В тот вечер в часовне он оглядел своих товарищей — они стояли, выстроившись по классам, каждый на своем месте — и усмехнулся от удовольствия при мысли, что скоро никогда их больше не увидит. Теперь он мог смотреть на них почти дружелюбно. Глаза его остановились на Розе. Тот очень серьезно относился к своим обязанностям старосты: он тешил себя мыслью, что служит примером всей школе; в этот вечер была его очередь читать молитву, и он прочел ее отлично. Филипп улыбнулся, подумав, что наконец избавится от него навсегда; не пройдет и полугода, как Филипп забудет, что Роз — высокий и стройный, что у него прямые, длинные ноги, что он староста и капитан спортивной команды. Филипп поглядел на учителей в мантиях. Гордон умер (он скончался два года назад от удара), но все остальные были на месте. Теперь Филипп знал, какие это ничтожные люди, за исключением разве что Тернера, в котором было что-то человеческое; Филиппа передернуло при мысли о том, в каком рабстве они его держали. Через полгода и они станут ему безразличны. Их похвала его не обрадует, а хула заставит только презрительно пожать плечами.

Филипп научился скрывать свои чувства, к тому же он все еще страдал от застенчивости, но теперь он часто бывал весел; и, хотя он по-прежнему ковылял по школе с притворной скромностью, молчаливый и сдержанный, душа его ликовала. Даже ходить он стал как будто легче. В голове у него проносились разные мысли, мечты так стремительно обгоняли друг друга, что он не мог их удержать, но их веселый хоровод переполнял его сердце радостью. Теперь, когда у него было легко на душе, он мог опять заниматься, и в последние недели триместра принялся наверстывать упущенное. Голова его работала без всякого напряжения, и

самый процесс мышления доставлял ему подлинное удовольствие. Он отлично выдержал экзамены. Мистер Перкинс только раз вернулся к их разговору: разбирая его сочинение, он, как обычно, указал ему на недостатки, а потом заметил:

— Стало быть, ты решил на время перестать валять дурака?

Он улыбнулся ему, сверкнув своими белоснежными зубами, и Филип, опустив глаза, смущенно улыбнулся в ответ.

Полдюжины учеников, собиравшихся поделить между собой различные награды в конце летнего триместра, давно перестали считать Филипа серьезным соперником; но теперь они стали наблюдать за ним с беспокойством. Он никому не говорил, что на Пасху уходит из школы и таким образом не может быть для них конкурентом, — он не разубеждал их в этом. Он знал, что Роз гордится своим французским произношением — раза два он провел каникулы во Франции; к тому же Роз рассчитывал получить награду настоятеля собора за сочинение по английской литературе; Филип обрадовался, увидев, с какой растерянностью Роз почувствовал, насколько он сильнее его по этим предметам. Другой парень, Нортон, не мог поступить в Оксфорд, не получив одной из стипендий, которыми располагала школа. Нортон спросил Филипа, будет ли он ее добиваться.

— А тебе какое дело? — спросил Филип.

Ему льстило, что от него зависит чье-то будущее. Было нечто романтическое в том, чтобы захватить все эти награды, а потом с презрением уступить их другим. Наконец занятия кончились, и он отправился прощаться к мистеру Перкинсу.

— Неужели ты и в самом деле хочешь уйти? — спросил тот с искренним удивлением.

Лицо у Филипа вытянулось.

— Вы же обещали, что не станете возражать, — сказал он.

— Я думал, что на тебя нашла блажь, которой покуда лучше потакать. Я же знаю, как ты упрям. Скажи на милость, зачем тебе теперь уходить? Ведь тебе остался всего один триместр. Ты легко получишь стипендию святой Марии-Магдалины и половину всех наших наград.

Филип угрюмо молчал. Он понимал, что его обманули. Но ведь Перкинс дал обещание, и ему придется его сдерживать.

— В Оксфорде тебе будет хорошо. Тебе не надо сейчас решать, чем ты займешься потом. Ты, видно, не понимаешь, как там чудесно живет всякому, у кого есть голова на плечах.

— У меня все готово для поездки в Германию, — сказал Филип.

— Что же это за приготовления, которых при желании нельзя отменить? — спросил мистер Перкинс с насмешливой улыбкой. — Я буду очень огорчен, если тебя потеряю. Тупицы, которые работают не покладая рук, всегда успевают в школе больше, чем способные ученики, но лентяи; если же способный ученик хочет заниматься — ну, тогда он достигает того, чего ты добился в этот триместр.

Филип густо покраснел. Он не привык к похвалам, и никто еще не говорил ему о его способностях. Директор положил ему руку на плечо.

— Если бы ты знал, как скучно вдавливать что-нибудь в головы тупицам; но когда попадается ученик, который понимает тебя с полуслова, тогда преподавание становится самым увлекательным занятием на свете.

Филип таял от ласковых слов; ему прежде и в голову не приходило, что мистеру Перкинсу действительно не безразлично, уйдет он или останется. Он был и тронут и необычайно польщен. Было бы приятно кончить школу с триумфом, а потом отправиться в Оксфорд: перед ним мелькали картины той жизни, о которой он знал понаслышке от выпускников, приезжавших в школу для участия в спортивных состязаниях, или по письмам студентов, переходившим из рук в руки в комнатах для занятий. Но ему было стыдно: каким же он окажется дураком в собственных глазах, если уступит; да и дядя посмеется над тем, как его пережитрил директор. А драматический отказ от всех наград, потому что он их презрел, превратится в простую будничную борьбу за них. В общем, прояви мистер Перкинс еще совсем немного настойчивости — ровно столько, чтобы он мог сохранить самоуважение, — и Филип пошел бы на все, чего хотел директор. Но лицо его никак не отражало боровшихся в нем чувств, оно оставалось спокойным и угрюмым.

— Я бы все-таки предпочел уйти, — сказал он.

Как и многие люди, привыкшие добиваться своего с помощью личного обаяния, мистер Перкинс становился нетерпелив, когда ему не удавалось сразу же настоять на

своим. У него было много работы, и он больше не мог тратить драгоценное время на мальчишку, который так глупо упрямился.

— Ладно, — сказал он, — я обещал, что отпущу тебя, если ты этого действительно хочешь, и я сдержу обещание. Когда ты едешь в Германию?

Сердце Филипа екнуло. Бой был выигран, но он не был уверен, что это победа, а не поражение.

— В начале мая, — ответил он.

— Что ж, приезжай навестить нас, когда вернешься.

Директор протянул руку. Еще немножко, и Филип передумал бы, но мистер Перкинс, по-видимому, считал дело решенным. Филип вышел. Со школой покончено, он свободен; но неистовой радости, которой он ждал, Филип почему-то не ощутил. Он медленно обошел школьный двор, и его охватило глубокое уныние. Теперь он жалел, что не вел себя умнее. Ему уже не хотелось уходить из школы, но он знал, что не сможет заставить себя пойти к директору и сказать, что остается. Это было бы таким унижением, какого он не мог вынести. Он сомневался, правильно ли поступил, был недоволен собой и всем на свете. И мрачно спрашивал себя: неужели всегда, когда тебе удастся поставить на своем, ты потом об этом жалеешь?

ГЛАВА 22

В Берлине жила старая приятельница мистера Кэри, некая мисс Уилкинсон; отец ее был священником. Когда-то мистер Кэри был его помощником в одной из деревень Линкольншира; после смерти отца мисс Уилкинсон была вынуждена искать заработка и служила гувернанткой во Франции и в Германии. Она переписывалась с мистером Кэри и два раза проводила отпуск у него в доме в Блэкстебле, платя небольшую сумму за свое содержание, как это обычно делали редкие гости семейства Кэри. Когда выяснилось, что легче уступить желанию Филипа, чем ему противиться, миссис Кэри написала ей и попросила совета. Мисс Уилкинсон рекомендовала Гейдельберг как самое подходящее место для изучения немецкого языка и дом фрау профессорши Эрлин — как самое удобное пристанище. Филип сможет жить там на всем готовом за тридцать марок

в неделю, а учить его будет сам профессор, преподаватель местной гимназии.

Филип приехал в Гейдельберг майским утром. На вокзале его вещи погрузили на ручную тележку, и он последовал за носильщиком. Над ним сияло ярко-голубое небо, а деревья на улице, по которой они шли, были покрыты густой листвой; в самом воздухе было что-то новое для Филипа, и к робости, которую он испытывал, вступая в новую жизнь среди чужих людей, примешивалось радостное возбуждение. Он был несколько огорчен тем, что никто его не встретил, и совсем смутился, подойдя к подъезду большого белого дома, куда его довел носильщик. Какой-то растрепанный парень впустил его в дом и проводил в гостиную. Она была заставлена массивной мебелью, обитой зеленым бархатом, посредине стоял круглый стол. На нем красовался в вазе с водой букет цветов, туго обернутый в нарезанную бахромой бумагу, как кость от бараньей котлетки; вокруг вазы были аккуратно разложены книги в кожаных переплетах. Воздух в комнате был затхлый.

В гостиную, принеся с собой запах кухни, вошла фрау профессорша — низенькая, толстая, чрезмерно приветливая женщина с туго завитым шиньоном; на ее красном лице, как бусинки, блестели маленькие глазки. Взяв Филипа за руки, она принялась расспрашивать его о мисс Уилкинсон, которая дважды прожила по несколько недель в доме профессорши. Говорила она на ломаном английском языке, примешивая немецкие слова. Филипу так и не удалось ей объяснить, что он незнаком с мисс Уилкинсон. Потом появились две дочки фрау профессорши. Филипу девицы показались перезрелыми, хотя им было, наверно, лет по двадцать пять. Старшая, Текла, была такая же коротышка, как мать, с такой же фальшивой манерой держаться, но у нее было хорошенькое личико и густые темные волосы; младшая, Анна, была долговязой и невзрачной, но улыбка ее показалась Филипу приятной, и он сразу предпочел ее сестре. После нескольких минут вежливой беседы фрау профессорша отвела Филипа в его комнату и оставила одного. Комната помещалась в башенке, из окна виднелись верхушки деревьев парка; кровать стояла в алькове, и, сидя за столом, можно было совсем забыть, что находишься в спальне. Филип распаковал свои вещи и расставил книги. Наконец-то он начинал самостоятельную жизнь.

В час дня звонок позвал его к обеду; в гостиной собрались все жильцы фрау профессорши. Филипа представили ее супругу — высокому человеку средних лет с кроткими голубыми глазами и большой светловолосой головой, которую тронула седина. Он заговорил с Филипом на правильном, но довольно старомодном английском языке, усвоенном из английских классиков; странно было слышать в разговоре слова, которые Филип встречал лишь в пьесах Шекспира. Фрау профессорша Эрлин звала свое заведение не пансионом, а «семейным домом»; но нужно было хитроумие метафизики, чтобы установить, в чем заключалось различие. Когда они уселись обедать в длинной темной комнате рядом с гостиной, Филип, который очень робел, насчитал за столом шестнадцать человек. Фрау профессорша сидела во главе стола и раскладывала порции. Прислуживал, нещадно стуча тарелками, все тот же неотесанный увалень, который открыл Филипу дверь; как он ни суетился, первые кончали есть, прежде чем получали свою еду последние. Фрау профессорша настаивала на том, чтобы говорили только по-немецки, так что, если бы Филип и пересилил свою застенчивость, ему все равно пришлось бы молчать. Он приглядывался к людям, с которыми ему предстояло жить. Возле фрау профессорши сидело несколько старух, но Филип не обратил на них внимания. Были тут и две молодые девушки, обе белокурые, и одна из них очень хорошенькая; Филип услышал, что одну звали фрейлейн Гедвига, а другую — фрейлейн Цецилия. У фрейлейн Цецилии была длинная коса. Девушки сидели рядом и болтали друг с другом, сдержанно хихикая; они то и дело поглядывали на Филипа; одна из них что-то шептала другой, и та фыркала, а Филип краснел как рак, чувствуя, что они над ним потешаются. Рядом с ними сидел китаец с желтым лицом и широкой улыбкой — он изучал жизнь Запада. Китаец говорил скороговоркой, с таким странным акцентом, что девушки не всегда могли его понять и покатывались со смеху. Он тоже добродушно посмеивался, жмуря свои миндалевидные глаза. Было тут и несколько американцев в черных пиджаках, с пергаментным, нездоровым цветом лица — студенты-геологи; в их плохой немецкой речи Филипу слышалось гнусавое американское произношение; он поглядывал на них подозрительно — ведь его учили смотреть на американцев как на необузданных дикарей.

Позже они посидели немного в гостиной на жестких стульях, обитых зеленым бархатом, и фрейлейн Анна спросила Филипа, не хочет ли он с ними прогуляться.

Филип согласился. Собралась целая компания: дочери фрау профессорши, две другие девушки, один из американских студентов и Филип. Филип шел с Анной и фрейлейн Гедвигой и немножко волновался. Он никогда еще не был знаком ни с одной девушкой. В Блэкстебле не было никого, кроме дочерей крестьян и местных лавочников. Филип знал их по именам и в лицо, но был робок, и ему казалось, что они смеются над его хромотой. Он охотно соглашался со священником и миссис Кэри, которые проводили границу между собственным высоким положением и положением крестьян. У доктора было две дочери, но обе значительно старше Филипа; они вышли замуж за ассистентов отца еще тогда, когда Филип был совсем маленьким. В Теркенбери были девицы не слишком скромного поведения, с которыми встречался кое-кто из учеников; об интрижках с ними рассказывали скабрёзные истории — плод воспаленного мальчишеского воображения. Слушая их, Филип скрывал свой ужас под личиной гордого презрения. Его фантазия и прочитанные книги воспитали в нем склонность к байронической позе; в нем боролись два чувства — болезненная застенчивость и уверенность, что он обязан быть галантным. Сейчас он понимал, что ему нужно казаться веселым и занимательным. Но в голове у него не было ни единой мысли, и он мучительно придумывал, что бы ему сказать. Дочь фрау профессорши, фрейлейн Анна, то и дело обращалась к нему из чувства долга; другая же девушка говорила мало, зато поглядывала на него насмешливыми глазами, а иногда, к его великому смущению, откровенно заливалась смехом. Филип был уверен, что выглядит чучелом гороховым. Они шли по склону холма, среди сосен, и Филип с наслаждением вдыхал их аромат. Стоял теплый и безоблачный день. Наконец они взобрались на холм и увидели внизу перед собой долину Рейна, залитую солнцем. Просторные дали словно искрились в золотых лучах; змеилась серебристая лента реки, а по берегам ее были разбросаны города. В том уголке Кента, где жил Филип, не было таких просторов, одно только море открывало глазу дальние горизонты; неоглядная ширь, лежавшая перед Филипом, приводила его в какой-то неизъяснимый восторг. Он вдруг

ощутил себя словно окрыленным. Сам того не понимая, он впервые испытал чистое, ни с чем другим не смешанное чувство красоты. Они сели втроем на скамейку — остальные ушли дальше, и, пока девушки болтали по-немецки, Филипп, забыв об их присутствии, наслаждался открывшимся ему видом.

— Видит Бог, я счастлив, — бессознательно произнес он вслух.

ГЛАВА 23

Иногда Филипп вспоминал о Королевской школе в Теркенбери и посмеивался, гадая, чем там заняты в эту минуту. Иногда ему снилось, что он все еще в школе, и, просыпаясь в своей башенке, он испытывал необычайное удовлетворение. Лежа в постели, он видел огромные кучевые облака, висевшие в синем небе. Он наслаждался свободой. Он мог ложиться, когда хотел, и вставать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать.

Они договорились с профессором Эрлином, что тот станет учить его латыни и немецкому; каждый день к нему приходил француз и давал уроки французского; а в качестве учителя математики фрау профессорша рекомендовала англичанина, изучавшего филологию в университете. Это был некий Уортон. Он снимал комнату в верхнем этаже запущенного дома. Дом был грозный, неопрятный, в нем воняло на все лады. В десять часов утра, когда появлялся Филипп, Уортон обычно был еще в постели; вскочив, он натягивал грязный халат, совал ноги в войлочные туфли и, пока давал урок, поглощал свой скудный завтрак. Это был приземистый человек, растолстевший от неумеренного потребления пива, с густыми усами и длинными, растрепанными волосами. Он прожил в Германии уже пять лет и совсем онемечился. Он с презрением говорил о Кембриджском университете, где получил диплом, и с горечью — о возвращении в Англию, где его после защиты диссертации в Гейдельберге ожидала педагогическая карьера. Он обожал университетскую жизнь в Германии с ее независимостью и веселым компанейством. Он был членом Burschenschaft¹

¹ Студенческой корпорации (нем.).

и обещал сводить Филипа в Кнеире¹. Не имея ни гроша за душой, он не скрывал, что уроки, которые он дает Филипу, позволяли ему есть за обедом мясо вместо хлеба с сыром. Иногда после бурно проведенной ночи у него так трещала голова, что он не мог даже выпить кофе и давал урок с большим трудом. Для таких случаев он хранил под кроватью несколько бутылок пива; кружка пива, а за нею трубка помогали ему переносить житейские невзгоды.

— Клинь клином вышибай, — изрекал он, осторожно наливая себе пиво, чтобы пена не мешала ему поскорее добраться до влаги.

Потом он рассказывал Филипу об университете, о ссорах между соперничавшими корпорациями, о дуэлях, о достоинствах того или иного профессора. Филип больше учился у него жизни, чем математике. Иногда Уортон со смехом откидывался на спинку стула и говорил:

— Послушайте, а мы ведь сегодня бездельничали. Вам не за что мне платить.

— Какая ерунда! — отвечал Филип.

Тут было что-то новое, очень интересное, куда более важное, чем тригонометрия, которой он все равно не понимал. Перед ним словно распахнулось окно в жизнь, он глядел на нее — и душа его замирала.

— Нет уж, оставьте ваши грязные деньги себе, — говорил Уортон.

— Ну, а как вы намерены обедать? — с улыбкой спрашивал Филип; он отлично знал денежные дела своего учителя: Уортон даже попросил его выплачивать по два шиллинга за урок еженедельно, а не ежемесячно — это облегчало дело.

— Черт с ним, с обедом. Не впервой мне обедать бутылкой пива — это прочищает мозги.

Нырнув под кровать (простыни посерели, так давно они были не стираны), он выудил оттуда новую бутылку. Филип был еще молод и, не разбираясь в прелестях жизни, отказался разделить ее с ним; Уортон выпил пиво в одиночку.

— И долго вы собираетесь тут жить? — спросил как-то раз Уортон.

Оба они с облегчением перестали делать вид, будто занимаются математикой.

¹ Пивную (нем.).

— Не знаю. Наверно, около года. Родные хотят, чтобы потом я поступил в Оксфорд.

Уортон пренебрежительно пожал плечами. Филип, к удивлению своему, узнал, что есть люди, которые не чувствуют благоговения перед этим оплотом науки.

— Зачем вам туда поступать? Вы ведь так и останетесь школяром, только более почтенным. А почему бы вам не пойти в здешний университет? Один год в Германии ничего вам не даст. Проведите здесь пять лет. Знаете, в жизни есть две хорошие вещи: свобода мысли и свобода действия. Во Франции вы пользуетесь свободой действия: вы можете поступать как вам угодно, никто не обращает на это внимания, но думать вы должны как все. В Германии вы должны вести себя как все, но думать можете как вам угодно. Кому что нравится. Лично я предпочитаю свободу мысли. Но в Англии вы лишены и того, и другого: вы придавлены грузом условностей. Вы не вправе ни думать, ни вести себя, как вам нравится. А все потому, что у нас демократическая страна. Наверно, в Америке еще хуже.

Он осторожно откинулся на стуле — одна из ножек расшаталась, и было бы жаль, если бы такая пышная тирада закончилась падением на пол.

— Мне нужно в этом году вернуться в Англию, но, если я смогу наскрести деньги, чтобы не протянуть ноги, я задержусь здесь еще на год. А потом уж придется уехать. И покинуть все это... — Широким жестом он обвел грязную мансарду с неубранной постелью, разбросанную на полу одежду, шеренгу пустых пивных бутылок у стены, кипы растрепанных книг без переплетов во всех углах. —...Покинуть все это ради какого-нибудь провинциального университета, где я попытаюсь получить кафедру германской филологии. И начну играть в теннис и ходить в гости на чашку чаю. — Прервав свой монолог, он иронически оглядел с ног до головы Филипа — опрятно одетого, с чистым воротничком, с аккуратно зачесанными волосами. — И, Боже мой, — закончил он, — мне придется умыться!

Филип покраснел: он почувствовал в своем щегольстве какое-то неприличие. С недавних пор он стал уделять внимание своей внешности и вывез из Англии изрядную коллекцию галстуков.

А лето победно вступало в свои права. Один день был прекраснее другого. Небо стало таким дерзко синим, что

подстегивало, как удар хлыста. Зелень деревьев в парке была до крикливости яркой, а белизна освещенных солнцем домов слепила чуть не до боли. Возвращаясь от Уортона, Филипп иногда садился в тень на одну из скамеек парка, радуясь прохладе и наблюдая за узорами, которые солнечные лучи рисовали на земле, пробиваясь сквозь листву. И душа его дрожала от восторга, как солнечный луч. Он наслаждался этими минутами безделья, украденными у занятий. Иногда он бродил по улицам старого города. Филипп с благоговением глядел на студентов-корпорантов с багровыми шрамами на щеках, щеголявших в своих разноцветных фуражках. После обеда он бродил по холмам с девушками из дома фрау профессорши, а иногда они отправлялись вверх по реке и пили чай в тенистом садике возле какого-нибудь трактира. По вечерам они кружили по городскому саду, слушая, как играет оркестр.

Вскоре Филипп изучил склонности обитателей пансиона. Старшая дочь профессора, фрейлейн Текла, была обручена с англичанином, который прожил двенадцать месяцев в их доме, обучаясь немецкому языку; свадьба была назначена на конец года. Но молодой человек писал, что его отец, оптовый торговец каучуком из Слау, не одобряет этого брака, и фрейлейн Теклу часто заставляли в слезах. Не раз видели, как она, неумолимо сдвинув брови и решительно сжав губы, перечитывает вместе с матерью письма неподатливого жениха. Текла рисовала акварелью, и порой они с Филиппом отправлялись писать этюды, пригласив одну из девушек для компании. У хорошенькой фрейлейн Гедвиги тоже были свои любовные неурядицы. Она была дочерью берлинского коммерсанта, а в нее влюбился лихой гусар, чье имя, представьте, писалось с аристократической приставкой «фон»; его родители возражали против брака с девицей из торгового сословия, и ее отправили в Гейдельберг, чтобы она о нем позабыла. Но она никогда, никогда его не забудет. Фрейлейн Гедвига продолжала с ним переписываться, он же предпринимал отчаянные попытки убедить непреклонного отца изменить свое решение. Все это она поведала Филиппу, премило вздыхая и нежно краснея, показав ему фотографию неунывающего лейтенанта. Филиппу она нравилась больше других девушек в доме фрау профессорши, и на прогулках он всегда старался держаться с ней рядом. Он заливался краской, когда остальные подтрунивали

над явным предпочтением, которое он ей оказывал. Он даже объяснился фрейлейн Гедвиге — первый раз в жизни, но — увы! — это случилось нечаянно. В те вечера, когда они не гуляли, девушки пели песенки в зеленой гостиной, а услужливая фрейлейн Анна прилежно аккомпанировала. Любимая песня фрейлейн Гедвиги называлась «Ich liebe dich» — «Люблю тебя». Однажды вечером она ее спела, и они с Филипом вышли на балкон полюбоваться звездами; ему вдруг захотелось сказать ей что-нибудь приятное о ее пении. Он начал:

— «Ich liebe dich»...

Говорил он по-немецки с запинкой, с трудом подбирая нужные слова. На этот раз он сделал совсем маленькую паузу, но, прежде чем он успел окончить фразу, фрейлейн Гедвига сказала:

— Ach, Herr Cary, Sie müssen mir nicht du sagen¹.

Филипа бросило в жар — разве он посмел бы позволить себе такую фамильярность? Он совсем потерял дар речи. С его стороны было бы неделикатно доказывать, что он вовсе и не думал объясняться, а просто упомянул название песни.

— Entschuldigen Sie², — сказал он.

— Ничего, — прошептала она.

Она мило улыбнулась, тихонько пожала его руку, а потом вернулась в гостиную.

На другой день он чувствовал себя так неловко, что не мог вымолвить ни слова, и, сгорая от смущения, всячески избегал с ней встречи. Когда его, как всегда, позвали на прогулку, он отказался, сославшись на то, что ему надо заниматься. Но фрейлейн Гедвига нашла возможность поговорить с ним с глазу на глаз.

— Почему вы себя так ведете? — ласково спросила она. — Знаете, я нисколько на вас не в обиде за вчерашнее. Что же вы можете поделать, если меня полюбили? Мне это даже лестно. Но, хотя официально я и не обручена с Германом, я считаю себя его невестой и никогда не люблю никого другого.

Филип снова вспыхнул, но ему удалось принять вид отвергнутого влюбленного.

— Надеюсь, вы будете очень счастливы, — сказал он.

¹ Ах, герр Кэри, вам не следует говорить мне ты (нем.).

² Извините меня (нем.).

ГЛАВА 24

Профессор Эрлин занимался с Филипом ежедневно. Он составил список книг, которые надлежало прочесть, прежде чем приступить к самому трудному — к «Фаусту», а пока что довольно умно предложил ему начать с немецкого перевода одной из пьес Шекспира, которую Филип проходил в школе. В те времена слава Гете достигла в Германии своего апогея. Несмотря на то что Гете относился к урапатриотизму свысока, его признали величайшим национальным поэтом, а после войны семидесятого года — одним из самых ярких символов национального единства. Энтузиастам казалось, что в неистовствах Walpurgisnacht¹ слышится грохот артиллерии под Гравелоттом². Один из признаков писательского гения заключался в том, что люди различных убеждений находят в нем свои собственные источники вдохновения; профессор Эрлин, ненавидевший пруссаков, восторженно поклонялся Гете за то, что его дышавшие олимпийским спокойствием творения давали здравомыслящему человеку прибежище от треволнений современного общества. Появился драматург, чье имя все чаще повторяли в Гейдельберге последнее время, — прошлой зимой одна из его пьес шла в театре под восторженные овации поклонников и свистки добропорядочных людей. Филип слышал споры о ней за длинным столом фрау профессорши, и в этих спорах профессор Эрлин терял обычное спокойствие: он стучал кулаком по столу и заглушал инакомыслящих раскатами своего великолепного баса. По его словам, это был вздор, и вздор непристойный. Он заставил себя высидеть спектакль до конца, но затруднялся теперь сказать, чего испытал больше — скуки или отвращения. Если театр докатился до такого падения, пора вмешаться полиции и запретить подобные зрелища. Он вовсе не ханжа и готов посмеяться, как и всякий другой, над остроумным и безнравственным фарсом в «Пале-Рояль», но тут нет ничего, кроме грязи. Он красноречиво зажал нос и свистнул сквозь зубы. Это ведет к разложению семьи, гибели морали, распаду Германии.

¹ Вальпургиевой ночи (нем.).

² Под Гравелоттом (недалеко от Меца) произошла решающая битва франко-прусской войны 1870 года, закончившаяся победой немцев.

— Aber, Adolf!, — взывала фрау профессорша с другого конца стола, — не волнуйся!

Профессор погрозил ей кулаком. Он был самым кротким существом на свете и ни разу в жизни не отважился предпринять что-нибудь без ее совета.

— Нет, Елена, — вопил он, — говорю тебе, пусть лучше я увижу трупы наших дочерей у своих ног, чем узнаю, что они слушали бред этого бесстыдника.

Пьеса называлась «Кукольный дом», автором ее был Генрик Ибсен.

Профессор Эрлин ставил его на одну доску с Рихардом Вагнером, но имя последнего он произносил не с гневом, а с добродушным смехом. Это был шарлатан, но шарлатан удачливый, и тут было над чем посмеяться.

— Verrückter Kerl!² — говорил он.

Он видел «Лозэнгрину», и это было еще терпимо. Скучно, но не более того. А вот «Зигфрид»! Тут профессор Эрлин подпирал ладонью голову и разражался хохотом. Ни одной мелодии с самого начала и до самого конца! Представляю себе, как Рихард Вагнер сидит в своей ложе и до колик смеется над теми, кто принимает его музыку всерьез. Это — величайшая мистификация девятнадцатого века! Профессор поднес к губам стакан пива, запрокинул голову и выпил до дна. Потом, утирая рот тыльной стороной руки, произнес:

— Поверьте, молодые люди, еще не кончится девятнадцатый век, а о Вагнере никто и не вспомнит. Вагнер! Да я отдам все, что он написал, за одну оперу Доницетти.

ГЛАВА 25

Самым странным из всех учителей Филипа был преподаватель французского языка месье Дюкро — гражданин города Женева. Это был высокий старик с болезненным цветом лица и впалыми щеками; длинные седые волосы его сильно поредели. Он ходил в поношенном черном пиджаке с протертыми локтями и брюках с бахромой. Рубашка его давно нуждалась в стирке. Филип ни разу не видал на нем чистого воротничка. Месье Дюкро мало говорил, уроки

¹ Послушай, Адольф (нем.).

² Безумец! (нем.).

давал добросовестно, хоть и без особого интереса, появляясь и уходя минута в минуту. Получал он гроши. Человек он был необщительный, и то, что Филип о нем знал, он услышал от других; говорили, что месье Дюкро сражался с Гарибальди против папы, но с возмущением покинул Италию, выяснив, что все его усилия добиться свободы — под нею он подразумевал создание республики — привели к замене одного ярма другим. Из Женевы его выслали за какие-то политические прегрешения. Филип с любопытством разглядывал месье Дюкро — уж очень он не подходил к его представлению о революционере: швейцарец говорил тихим голосом и был изысканно вежлив, никогда не садился, пока его об этом не просили, а в тех редких случаях, когда встречал Филипа на улице, изящным жестом снимал шляпу. Он никогда не смеялся и даже не улыбался. Более зрелое воображение нарисовало бы подающего блестящие надежды юношу, вступившего в жизнь в 1848 году, когда у королей при одной мысли об их французском собрате пренеприятно ломило шею; быть может, пламенная жажда свободы, которая охватила всю Европу и смела все пережитки абсолютизма и тирании, воскресшие в годы реакции, последовавшей за революцией 1789 года, ни в одной другой груди не зажгла более яркого огня. Легко было себе представить его — страстного поклонника учения о всеобщем равенстве и правах человека — в пылу горячих споров, сражающимся на баррикадах в Париже, спасающимся от австрийских кавалеристов в Милане, брошенным в тюрьму здесь, высланным оттуда, черпающим надежду и вдохновение в магическом слове — Свобода... Но вот, постарев, сломленный болезнями и лишениями, не имея других средств к существованию, кроме грошовых уроков, которые он с трудом находил, он очутился здесь, в этом опрятном городке, под пятой тирании, более деспотической, чем любая другая в Европе. Быть может, его замкнутость скрывала презрение к человечеству — ведь оно отреклось от великой мечты его молодости и погрязло в ленивой праздности; а может, тридцать лет революций привели его к выводу, что люди недостойны свободы, и он решил, что растратил жизнь в бесплодной погоне за призраками. А может, он просто до изнеможения устал и теперь равнодушно ожидает избавления в смерти.

Однажды Филип со свойственной его возрасту прямотой спросил месье Дюкро, правда ли, что он сражался под

знаменами Гарибальди. Казалось, старик не придавал этому вопросу никакого значения. Он ответил невозмутимо, как всегда тихим голосом:

— Oui, monsieur¹.

— Говорят, вы были коммунаром?

— Вот как? Что же, будем продолжать заниматься?

Он раскрыл книгу, и оробевший Филипп принялся переводить приготовленный урок.

Как-то раз месье Дюкро пришел на занятие совсем больным. Он едва осилил высокую лестницу, которая вела в комнату Филиппа, а войдя, тяжело опустился на стул, бледное лицо его осунулось, на лбу блестели капельки пота, он с трудом перевел дыхание.

— Мне кажется, вы нездоровы, — сказал Филипп.

— Ничего.

Но Филипп видел, как ему плохо, и в конце урока спросил, не хочет ли он повременить с занятиями, пока ему не станет лучше.

— Нет, — сказал старик своим ровным, тихим голосом. — Лучше продолжать, раз я еще в силах.

Филипп, болезненно стеснявшийся всяких разговоров о деньгах, покраснел.

— Но для вас это не составит никакой разницы, — сказал он. — Я все равно буду платить за уроки. Если позволите, я дам вам денег за неделю вперед.

Месье Дюкро брал полтора шиллинга за час. Филипп вынул из кармана монету в десять марок и смущенно положил ее на стол. Он не мог заставить себя протянуть ее старику, точно нищему.

— В таком случае я, пожалуй, не приду, пока не поправлюсь. — Месье Дюкро взял монету и, как всегда молча, отвесил церемонный поклон. — Bonjour, monsieur².

Филипп был немножко разочарован. Ему казалось, что он вел себя благородно и что месье Дюкро следовало бы выказать ему признательность. Его озадачило, что старый учитель принял дар как нечто должное. Филипп был еще так молод, что не понимал, насколько меньше чувствуют обязательства те, кому оказывают услугу, чем те, кто ее оказывает. Месье Дюкро снова появился дней через шесть. Походка

¹ Да, месье (фр.).

² Всего хорошего, месье (фр.).

его была еще менее твердой, чем всегда, и он, по-видимому, очень ослабел, но, судя по всему, приступ болезни прошел. Он был по-прежнему молчалив, все так же скрытен, загадочен и неопятен. Только по окончании урока месье Дюкро упомянул о своей болезни; уходя, он задержался возле двери, помешкал и с трудом произнес:

— Если бы не деньги, которые вы дали, мне бы пришлось голодать. Мне ведь больше не на что жить.

Он с достоинством отвесил свой низкий поклон и вышел из комнаты. У Филипа сжалось горло. Он смутно почувствовал всю безнадежную горечь борьбы этого одинокого старика, понял, как сурово обошлась с ним жизнь, которая сейчас так ласково улыбалась ему, Филипу.

ГЛАВА 26

Филип пробыл в Гейдельберге три месяца, когда однажды утром фрау профессорша сообщила ему, что к ним приезжает англичанин по фамилии Хейуорд, и в тот же вечер за ужином он увидел новое лицо. Уже несколько дней семейство Эрлин пребывало в большом возбуждении. Прежде всего в результате Бог знает каких интриг, униженных просьб и скрытых угроз родители молодого англичанина, с которым была помолвлена фрейлейн Текла, пригласили ее погостить у них в Англии; она пустилась в путь, вооружившись альбомом акварелей (наглядным свидетельством ее совершенств) и пачкой писем (неопровержимым доказательством того, как далеко зашел молодой человек). Неделию спустя сияющая фрейлейн Гедвига объявила о предстоящем приезде в Гейдельберг своего возлюбленного лейтенанта и его родителей. Измученные приставаниями сына и тронутые до глубины души размерами приданого, обещанного отцом фрейлейн Гедвиги, они согласились проездом остановиться в Гейдельберге, чтобы познакомиться с молодой девушкой. Встреча прошла благополучно, и фрейлейн Гедвига смогла похвастаться своим возлюбленным в городском саду перед всеми домочадцами фрау профессорши. Молчаливые старушки, сидевшие во главе стола, возле фрау профессорши, были вне себя от волнения, а когда фрейлейн Гедвига объявила, что возвращается домой, где состоится официальная помолвка, фрау профессорша решила, не считаясь с затратами, пригласить всех на

майский пунш. Профессор Эрлин гордился своим умением готовить этот не слишком крепкий напиток, и после ужина на круглый стол в гостиной торжественно водрузили большую чашу рейнвейна с содовой водой, в которой плавали ароматные травы и земляника. Фрейлейн Анна поддразнивала Филипа, что дама его сердца уезжает; ему было не по себе, он испытывал легкую меланхолию. Фрейлейн Гедвига спела несколько романсов, фрейлейн Анна сыграла «Свадебный марш», а профессор Эрлин исполнил «Die Wacht am Rein»¹.

В разгаре празднества Филип уделял мало внимания приезжему англичанину. За ужином они сидели друг против друга, но Филип был занят болтовней с фрейлейн Гедвигой, а незнакомец, не зная немецкого языка, молча поглощал пищу. Заметив на нем голубой галстук, Филип сразу же почувствовал к нему неприязнь. Это был светлый блондин с длинными вьющимися волосами, — он часто проводил по ним небрежной рукой. Его большие голубые глаза казались слишком светлыми, в них уже проглядывала какая-то усталость, хотя незнакомцу было лет двадцать шесть. Лицо бритое, рот хорошо очерчен, но губы чересчур тонки. Фрейлейн Анна считала себя хорошей физиогномисткой и обратила внимание Филипа на изящные линии его лба и бесхарактерный подбородок. По ее словам, у него была голова мыслителя, но челюсть указывала на слабование. Фрейлейн Анне с ее выдающимися скулами и большим неправильным носом суждено было остаться старой девой, поэтому она придавала большое значение характеру. Пока они обсуждали Хейуорда, тот стоял немного в стороне от других, наблюдая за их шумным весельем с добродушным, чуть-чуть надменным выражением лица. Он был высок, строен и умел держать себя в обществе. Один из американских студентов, по фамилии Уикс, заметив его одиночество, подошел и завязал с ним беседу. Они представляли собой любопытный контраст: аккуратный американец в черном пиджаке и темно-серых брюках, тощий и словно высохший, с уже сквозящей в его манерах елейностью церковника, и англичанин в свободном грубошерстном костюме, с длинными руками и ногами и медлительными жестами.

¹ «Стража на Рейне» (нем.).

Филип заговорил с приезжим только на следующий день. Перед обедом они оказались вдвоем на балконе.

— Вы англичанин? — обратился к Филипу Хейуорд.

— Да.

— Здесь всегда так плохо кормят, как вчера вечером?

— Кормят всегда одинаково.

— Отвратительно, не правда ли?

— Да, отвратительно.

До сих пор пища вполне удовлетворяла Филипа, и он поглощал ее с аппетитом и в немалом количестве, но ему не хотелось показать себя невзыскательным и признать хорошим обед, который кто-то другой счел отвратительным.

Поездка фрейлейн Теклы в Англию заставила ее сестру куда больше хлопотать по дому, и у нее теперь редко находилось время для прогулок, а фрейлейн Цецилия с длинной белокурой косой и маленьким вздернутым носиком последнее время заметно сторонилась общества. Фрейлейн Гедвиги не было, Уикс — тот американец, который обычно сопровождал их на прогулках, — отправился путешествовать по Южной Германии, и Филип теперь часто оставался в одиночестве. Хейуорд явно искал с ним близости, но у Филипа была злосчастная черта: от застенчивости, а может, из инстинкта, передавшегося ему от людей пещерного века, он всегда испытывал к людям сперва неприязнь; только привыкнув к ним, он избавлялся от первоначального ощущения. Это делало его малообщительным. К попыткам Хейуорда завязать с ним дружеские отношения он относился сдержанно, а когда тот однажды пригласил его погулять, согласился только потому, что не смог придумать вежливой отговорки. Он, как всегда, рассердился на себя за то, что покраснел, и попытался скрыть смущение смехом:

— Простите, я хожу не слишком быстро.

— Боже мой, да и я не собираюсь бежать бегом. Я тоже предпочитаю ходить медленно. Разве вы не помните то место из «Мариуса»¹, где Патер говорит, что спокойный моттион — лучший стимул для беседы?

Филип умел слушать: ему нередко приходили в голову умные мысли, но чаще всего задним числом. Хейуорд же был разговорчив; человек с более богатым жизненным

¹ «Мариус — эпикуреец» — произведение английского критика и искусствоведа Уолтера Патера (1839—1894).

опытом, чем Филип, понял бы, что ему нравится слушать себя. Но на Филипа его высокомерие производило неотразимое впечатление. Он не мог не восхищаться человеком, который свысока относится ко всему, что сам Филип считает чуть ли не священным. Хейуорд высмеивал увлечение спортом, с презрением приклеивая ярлык охотника за кубками ко всем, кто им занимался, а Филип не замечал, что он попросту заменяет этот фетиш фетишем культуры.

Они поднялись к замку и посидели на террасе, откуда был виден весь город. Раскинутый в долине, на берегах живописного Неккара, Гейдельберг выглядел уютно и приветливо. Над ним, словно голубое море, висел дымок из труб, высокие крыши и шпили церквей придавали городу живописный средневековый вид. Во всем этом была какая-то безыскусственность, которая согревает сердце. Хейуорд говорил о «Ричарде Февереле»¹ и «Мадам Бовари», о Верлене, Данте и Мэтью Арнольде. В те дни переводы Фицджеральда из Омара Хайяма были известны только избранным, и Хейуорд декламировал их Филипу. Хейуорд любил читать стихи — и свои собственные, и чужие; читал он их монотонным голосом, нараспев. Когда они возвращались домой, недоверие Филипа к Хейуорду сменилось восторженным восхищением.

Они взяли за правило гулять каждый день после обеда, и вскоре Филип узнал всю несложную биографию Хейуорда.

Он был сыном сельского судьи и унаследовал после смерти отца триста фунтов годового дохода. Хейуорд кончил школу с отличием, и при его поступлении в Кембриджский университет ректор лично выразил удовольствие, что факультет получит такого студента. Его ждала блестящая карьера. Он вращался в самых избранных кругах интеллигенции, с энтузиазмом читал Броунинга и воротил свой точеный нос от Тенниссона; он знал все подробности интимной жизни Шелли, слегка интересовался историей искусства (стены его комнаты были украшены репродукциями с картин Уоттса, Берн-Джонса и Боттичелли), не без изящества сочинял стихи, полные пессимизма. Друзья его говорили, что у него выдающиеся способности, и он охотно прислушивался, когда ему предсказывали громкую славу. Постепенно в своем кругу он стал авторитетом в области

¹ «Ричард Феверел» — роман английского писателя Джорджа Мердита (1828-1909).

искусства и литературы. Большое влияние оказала на него «Апология» Ньюмена¹; пышность римско-католической религии отвечала его эстетическому чувству; перейти в эту религию мешал ему только страх перед отцом (грубоватым, ограниченным человеком, читавшим Маколея). Друзья его были поражены, когда он окончил университет без всяких отличий, но он только пожал плечами и тонко намекнул, что экзаменаторам не удалось его провести. Ведь быть всюду первым — это так пошло! С мягким юмором он описывал одного из экзаменаторов — этакое педанта в ужасном воротничке, задававшего вопросы по логике; стояла невыносимая скучища, и вдруг Хейуорд заметил на экзаменаторе старомодные ботинки с резинками по бокам — это было так уродливо и смешно; он решил отвлечься от этого зрелища и стал думать о красоте готической часовни в Королевском колледже. Впрочем, он провел в Кембридже немало прелестных дней, давал превосходные обеды (ни у кого так не кормили!), а беседы, которые у него велись частенько, бывали очень интересными. Он процитировал Филипу изысканную эпиграмму: «Мне говорили, Гераклит, мне говорили, будто тебя уже нет на свете».

Рассказывая теперь — который раз — забавную историю об экзаменаторе и его ботинках, он весело смеялся.

— Конечно, с моей стороны это было безрассудством, — говорил он, но каким великолепным безрассудством!

Филип в восторге решил, что это было бесподобно.

После университета Хейуорд отправился в Лондон готовиться к адвокатуре. Он снял очаровательную квартирку в Клементс Инн — стены ее были отделаны панелью — и постарался обставить ее по образцу своих прежних комнат в Кембридже. Он подумывал о политической карьере, называл себя вигом и вступил в клуб с либеральным, но вполне аристократическим оттенком. Он намеревался стать адвокатом (правда, лишь по гражданским делам: они были не такие грубые) и получить в парламенте место от какого-нибудь тихого округа (как только его влиятельные друзья выполнят свои обещания); а пока что он прилежно посещал оперу и свел знакомство с избранным кругом очарова-

¹ «*Apologia pro Vita Sua*» («Апология, или Оправдание моей жизни») — произведение английского религиозного деятеля кардинала Ньюмена (1801—1890).

тельных людей, любивших все то, что любил он. Он обедал в клубе, который провозгласил своим девизом: «Здоровье, польза, красота». У него завязалась платоническая дружба с дамой, бывшей на несколько лет старше его; она жила в аристократическом районе на Кенсингтон-сквер, и Хейуорд чуть не каждый вечер пил у нее чай при свечах; они беседовали о Джордже Мередите и Уолтере Патере. Как известно, каждый дурак может стать адвокатом; вот Хейуорд и не утруждал себя науками. Когда же его провалили на экзаменах, он воспринял это как личное оскорбление. Как раз в это время дама с Кенсингтон-сквер сообщила ему, что ее супруг приезжает в отпуск из Индии и, будучи человеком хоть и достойным во всех отношениях, но весьма пошлых взглядов, может превратно понять частые посещения ее молодого друга. Жизнь показалась Хейуорду отвратительной, душа его бунтовала при одной мысли о новой встрече с циничными экзаменаторами, и он решил гордо отместить то, что лежало у его ног. К тому же он был в долгу как в шелку: джентльмену нелегко было жить в Лондоне на триста фунтов в год; сердце влекло его в Венецию и Флоренцию — их так волшебным образом описал Джон Рескин. Поняв, что мало повесить на дверь дощечку с именем, чтобы обзавестись обширной практикой, Хейуорд решил, что он не создан для низменной суеты судейской профессии, а политике нынче не хватало благородства. Душой ведь он был поэт. Он уступил кому-то свою квартирку в Клементс Инн и отправился в Италию. Прожив зиму во Флоренции и еще одну зиму в Риме, он проводил второе лето за границей, на этот раз в Германии, чтобы научиться читать Гете в подлиннике.

Хейуорд обладал редкостным даром. Он по-настоящему любил литературу и с удивительным красноречием умел заражать других своей страстью. Он мог увлечься каким-нибудь писателем, увидев все его лучшие стороны, и говорить о нем проникновенно. Филип много читал, но читал без разбору — все, что попадалось под руку, и теперь ему было полезно встретить человека, который мог развить его вкус. Он стал брать книги из маленькой городской библиотеки и читать все замечательные произведения, о которых говорил ему Хейуорд. Не всегда они доставляли ему удовольствие, но Филип читал с упорством. Он стремился к самоусовершенствованию и чувствовал себя невежествен-

ным и малоразвитым. К концу августа, когда Уикс вернулся из Южной Германии, Филип уже целиком попал под влияние Хейуорда. Тому не нравился Уикс. Его шокировали черный пиджак и темно-серые брюки американца, и он презрительно пожимал плечами, говоря о его пуританской закваске. Филип спокойно слушал, как поносят человека, который отнесся к нему с редкой сердечностью; когда же Уикс в свою очередь отпускал неприязненные замечания по адресу Хейуорда, Филип выходил из себя.

— Уж больно ваш новый приятель смахивает на поэта, — сказал Уикс, насмешливо кривя рот, запавший от забот и огорчений.

— Он и есть поэт.

— Это он вам сказал? У нас в Америке его называли бы ярко выраженным бездельником.

— Ну, мы не в Америке, — холодно заметил Филип.

— Сколько ему лет? Двадцать пять? А у него только и дела, что переезжать из одного пансиона в другой и кропать стишки.

— Вы же его не знаете, — гневно возразил Филип.

— Нет, знаю: я уже видел сто сорок семь таких, как он.

Глаза Уикса смеялись, но Филип, не понимавший американского юмора, недовольно надул губы. Уикс казался ему пожилым, хотя на самом деле американцу лишь недавно исполнилось тридцать. Он был высок, очень худ и сутулился, как человек, привыкший сидеть над книгами; большая и некрасивая голова с редкими соломенными волосами и землистым цветом лица, тонкие губы, длинный острый нос и выпуклый лоб придавали ему нескладный вид. Холодный и педантичный, словно в жилах у него текла не кровь, а вода, и чуждый страстей, он иногда проявлял удивительное озорство, приводившее в замешательство серьезных людей, среди которых он постоянно вращался. В Гейдельберге он изучал теологию, но остальные студенты-теологи его национальности относились к нему с опаской. Их пугало его свободомыслие, а его прихотливый юмор вызывал их осуждение.

— Где же вы могли видеть сто сорок семь таких, как он? — серьезно спросил Филип.

— Я встречал их в Латинском квартале в Париже и в пансионах Берлина и Мюнхена. Они живут в маленьких гостиницах в Перуджии и Ассизи. Их то и дело видишь у

картин Боттичелли во Флоренции; они сидят на всех скамьях Сикстинской капеллы в Риме. В Италии они пьют слишком много вина, а в Германии — чересчур много пива. Они всегда восхищаются тем, чем принято восхищаться — что бы это ни было, — и на днях собираются написать великое произведение. Подумать только — сто сорок семь великих произведений покоятся в душе ста сорока семи великих мужей, но трагедия заключается в том, что ни одно из этих ста сорока семи великих произведений никогда не будет написано. И на свете от этого ничего не меняется.

Уикс говорил серьезно, но к концу этой длинной речи его серые глаза смеялись; Филип понял, что американец над ним потешается, и покраснел.

— Вы мелете ужасный вздор, — сказал он сердито.

ГЛАВА 27

Уикс занимал две маленькие комнаты в задней части дома фрау Эрлин; одна из них служила гостиной и годилась для приема посетителей. После ужина он нередко приглашал к себе поболтать Филипа и Хейуорда; его толкало на это озорство, приводившее в отчаяние его друзей в Кембридже (штат Массачусетс). Он принимал своих молодых людей с изысканной любезностью и усаживал их в самые удобные кресла. Сам он не пил, но с предупредительностью, в которой Филип чувствовал иронию, ставил возле Хейуорда парочку бутылок пива и упорно зажигал ему спички всякий раз, когда у того в пылу спора гасла трубка. В начале знакомства Хейуорд — воспитанник знаменитого университета в Кембридже — относился к Уиксу, окончившему всего-навсего Гарвардский университет, покровительственно; однажды, когда разговор коснулся греческой трагедии — предмета, в котором Хейуорд считал себя знатоком, — он принял важный вид и заговорил поучающим тоном. Уикс скромно его выслушал, вежливо улыбаясь; потом задал один или два безобидных на первый взгляд, но коварных вопроса; Хейуорд ответил с маху, не заметив расставленной ловушки; Уикс учтиво возразил, потом внес фактическую поправку, привел цитату из малоизвестного латинского комментария, сослался на один из немецких авторитетов — и выяснилось, что он человек глубоко сведущий в этом

вопросе. Со спокойной улыбкой, словно извиняясь, он не оставил камня на камне от рассуждений Хейуорда и с утонченной вежливостью доказал его дилетантизм. Он издевался над своим собеседником с мягкой иронией, и Филипу поневоле пришлось признать, что Хейуорд остался в дураках, а у того не хватило здравого смысла молчать: выйдя из себя, но не утратив самонадеянности, он пытался продолжать спор и понес страшную дичь, Уикс дружелюбно стал его поправлять; Хейуорд цеплялся за ошибочные суждения, а Уикс доказывал их бессмысленность. Наконец Уикс признался, что преподавал в Гарварде греческую литературу. Хейуорд презрительно рассмеялся.

— Так я и думал, — сказал он. — Поэтому вы и читаете греков, как школяр. А я — как поэт.

— И вы считаете, что греческая литература становится более поэтичной, если не понимать ее смысла? А я-то думал, что только в Апокалипсисе неточное толкование подчас улучшает смысл.

В конце концов, допив пиво, Хейуорд покинул комнату Уикса разгоряченный и растрепанный; сердито махнув рукой, он сказал Филипу:

— Этот тип — просто педант. Он ничего не смыслит в прекрасном. Точность украшает только конторщика. Важно постичь дух древних греков. Уикс похож на оболтуса, который пошел на концерт Рубинштейна, а потом жаловался, что тот берет фальшивые ноты. Фальшивые ноты! Какое это имеет значение, если он играет божественно?

Филипу, не знавшему, сколько невежд утешало себя этими фальшивыми нотами, слова Хейуорда показались вполне убедительными.

Хейуорд никак не мог удержаться от попытки вернуть потерянные позиции, и Уикс без труда вовлекал его в спор. И, хотя Хейуорд не мог не видеть, как ничтожны его знания по сравнению с ученостью американца, его английская твердолобость и болезненное тщеславие (что, может быть, одно и то же) не позволяли ему отказаться от борьбы. Хейуорду будто нравилось демонстрировать свою безграмотность, сомнение и упрямство. Когда он изрекал какую-нибудь несурзность, Уикс кратко доказывал ошибочность его рассуждений, делал небольшую паузу, чтобы насладиться победой, а затем спешил перейти к другой теме, словно христианское милосердие повелевало ему щадить

поверженного противника. Иногда Филип пытался вставить словечко, чтобы выручить друга; Уикс легко его сбивал, но отвечал очень мягко, совсем не так, как Хейуорду, — даже Филип со своей болезненной обидчивостью не мог почувствовать себя задетым. Временами Хейуорд, сознавая, что все чаще и чаще остается в дураках, терял спокойствие; тогда он говорил грубости, и только неизменная вежливость американца не давала превратить спор в открытую ссору. Покинув комнату Уикса, Хейуорд ворчал сквозь зубы:

— Проклятый янки!

Он верил, что последнее слово осталось за ним. Это был лучший ответ на все неопровержимые доводы противника.

Хотя беседы в маленькой комнате Уикса начинались с самых разнообразных предметов, в конечном счете они всегда переходили на религию: для студента-теолога она представляла профессиональный интерес, а Хейуорд был рад всякой теме, которая не требовала знания грубых фактов; когда мерилom служит чувство, вам наплевать на логику, и это очень удобно, если вы не в ладах с логикой. Хейуорду трудно было изложить Филипу свой символ веры без помощи целого потока слов; выяснилось, однако, что он воспитан в духе законной англиканской церкви (так же как, впрочем, и Филип). Правда, Хейуорда все еще привлекал католицизм, хотя он и отказался от мысли перейти в эту веру. Он не переставал его восхвалять, сравнивая пышные католические обряды с простыми богослужениями протестантов. Он дал прочесть Филипу «Апологию» Ньюмена, и хотя Филип нашел ее прескучной, но все-таки дочитал до конца.

— Читайте эту книгу ради стиля, а не ради содержания, — сказал Хейуорд.

Он восторгался музыкой ораторианцев¹ и высказывал остроумные догадки о связи между набожностью и лада-ном. Уикс слушал его с ледяной улыбкой.

— Вы думаете, если Джон-Генри Ньюмен хорошо писал по-английски, а кардинал Мэннинг обладал представительной внешностью, это доказывает правоту католической религии? — спросил он.

¹ Одна из католических конгрегаций, основанная в Англии в XVI веке.

Хейуорд намекнул, что вопросы веры стоили ему немало душевных мук. Целый год он блуждал в беспросветном мраке. Проведя рукой по своим светлым вьющимся волосам, он заявил, что даже за пятьсот фунтов стерлингов не согласился бы снова пережить такую моральную пытку. К счастью, он наконец обрел покой.

— Но во что же вы верите? — спросил Филип, которого никогда не удовлетворяли туманные намеки.

— Я верю в Здоровье, Пользу и Красоту, — с важным видом изрек Хейуорд; его крупное, ладное тело и гордо посаженная голова выглядели очень картинно.

— Так вы и определили бы вашу религию во время переписи? — мягко осведомился Уикс.

— Ненавижу точные определения: они так безобразно прямолинейны. Если хотите, я могу сказать, что моя религия — это религия герцога Веллингтона и мистера Гладстона.

— Но это же и есть англиканская церковь, — вставил Филип.

— О мудрый юноша! — возразил Хейуорд с улыбкой, заставившей Филипа покраснеть: тот почувствовал, что сказал пошлость, выразив обыденными словами сложную метафору собеседника. — Да, я принадлежу к англиканской церкви. Но я люблю золото и шелка, в которые облачен католический священник, меня привлекают обет безбрачия, исповедальня и чистилище; в таинственном полумраке итальянского собора, пропитанном ладаном, я всей душой верю в таинство пресуществления. В Венеции я видел одну рыбачку — она босиком вошла в церковь и упала на колени перед мадонной; бросив корзину с рыбой, она стала молиться; да, вот это была подлинная вера, и я молился и верил вместе с этой женщиной. Но я верю также и в Афродиту, и в Аполлона, и в великого бога Пана.

У Хейуорда был бархатный голос; он говорил, выбирая слова и словно скандируя. Он бы говорил еще, но Уикс откупорил вторую бутылку пива.

— Выпейте лучше, — сказал он.

Хейуорд обратился к Филипу с тем слегка снисходительным жестом, который производил неотразимое впечатление на юношу.

— Теперь вы удовлетворены? — спросил он.

Сбитый с толку, Филип признал, что он удовлетворен.

— Жаль, что вы не добавили сюда немножечко буддизма, — сказал Уикс. — Сам я, сознаюсь, испытываю некую склонность к Магомету; обидно, что вы его обошли.

Хейуорд рассмеялся; в тот вечер он был настроен благодушно, отзвук округлых фраз все еще приятно отдавался у него в ушах. Он опорожнил свой стакан.

— Я и не ожидал, что вы меня поймете, — ответил он. — Вы с вашим холодным американским рассудком можете меня только осудить. Вы ведь бредите Эмерсоном и тому подобное. Но что такое осуждение? Это чисто разрушительное начало; разрушать может каждый, но не каждый может созидать. Вы, дорогой мой, педант. Созидание — вот что важнее всего, а я — созидатель, я — поэт.

Уикс глядел на Хейуорда как будто серьезно, но глаза его весело смеялись.

— Не обижайтесь, но мне кажется, что вы чуть-чуть опьянели.

— Самую малость, — бодро ответил Хейуорд. — Далеко не достаточно для того, чтобы вы могли победить меня в споре. Но, послушайте, я раскрыл вам свое сердце; теперь скажите, в чем ваша вера.

Уикс склонил голову набок, словно воробей на жердочке.

— Я раздумываю об этом уже много лет. Кажется, я — унитарий¹.

— Но ведь они же сектанты, — сказал Филип.

Он так и не понял, почему оба они расхохотались — Хейуорд раскатисто, а Уикс, потешно пофыркивая.

— А в Англии сектантов не считают джентльменами? — спросил Уикс.

— Что же, если вы спросите моего мнения, они и в самом деле не джентльмены, — сердито ответил Филип.

Он терпеть не мог, когда над ним смеялись, а они засмеялись снова.

— А вы мне объясните, пожалуйста, что такое джентльмен, — сказал Уикс.

— Ну, как вам сказать... кто же этого не знает?

— Ну, вот вы — джентльмен?

На этот счет у Филипа никогда не было сомнений, но он знал, что о себе так говорить не полагается.

¹ Унитарии — протестантская секта, исповедующая Бога в одном, а не в трех лицах.

— Если кто-нибудь сам называет себя джентльменом, можно держать пари, что он им никогда не был, — возразил он.

— А я джентльмен?

Правдивость мешала Филипу прямо ответить на этот вопрос, но он был от природы вежлив.

— Вы совсем другое дело, — сказал он. — Вы же американец.

— Значит, мы пришли к выводу, что джентльменами могут быть только англичане? — совершенно серьезно произнес Уикс.

Филип не стал возражать.

— А вы не можете мне назвать еще какие-нибудь отличительные признаки джентльменства? — спросил Уикс.

Филип покраснел, но, все больше сердясь, уже не думал о том, что выставляет себя на посмеище.

— Могу назвать их сколько угодно. «Нужно три поколения, чтобы создать одного джентльмена», — говорил его дядя; это было его любимой поговоркой, так же как и «не суйся с суконным рылом в калашный ряд». Во-первых, для этого надо быть сыном джентльмена, затем надо окончить одно из закрытых учебных заведений, а потом Оксфорд или Кембридж...

— Эдинбургский университет, верно, не подойдет? — ввернул Уикс.

— И еще для этого надо говорить по-английски, как джентльмен, и одеваться как следует, и уметь отличать джентльмена от неджентльмена...

Чем дальше Филип говорил, тем менее убедительным все это казалось ему самому, но ничего не поделаешь: именно это он и подразумевал под словом «джентльмен», да и все, кого он знал, подразумевали под этим словом то же самое.

— Теперь мне ясно, что я не джентльмен, — сказал Уикс. — Непонятно, почему же вы так удивились, что я сектант.

— Я плохо себе представляю, что такое унитарий, — сказал Филип.

Уикс по привычке снова склонил голову набок: казалось, он вот-вот зачирикает.

— Унитарий совсем не верит в то, во что верят другие, зато он горячо верит неизвестно во что.

— Зачем вы надо мной смеетесь? — спросил Филип. — Мне в самом деле хотелось бы знать, что такое унитарий.

— Дорогой друг, я вовсе над вами не смеюсь. Я пришел к этому определению после долгих лет упорного труда и напряженных, мучительных раздумий.

Когда Филип и Хейуорд встали, чтобы разойтись по своим комнатам, Уикс протянул Филипу небольшую книгу в бумажной обложке.

— Вы, кажется, уже бегло читаете по-французски. Надеюсь, это вам доставит удовольствие. Филип поблагодарил и, взяв книгу, посмотрел на ее заглавие. Это была «Жизнь Иисуса» Ренана.

ГЛАВА 28

Ни Хейуорду, ни Уиксу и в голову не приходило, что беседы, помогавшие им скоротать вечер, служили потом Филипу пищей для бесконечных размышлений. Он раньше и не подозревал, что религия может стать предметом обсуждения. Для него религия — это англиканская церковь, а неверие в ее догматы свидетельствовало о непокорности, за которую полагалась неизбежная кара — либо здесь, либо на том свете. Он, правда, питал кое-какие сомнения насчет наказания неверных. Не исключена была возможность, что всевышний судия, ввергнув в геенну огненную язычников — магометан, буддистов и прочих, — смилостивится над сектантами и католиками (зато как они будут унижены, поняв свои заблуждения!); допустимо было, что он окажет милосердие и тем, кто не имел возможности познать истину, хотя миссионерские общества развернули такую деятельность, что мало кто мог сослаться на свое невежество. Но, если у человека была возможность присоединиться к истинной вере и он ею пренебрег (а к этой категории все же принадлежали и католики и сектанты), — тогда кара была неизбежной и заслуженной. Еретик явно был в незавидном положении. Может быть, Филипа и не учили всему этому дословно, но ему внушили убеждение, что только последователи англиканской церкви могут питать твердую надежду на вечное блаженство.

И уж во всяком случае, Филипу говорили не таясь, что всякий неверующий — человек злой и порочный. А Уикс, хотя и вряд ли верил в то, во что верил Филип, вел

непорочную жизнь истинного христианина. Филипп редко чувствовал к себе участие, и его трогала готовность американца протянуть ему руку помощи; однажды, когда Филипп простудился и три дня пролежал в постели, Уикс ухаживал за ним, как родная мать. В нем не было ни злобы, ни пороков, а одна лишь душевность и доброта сердечная. Значит, можно было быть добродетельным и в то же время неверующим.

Филиппу внушали, что люди исповедуют другие религии из чистого упрямства или же из корысти: в душе своей они знают, что вера их — ложная, но умышленно пытаются совратить других. Изучая немецкий язык, он в воскресные дни посещал лютеранские богослужения, а после приезда Хейуорда стал ходить вместе с ним к обедне. Филипп заметил, что протестантская церковь всегда пустовала и ее прихожане слушали богослужение с рассеянным видом, зато католический храм был переполнен и паства, казалось, молилась от всей души. И она вовсе не походила на собрание лицемеров. Это его удивляло: ведь он твердо знал, что лютеране, чья религия сродни англиканской, были ближе к истине, чем католики. Большинство католиков — среди них преобладали мужчины — были уроженцами Южной Германии; Филипп вынужден был признать, что, родись он сам в Южной Германии, он тоже, наверное, был бы католиком. А ведь он легко мог родиться в католической стране, а не в Англии, он мог бы появиться на свет в баптистской или методистской семье, а не в семействе, которое, к счастью, принадлежало к государственной церкви. У него даже дух захватывало, когда он думал об опасности, которой так счастливо избежал. Филипп сдружился с маленьким китаец, с которым дважды в день сидел за столом. Его звали Сун. Он постоянно улыбался, был приветлив и вежлив. Странно было подумать, что ему суждено жариться в аду только потому, что он китаец. Если же спасение было возможно независимо от того, к какой религии человек принадлежит, в чем тогда преимущество англиканской церкви?

Совершенно запутавшись, Филипп обратился к Уиксу. С ним надо было соблюдать осторожность — Филипп так боялся насмешек; к тому же едкая ирония, с которой американец относился к англиканской церкви, приводила его в замешательство. Но Уикс только озадачил его еще больше. Он заставил Филиппа признать, что немцы из Южной

Германии были столь же твердо убеждены в истинности римско-католической веры, как сам он — в англиканской; отсюда Уикс логически привел Филипа к мысли, что магометане и буддисты тоже искренне верят по-своему. Следовательно, убеждение в своей правоте еще ничего не доказывает: все убеждены в своей правоте. Уикс не имел намерения подрывать веру юноши, но он питал глубокий интерес к религии и считал ее увлекательной темой для беседы. Он говорил правду, утверждая, что самым искренним образом не верит почти ничему, во что верят другие. Однажды Филипп задал ему вопрос, который слышал от дяди, когда в доме священника зашла речь об одной умеренно рационалистической книге, о которой тогда спорили в газетах:

— Но почему же правы именно вы, а не такие люди, как Святой Ансельм или Святой Августин?

— Вы намекаете на то, что они были люди мудрые и ученые, тогда как обо мне вы бы этого не могли сказать?

— Да, — подтвердил Филипп неуверенно, поскольку поставленный таким образом вопрос звучал дерзко.

— Святой Августин полагал, что Земля плоская и что Солнце вертится вокруг Земли.

— Ну, в что же это доказывает?

— А то, что каждый верит вместе со своим поколением. Ваши святые жили в религиозный век, когда люди верили даже тому, что сейчас нам кажется совершенно неправдоподобным.

— Тогда откуда же вы знаете, что теперь мы постигли истину?

— Я этого не знаю.

Филипп подумал, а потом сказал:

— Может, то, во что мы твердо верим сейчас, так же ошибочно, как и то, во что они верили в свое время?

— Вполне возможно.

— Тогда как же можно верить во что бы то ни было?

— Не знаю.

Филипп спросил Уикса, что он думает о религии Хейурда.

— Люди всегда создавали себе богов по собственному образу и подобию, — ответил Уикс. — Хейурд верит в красивенькое.

Наступило молчание.

— Не знаю, почему вообще нужно верить в Бога, — вдруг сказал Филип.

Едва успел он это произнести, как понял, что больше не верит. У него захватило дух, как будто он прыгнул в холодную воду. Он испуганно посмотрел на Уикса. Им овладел страх. Он поторопился уйти. Ему захотелось побыть одному. Это было самое сильное потрясение, какое он когда-либо пережил. Он старался додумать все до конца; он был очень взволнован — ведь на карту поставлена вся его жизнь (ему казалось, от этого зависит его будущее), а ошибка могла навеки отдать его во власть дьявола. Но, чем больше он размышлял, тем глубже становилось его неверие; в последующие недели он с жадностью набросился на книги, укреплявшие его сомнения, но они лишь повторяли то, что он уже и сам почувствовал. Собственно говоря, он перестал верить не по какой-то определенной причине, а просто потому, что склад характера у него не был религиозный. Веру ему навязали извне. Она была внушена ему окружающей обстановкой и людьми. Новая обстановка и новые люди помогли ему обрести самого себя. Он расстался с верой своего детства совсем просто, сбросил ее с плеч, как сбрасывают ненужный больше плащ. Без веры, которая, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, все же служила ему постоянной опорой, жизнь сперва показалась ему неприятной и одинокой. Он чувствовал себя как привыкший опираться на палку человек, у которого ее вдруг отняли. Даже дни стали как будто холоднее, а ночи тоскливее. Но душевный подъем придавал ему силы; жизнь стала теперь куда более интересной, а скоро и отнятая палка и скинутый плащ показались ему невыносимым бременем. Религиозные обряды, которые он столько лет выполнял, были для него неотделимы от религии. Он вспоминал, сколько молитв и посланий ему приходилось зубрить наизусть; томительные богослужения в соборе, во время которых каждый мускул ныл от желания встать и размяться; грязную ночную дорогу в приходскую церковь Блэкстебла и стужу, стоявшую в этом унылом здании, — у него коченели ноги и немели от холода пальцы, а кругом стоял тошнотворный запах помады. Ох, как ему было скучно! Сердце его колотилось от радости при мысли о том, что он свободен от всего этого навсегда.

Его удивляло, с какою легкостью он простился с верой, и, не зная, что это было лишь проявлением его «я»,

приписывал происшедшую в нем перемену своему здравому смыслу. Он возгордился не в меру. С юношеской нетерпимостью он презирал Уикса и Хейуорда за то, что те цеплялись за туманное ощущение чего-то, что они звали Богом, и не могли решиться на последний шаг, казавшийся ему теперь таким простым. Однажды он в одиночестве взобрался на один из окрестных холмов, чтобы полюбоваться знакомым видом, который, неизвестно почему, всегда наполнял его восторгом. Наступила осень, но дни еще стояли безоблачные, и небо сияло ослепительным светом — словно природа хотела излить всю свою страсть сполна в последние погожие дни. Он глядел вниз, на простертую под ним, мерцающую в лучах солнца долину: вдалеке видны были крыши Маннгейма, а совсем на горизонте, как в тумане, — Вормс. То там, то тут жарко вспыхивали воды Рейна. Весь бескрайний простор сверкал чистым золотом. Стоя на холме, с бьющимся от радости сердцем, Филип подумал о том, как искушитель стоял на вершине рядом с Иисусом и показывал ему царства земные. Опьяневшему от красоты Филипу чудилось, что перед ним раскинулся весь мир, и он жаждал сойти к нему и насладиться им. Он был свободен от унижительной боязни Божьего Суда и от предрассудков. Он мог идти своей дорогой, не страшась геенны огненной. И вдруг он понял, что сбросил с себя тяжкое бремя ответственности, придававшей значительность каждому его поступку. Ему дышалось свободнее, да и самый воздух стал легче. За все свои поступки он отвечал теперь только перед самим собой. Свобода! Наконец-то он действительно стал сам себе хозяином. И по старой привычке он возблагодарил Бога за то, что перестал в него верить.

Охмелев от сознания собственной зрелости и бесстрашия, Филип решил начать новую жизнь. Но утрата веры меньше отразилась на его поступках, чем он ожидал. Хотя он и отбросил христианские догматы, но и не думал отрицать христианскую мораль: ему были по душе христианские добродетели, и он хотел следовать им, не помышляя о награде или наказании. В доме фрау профессорши трудно было найти повод для проявления героизма, но он стал еще правдивее, чем прежде, и заставлял себя быть особенно внимательным к скучным, перезрелым дамам, порою затевавшим с ним беседу. Он тщательно избегал крепких словечек и даже вполне цензурной и принятой в Англии ругани,

которой прежде злоупотреблял, чтобы показать, какой он взрослый.

Разреши́в этот мучительный вопрос к полному своему удовольствию, он решил выбросить его из головы, что легче было сказать, чем сделать; порой его терзали сожаления, которые он не в силах был подавить, и страхи, от которых трудно было отделаться. Он был так молод и у него было так мало друзей, что бессмертие не очень его манило, и он мог расстаться с верой в него без сожалений; но одна мысль делала его глубоко несчастным: он ругал себя за безрассудство, смеялся над своей сентиментальностью, но слезы и впрямь выступали у него на глазах, когда он думал о том, какая красивая была у него мать, а он ее никогда уже больше не увидит, хотя любовь ее становилась для него с каждым годом все дороже и нужнее. Иногда в нем просыпался голос множества набожных и богобоязненных предков, и его охватывал панический страх: а что, если все, чему его учили, все-таки правда и где-то там, в синих небесах, сидит ревнивый Бог, карающий вечным пламенем безбожников? В такие минуты рассудок был бессилён ему помочь: он живо представлял себе весь ужас физических страданий, которым не будет конца; он слабел от страха и покрывался холодным потом. Тогда он твердил себе в полном отчаянии:

«В конце концов я не виноват. Не могу же я насильно заставить себя верить! Если Бог все-таки есть и он накажет меня за то, что я искренне перестал в него верить, — тут уж ничего не поделаешь».

ГЛАВА 29

Настала зима. Уикс уехал в Берлин слушать лекции Паульсена, а Хейуорд стал подумывать об отъезде на юг. Местный театр начал давать представления. Филип и Хейуорд посещали их два-три раза в неделю с похвальным намерением усовершенствоваться в немецком языке; Филип нашел, что это куда более приятный способ изучать язык, чем слушая проповеди. Начинался расцвет новой драмы. В репертуаре было несколько пьес Ибсена; «Честь» Зудермана — тогда еще новинка — взбудоражила тихий университетский городок; одни ее непомерно хвалили, другие ожесточенно ругали; прочие драматурги тоже писали в новом духе, и Филип увидел ряд спектаклей, разоблачавших

человеческую низость. До сих пор Филип никогда не бывал в театре (в Блэкстебл иногда заглядывали жалкие странствующие труппы, но священник не посещал спектаклей, боясь осквернить свой сан и считая театр зрелищем для черни); теперь юноша страстно увлекся сценой. Переступая порог маленького, убогого, плохо освещенного театрлика, он испытывал трепет. Вскоре он уже хорошо знал небольшую труппу и по распределению ролей мог заранее угадать характеры действующих лиц, но это его не смущало. Для него на сцене шла подлинная жизнь. Жизнь странная, мрачная и мучительная, в которой мужчины и женщины показывали безжалостному взору зрителя все зло, которое таилось у них в душе: за красивой внешностью гнездились разврат; добродетель служила маской для тайных пороков; люди, казалось бы, мужественные трепетали от малодушия; честные были продажными, целомудренные — похотливыми. Вас словно приводили в комнату, где прошлой ночью шла оргия; окна с утра еще не открывались, воздух был пропитан запахом прокисшего пива, табака и светильного газа. Тут было не до смеха. Разве изредка усмехнешься над участью глупца или лицемера. Герои изъяснялись жестокими словами, — казалось, они исторгнуты из их сердец стыдом и страданиями. Филипа увлекали эти низменные страсти. Он словно видел мир заново, по-другому, и ему не терпелось познать этот мир. После спектаклей они заходили с Хейуордом в пивную, где были свет и тепло, они съедали по бутерброду, запивая его стаканом пива. Кругом сидели, болтая и смеясь, компании студентов, а за некоторыми столиками — целые семьи: отец, мать, сыновья и дочь; порою дочь отпускала острое словцо, и отец откидывался на стуле, хохоча от души. Все тут выглядело мило и безобидно, дышало каким-то домашним уютом, но Филип не замечал ничего вокруг. Мысли его все еще были поглощены спектаклем.

— Ведь это и есть жизнь, правда? — говорил он возбужденно. — Знаете, я, кажется, не могу здесь дольше оставаться. Хочется уехать в Лондон и жить по-настоящему. Хочется испытать все. Мне так надоело готовиться к жизни — пора наконец начать жить.

Иногда Хейуорд предоставлял Филипу добираться до дому одному. Он никогда толком не отвечал на жадные расспросы Филипа, отделяваясь глуповатым смешком и

намекая на какую-то любовную интрижку; цитировал строчки Россетти и как-то показал Филипу сонет, в котором поминались страсть и багрец, меланхолия и пафос, — и все это посвящалось некой молодой даме по имени Труда. Хейуорд любил окружать свои пошлые, незамысловатые похождения ореолом поэзии, воображая, будто ничем не уступает Периклу и Фидию, раз называет свою подружку греческим «hetaira», а не более грубым и точным английским словом. Однажды днем любопытство привело Филипа в переулок возле старого моста, застроенный опрятными белыми домиками с зелеными ставнями, где, по словам Хейуорда, жила его Труда; но из дверей выглядывали женщины с хищными лицами и накрашенными щеками и зазывали его. Филипа охватил страх, и он в ужасе бежал от их грубых и цепких объятий. Ему так хотелось познать жизнь, что он чувствовал смешным, не испытав еще в свои годы того, что, как писали в книгах, было самым важным в человеческой жизни; но, обладая злосчастным даром видеть вещи такими, какие они есть, он отступал перед действительностью, которая так резко отличалась от его идеала.

Он еще не знал, какую бескрайнюю, каменистую, полную опасности пустыню приходится преодолеть путешественнику по жизни, прежде чем он придет к примирению с действительностью. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, — иллюзия тех, кто давно расстался с юностью; молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Молодежи начинает казаться, что она стала жертвой какого-то заговора: книги, подобранные для них взрослыми, где все так идеализировано, разговоры со старшими, которые видят прошлое сквозь розовую дымку забвения, — все это готовит их к жизни, совсем не похожей на действительность. Молодым приходится открывать самим, что все, о чем они читали и о чем им твердили, — ложь, ложь и ложь; а каждое такое открытие — еще один гвоздь, пронизывающий юное тело, распятое на кресте человеческого существования. Удивительнее всего, что тот, кто сам пережил горькое разочарование, в свою очередь, помимо воли, поддерживает лживые иллюзии у других. Для Филипа не могло быть ничего вреднее дружбы с Хейуордом. Это был человек, который не видел жизни

своими глазами, а постигал ее только через книги и был вдвойне опасен тем, что убедил себя в своей искренности. Он непритворно принимал свою похоть за возвышенные чувства, слабодушие — за непостоянство артистической натуры, лень — за философское спокойствие. Ум его, пошлый в своих потугах на утонченность, воспринимал все в чуть-чуть преувеличенном виде, расплывчато, сквозь позолоченный туман сентиментальности. Он лгал, не зная, что лжет, а когда другие в этом его упрекали, говорил, что ложь прекрасна. Словом, он был идеалист.

ГЛАВА 30

Филип потерял покой. Намеки Хейуорда смутили его воображение; душа его жаждала романтики.

Так он, по крайней мере, себя уверял.

К тому же в доме фрау Эрлин произошло событие, которое еще больше разожгло его интерес к женщине. Бродя по холмам в окрестностях города, он несколько раз встречал фрейлейн Цецилию — она гуляла в одиночестве. Поклонившись, он шел дальше и в нескольких шагах от нее встречал китайца. Филип не придавал этому значения, но однажды вечером, когда уже стемнело, он обогнал по пути домой две фигуры, которые шли, тесно прижавшись друг к другу. Услышав его шаги, они быстро стпрянули в разные стороны, и, хотя в темноте нельзя было их разглядеть, он узнал Цецилию и Суна. Их поспешное движение говорило о том, что раньше они шли под руку. Филип был озадачен. Он никогда не обращал внимания на фрейлейн Цецилию. Это была невзрачная девушка с грубыми чертами лица. Ей не могло быть больше шестнадцати, ее длинные светлые волосы все еще были заплетены в косу. В тот вечер за ужином он посмотрел на нее с любопытством; последнее время фрейлейн Цецилия была не очень разговорчива за столом, но на этот раз обратилась к нему с вопросом:

— Где вы сегодня гуляли, герр Кэри?

— Я поднимался на Кенигсштуль.

— А я вот никуда не выходила, — почему-то сообщила она. — У меня болела голова.

Сидевший рядом с ней китаец повернул голову.

— Какая жалость, — сказал он. — Надеюсь, вам сейчас лучше?

Фрейлейн Цецилии было явно не по себе, она снова заговорила с Филипом.

— А по дороге вы встречали много народу?

Как и всегда, когда ему приходилось лгать, Филип густо покраснел.

— Нет, я не встретил ни души.

Ему показалось, что она вздохнула с облегчением.

Вскоре, однако, всем стало ясно, что между этими двумя существует какая-то близость: обитатели дома фрау профессорши стали замечать, как они шепчутся в темных углах. Престарелые дамы, сидевшие во главе стола, принялись обсуждать назревающий скандал. Фрау профессорша сердилась и нервничала. Она из всех сил делала вид, что ничего не замечает. Близились зима, и найти пансионеров было не так легко, как летом. Герр Сун был хорошим жильцом: он занимал две комнаты в первом этаже и за обедом выпивал бутылку мозельского. Профессорша брала с него по три марки за бутылку и неплохо на этом зарабатывала. Никто из других гостей не пил вина, а многие не пили даже пива. Не хотелось ей терять и фрейлейн Цецилию, чьи родители имели торговое дело в Южной Америке и хорошо оплачивали материнские заботы фрау профессорши; стоит ей написать о том, что происходит, дяде девушки, живущему в Берлине, и он немедленно увезет Цецилию. Фрау профессорша ограничилась тем, что за столом бросала на парочку суровые взгляды и, не смея грубить китайцу, отводила душу, грубя Цецилии. Но трем престарелым дамам этого было мало. Две из них были вдовами, а третья, голландка по национальности, — мужеподобной старой девой; они платили за пансион гроши, а хлопот доставляли хоть отбавляй, но зато были постоянными жиличками, и с ними приходилось считаться. Они явились к фрау профессорше и заявили, что необходимы какие-то меры; дело принимало неприличный оборот, и пансион мог приобрести дурную славу. Фрау профессорша пыталась упорствовать, сердиться, пустила в ход слезы, но три старые дамы одержали верх; почувствовав наконец прилив благородного негодования, фрау профессорша заявила, что сумеет положить этому конец.

После обеда она увела Цецилию к себе в спальню, чтобы серьезно с ней поговорить; к ее удивлению, девушка держалась вызывающе; она намерена вести себя так, как ей

вздумается, и, если ей угодно ходить на прогулки с китайцем, кому какое дело? Фрау профессорша пригрозила написать дяде.

— Ну что ж, Onkel Heinrich¹ поместит меня на зиму в какой-нибудь семейный дом в Берлине, для меня это будет даже лучше. А герр Сун тоже переедет в Берлин.

Фрау профессорша расплакалась; слезы катились по ее шершавым, красным жирным щекам, а Цецилия только смеялась.

— Это значит, что зимой у вас будут пустовать три комнаты, — сказала она.

Тогда фрау профессорша решила применить другой метод. Она возвала к лучшим чувствам фрейлейн Цецилии; она стала доброй, рассудительной, терпимой; она говорила с девушкой не как с ребенком, а как со взрослой женщиной. Она сказала, что все это не выглядело бы так страшно, если бы он не был китайцем — подумать только, мужчина с желтой кожей, плоским носом и маленькими пороссячьими глазками! Вот что ужасно. Даже подумать противно!

— Bitte, bitte², — сказала Цецилия, немножко задыхаясь. — Я не желаю слушать о нем гадости.

— Но это же не серьезно? — ахнула фрау Эрлин.

— Я люблю его. Люблю его. Люблю его.

— Gott im Himmel!³

Фрау профессорша растерянно на нее уставилась; она-то думала, что это детский каприз, невинное увлечение, но страсть, звучавшая в голосе девушки, выдавала ее с головой. Цецилия поглядела на нее пылающим взглядом, а потом, передернув плечами, вышла из комнаты.

Фрау Эрлин никому не обмолвилась ни словом о подробностях этой беседы, но спустя день или два пересаживала всех за столом. Герра Суна она попросила сесть рядом с собой, и тот сразу же согласился со свойственной ему вежливостью. Цецилия приняла этот новый распорядок равнодушно. Но, убедившись, что их отношения все равно известны, они словно совсем лишились стыда: перестали держать в секрете свои прогулки и каждый день после обеда отправлялись в горы. Им было безразлично, что о них

¹ Дядя Генрих (нем.).

² Прошу вас, прошу вас (нем.).

³ Владыка небесный! (нем.).

говорят. В конце концов даже профессор Эрлин потерял свою невозмутимость и настоял на том, чтобы его жена поговорила с китайцем. Она увела его к себе и принялась увещевать: он-де губит репутацию девушки, наносит урон всему дому, он и сам должен видеть, как предосудительно себя ведет. Но китаец улыбался и все отрицал; герр Сун ведать не ведал, о чем она толкует, он и не думал ухаживать за фрейлейн Цецилией, он никогда не ходил с ней гулять; все, что она рассказывает, — неправда, все до последнего слова.

— Ах, герр Сун, как вы можете так говорить? Вас столько раз видели вместе.

— Нет, вы ошибаетесь. Это неправда.

Он глядел на нее, не переставая улыбаться, показывая ровные белые зубки. Он был безмятежно спокоен. И продолжал все отрицать, отрицать с вежливым бесстыдством. В конце концов фрау профессорша вышла из себя и сказала, что девушка призналась, что любит его. Это на него несколько не подействовало. Он по-прежнему улыбался!

— Чепуха! Чепуха! Все это неправда.

Фрау профессорша так ничего и не добилась. Тем временем испортилась погода: выпал снег, начались заморозки, а потом наступила оттепель и потянулась вереница безрадостных дней — прогулки перестали доставлять удовольствие. Однажды вечером после немецкого урока с профессором Филип задержался на минуту в гостиной, болтая с фрау Эрлин; в комнату торопливо вошла Анна.

— Мама, где Цецилия? — спросила она.

— Наверное, в своей комнате.

— Там темно.

Фрау профессорша вскрикнула и с тревогой поглядела на дочь. Ей пришла в голову та же мысль, что и Анне.

— Позвони Эмилю, — произнесла она охрипшим от волнения голосом.

Эмиль был тот увалень, который прислуживал за столом и выполнял почти всю работу по дому. Он явился.

— Эмиль, ступай в комнату герра Суна, войди туда без стука. Если там кто-нибудь есть, скажи, что ты пришел затопить печку.

Флегматичное лицо Эмиля не выразило удивления.

Не спеша, он спустился по лестнице. Фрау профессорша и Анна оставили двери открытыми и стали ждать. Вскоре

они слышали, что Эмиль возвращается навверх, и позвали его.

— Там кто-нибудь есть? — спросила фрау профессорша.

— Да, герр Сун у себя.

— А он один?

Рот слуги растянулся в плутоватой улыбке.

— Нет, у него фрейлейн Цецилия.

— Какой срам! — вскричала фрау профессорша.

Эмиль широко осклабился.

— Фрейлейн Цецилия каждый вечер там. Она не выходит от него часами.

Фрау профессорша принялась ломать руки.

— Какой ужас! Почему же ты мне ничего не сказал?

— А мне-то какое дело? — ответил он, спокойно пожимая плечами.

— Наверное, они хорошо тебе заплатили. Пошел вон. Ступай.

Он неуклюже затопал к двери.

— Мама, они должны уехать, — сказала Анна.

— А кто будет платить аренду? Скоро надо вносить налоги. Легко говорить: они должны уехать. Если они уедут, я не знаю, чем расплачиваться по счетам. — Она повернулась к Филипу, заливаясь слезами. — Ах, герр Кэри, не говорите никому ни слова. Если фрейлейн Фёрстер, — это была голландка, старая дева, — если фрейлейн Фёрстер об этом узнает, она немедленно съедет. А если все разъедутся, придется закрыть дом. Мне не на что будет его содержать.

— Разумеется, я ничего не скажу.

— Если она останется, я не буду с ней разговаривать, — заявила Анна.

Фрейлейн Цецилия вовремя пришла ужинать, но щеки ее были румянее обычного, а лицо выражало упрямство; герр Сун, однако, не показывался, и Филип уже решил, что он струсил. Наконец он пришел и, широко улыбаясь, извинился за опоздание. Как всегда, он заставил фрау профессоршу выпить бокал своего мозельского; он предложил вина и фрейлейн Фёрстер. Было жарко: печь топилась целый день, а окна открывали редко. Эмиль двигался по комнате, как медведь, но ухитрился прислуживать быстро и аккуратно. Три старые дамы сидели молча, всем своим видом выражая осуждение; фрау профессорша еще не успела прийти в себя, супруг ее был молчалив и озабочен. Беседа не клеилась.

Знакомые лица показались сегодня Филипу какими-то злобными, все словно преобразилось при свете двух висячих ламп; на душе у него была тревога. Встретившись взглядом с Цецилией, он прочел в ее глазах ненависть и вызов. Духота становилась невыносимой. Казалось, что плотская страсть этой пары волнует всех присутствующих, что самый воздух дышит похотью Востока, благовонными курениями, тайными пороками. Филип ощущал, как кровь пульсирует у него в висках. Он не мог понять охватившего его чувства: в нем было что-то томящее, но в то же время отталкивающее и страшное.

Так продолжалось несколько дней. Атмосфера была отравлена противоестественной страстью, нервы у всех были напряжены до предела. Один только герр Сун оставался невозмутимым; он так же улыбался и был таким же вежливым, как всегда трудно было сказать, что означало его поведение: торжество более высокой цивилизации или презрение Востока к побежденному Западу. Цецилия вела себя дерзко. В конце концов даже фрау профессорша не смогла этого долгие вынести. Профессор Эрлин с грубой прямоотой объяснил ей возможные последствия этой связи, протекавшей у всех на глазах; фрау профессорша пришла в ужас: она увидела, что неминуемый скандал погубит ее доброе имя и репутацию пансиона. Ослепленная погоней за наживой, она почему-то никогда не задумывалась над такой возможностью; теперь она совсем потеряла голову от страха, и ее с трудом удержали от того, чтобы она тут же не выбросила девушку на улицу. Только благодаря здравому смыслу Анны удалось предотвратить открытый скандал; было написано осторожное письмо берлинскому дядюшке: ему предлагали взять Цецилию к себе.

Но, решившись расстаться с двумя жильцами, фрау профессорша не смогла устоять пред искушением дать волю своему бешенству, которое она так долго сдерживала. Теперь-то она могла выложить Цецилии все, что у нее накопело.

— Я написала твоему дяде, Цецилия, чтобы он тебя забрал, — сказала она. — Я больше не могу держать тебя у себя в доме.

Ее маленькие круглые глаза засверкали, когда она заметила, как побледнела девушка.

— Стыда у тебя нет. Бесстыдница, — сказала она и стала осыпать девушку ругательствами.

— Что вы написали дяде Генриху? — спросила та, сразу же потеряв всю свою невозмутимость.

— Ну, знаешь, об этом он скажет тебе сам. Завтра я жду от него ответа.

На следующий день она объявила Цецилии за ужином, чтобы унизить ее перед всеми:

— Я получила от твоего дяди письмо. Ты сегодня же уложишь вещи, и наутро мы посадим тебя в поезд. Дядя встретит тебя в Берлине на Центральном вокзале.

— Хорошо.

Герр Сун улыбался госпоже профессорше, глядя ей прямо в глаза, и, невзирая на ее протесты, налил ей бокал вина. Фрау профессорша ела в тот вечер с завидным аппетитом. Но ее торжество было преждевременным. Ложась спать, она позвала слугу.

— Эмиль, если сундук фрейлейн Цецилии уложен, ты сейчас же снесешь его вниз. Носильщик придет за ним перед завтраком.

Слуга ушел, но сразу же вернулся.

— Фрейлейн Цецилии нет в комнате и ее чемодана тоже.

Фрау профессорша с воплем кинулась в комнату девушки: на полу стоял запертый и стянутый ремнями сундук, но чемодан исчез; исчезли также пальто и шляпа фрейлейн Цецилии. На туалетном столике было пусто. Тяжело дыша, фрау профессорша бросилась вниз, в комнаты китайца; лет двадцать ей не доводилось бегать так проворно; Эмиль кричал ей вдогонку, чтобы она поостереглась и не свалилась с лестницы. Она ворвалась к герру Суну без стука. Комнаты были пусты. Вещей его тоже не было, и раскрытая дверь в сад позволяла догадаться, как их вынесли. В конверте на столе лежали деньги за пансион и на оплату дополнительных расходов. Внезапно лишившись сил, фрау профессорша со стоном плюхнулась на диван. Сомнений не было. Парочка сбежала. Эмиль был бесстрастен и равнодушен, как всегда.

ГЛАВА 31

Хейуорд уже целый месяц твердил, что завтра уезжает на юг, но откладывал отъезд с недели на неделю: ему было лень собирать вещи, и его страшила дорожная скука; наконец под самое рождество его выжили приготовления к празднику, самая мысль об увеселениях этих тевтонов была

ему невыносима. Мороз продирает по коже, когда он думал об их шумном, горластом празднестве, и, стремясь от него улизнуть, он решил пуститься в путь в самый сочельник.

Его отъезд не опечалил Филипа: он был человек последовательный, и его раздражало, когда кто-нибудь не знал, чего он хочет. Хотя он и находился под сильным влиянием Хейуорда, он никак не мог согласиться с ним, что нерешительность — свидетельство тонкой душевной организации; его злила усмешка, с которой Хейуорд отлично писал письма и, зная за собой этот дар, не жалел на них сил. Он был восприимчив к красоте и в своих письмах из Рима умел передать тонкий аромат Италии. По его мнению, столица древних римлян была чуть-чуть вульгарна — эпоха упадка Римской империи была куда благороднее; но особенно близок был ему папский Рим, и в его изощренно-отточенных фразах оживала изысканная прелесть стиля рококо. Он писал о старинной церковной музыке и об Альбанских горах, о томлящем запахе ладана и о прелести ночных улиц в дождливую пору, когда мостовая блестит в таинственном свете уличных фонарей. Может быть, он переписывал свои изящные письма по несколько раз, адресуя их разным приятелям. Он не представлял себе, как волновали эти письма Филипа; жизнь стала казаться ему такой унылой. С наступлением весны Хейуорд стал изливаться в дифирамбах Италии. Он звал туда Филипа. Оставаться в Гейдельберге было пустой тратой времени. Немцы — люди грубые, а жизнь в Германии так тривиальна; можно ли обрести величие духа, глядя на чопорный ландшафт? В Тоскане весна пригоршнями рассыпала цветы, а Филипу всего девятнадцать лет; пусть он придет — они пойдут бродить по горным селениям Умбрии. Звучные итальянские слова отзывались в сердце Филипа. Цецилия и ее любовник тоже поехали в Италию. Вспоминая о них, Филип испытывал непонятное беспокойство. Он проклинал судьбу за то, что у него не было денег на путешествие: он знал, что дядя ни за что не пошлет ему больше пятнадцати фунтов в месяц, о которых они договорились. Да и эти деньги он тратил слишком-то разумно. Плата за пансион и за уроки поглощала их почти целиком, а общество Хейуорда обходилось ему недешево. Хейуорд часто подбивал его отправиться куда-нибудь подальше на прогулку, сходить в театр или предлагал распить бутылочку винца, когда деньги Филипа уже были истрачены;

юношеское легкомыслие не позволяло ему признаться приятелю, что он не может разрешить себе такую роскошь.

К счастью, письма Хейуорда приходили довольно редко, и в промежутках между ними Филип продолжал трудолюбиво заниматься. Он был принят в университет и ходил на лекции. Куно Фишер находился на вершине славы и читал в ту зиму блестящий курс о Шопенгауэре. Лекции Куно Фишера стали для Филипа введением в философию. Обладая практическим умом, он с трудом разбирался в абстракциях, но неожиданно почувствовал интерес к метафизике; порой у него захватывало дух: эти упражнения напоминали ему канатоходца, показывающего опасные трюки над пропастью, — так это было увлекательно. Пессимизм шопенгауэровской философии покорял его молодой ум; он поверил, что мир, в который он готов вступить, был юдолью безысходной скорби и мрака. Тем не менее он горел желанием вступить в этот мир, и, когда миссис Кэри написала ему по поручению опекуна, что пора возвращаться в Англию, он с радостью согласился. Теперь ему предстояло решить, кем он хочет стать. Если он уедет из Гейдельберга в конце июля, они смогут в августе обсудить его дела, а осенью он начнет устраиваться на новом поприще.

День его отъезда был уже назначен, когда он получил новое письмо от миссис Кэри. Она напомнила ему о мисс Уилкинсон, благодаря которой он попал в дом фрау Эрлин; мисс Уилкинсон собиралась погостить несколько недель в Блэкстебле. Она должна сесть на пароход во Флашинге в такой-то день, и если он тронется в путь одновременно с нею, то поможет ей в дороге и они приедут в Блэкстебл вместе. Застенчивость заставила Филипа сразу же написать, что он выедет не раньше чем через два дня после мисс Уилкинсон. Он представлял себе, как он будет ее разыскивать, как неловко ему будет подойти к незнакомой женщине и спросить, она это или не она (так легко было ошибиться и услышать в ответ грубость), как трудно будет решить в поезде, надо ли поддерживать с ней разговор или можно не обращать на нее внимания и читать книгу.

Наконец он простился с Гейдельбергом. Последние три месяца он думал только о будущем, а потому уезжал без сожаления. Он так и не понял, что был там счастлив. Фрейлейн Анна подарила ему «Der Trompeter von Säckingen»¹, а

¹ «Зеккингенский трубач» (нем.).

он оставил ей на память томик Уильяма Морриса. Но оба они были люди разумные и так и не попытались прочесть эти книги.

ГЛАВА 32

Увидев дядю и тетю, Филипп был удивлен. Раньше он не замечал, что они такие старые. Священник встретил его с обычным — впрочем, в меру дружелюбным — равнодушием. Он еще больше потолстел, полысел и поседел. Филипп теперь знал, что дядя — человек ничтожный. Черты его лица говорили о безволии и самовлюбленности. Тетя Луиза нежно обняла Филиппа и расцеловала его со слезами радости. Филипп был тронут и смущен; прежде он не сознавал, как горячо она его любит.

— Время тянулось без тебя так медленно, — сказала она сквозь слезы.

Она гладила его руки и заглядывала ему в лицо счастливыми глазами.

— Ты вырос. Ты теперь настоящий мужчина.

На его верхней губе чуть пробивались усы. Он купил бритву и время от времени очень осторожно сбривал пушок с гладкого подбородка.

— Мы так по тебе скучали, — сказала тетя. А потом робко, прерывающимся голосом спросила: — Ты рад, что вернулся домой?

— Да, конечно.

Она была так худа, что выглядела почти прозрачной; руки, которыми она обвила его шею, были хрупки, как косточки цыпленка, а ее увядшее личико покрыто густой сетью морщин. Седые кудряшки, которые она все еще носила по моде своей юности, придавали ей странный, трогательный вид; ее маленькое высохшее тело было как осенний лист — казалось, его унесет первый резкий порыв ветра. Филипп понял, что эти два маленьких, незаметных человека уже отошли от всего; они принадлежали к прежнему поколению и теперь терпеливо, с какой-то тупой покорностью ожидали смерти; и он, в расцвете молодости и сил, стгорая от жажды необыкновенных приключений, с ужасом глядел на эти зря прожитые жизни. Эти люди ничего не свершили, и, когда уйдут, от них не останется и следа. Филипп почувствовал острую жалость к тете Луизе и внезапно понял, что любит ее за то, что она любит его.

В комнату вошла мисс Уилкинсон, которая сперва из деликатности не показывалась, чтобы дать мистеру и миссис Кэри возможность поздороваться с племянником наедине.

— Познакомься с мисс Уилкинсон, Филип, — сказала миссис Кэри.

— Блудный сын вернулся под отчий кров, — произнесла та, протягивая руку. — Я принесла блудному сыну розу в петлицу.

С веселой улыбкой она приколола к лацкану Филипа цветок, сорванный ею в саду. Филип покраснел и почувствовал себя неловко. Он знал, что мисс Уилкинсон — дочь священника, у которого когда-то был помощником дядя Уильям. Дочерей священников он повидал на своем веку немало; все они носили плохо сшитые платья и грубую обувь. Одевались они, как правило, во все черное (в детские годы Филипа жены и дочери священнослужителей избегали ярких нарядов), волосы причесывали кое-как и распространяли вызывающий запах туго накрахмаленного белья. Женственность считалась у них чем-то неприличным; все они, старые и молодые, были похожи друг на друга и воинствующе религиозны. Близость к церкви побуждала их смотреть на все остальное человечество властно и несколько свысока.

Мисс Уилкинсон выглядела совсем иначе. На ней было платье из белого муслина с узором из серых цветов, на ногах ажурные чулки и остроносые туфли на высоких каблуках. Неопытному Филипу показалось, что одета она очень нарядно, — он не понимал, что ее платье отдает дешевым шиком. Волосы ее были тщательно причесаны, и посреди лба красовался туго закрученный локон — черный как смоль, жесткий и блестящий; казалось, ничто не может привести его в беспорядок. Глаза у нее были большие и черные, а нос слегка орлиный; в профиль она напоминала хищную птицу, однако, если смотреть на нее спереди, казалась даже привлекательной. Она часто улыбалась, но рот у нее был большой, и ей приходилось прятать слишком крупные и желтые зубы. Но больше всего Филипа смутило то, что мисс Уилкинсон была густо напудрена: он придерживался весьма строгих взглядов на то, как должна вести себя женщина, и считал, что даме неприлично пудриться; однако мисс Уилкинсон, безусловно, была леди: ведь отец ее принадлежал к духовному званию, а всякий священник — джентльмен.

Филип решил, что мисс Уилкинсон ему определенно не нравится. Говорила она, неизвестно почему, с легким французским акцентом, хотя родилась и воспитывалась в самом сердце Англии. Ее улыбка показалась ему жеманной, ее кокетливые манеры его раздражали. Дня три он держался с ней сдержанно и враждебно, но мисс Уилкинсон этого как будто не замечала. Она сама приветливость. Все ее речи были обращены почти к одному Филипу, и ему льстило, что она постоянно спрашивала его мнение. Она умела его рассмешить, а Филип был равнодушен к людям, которые его забавляли; он и сам любил иногда сострить и радовался, встретив благодарного слушателя. А у священника и у миссис Кэри не доставало чувства юмора; они не смеялись, когда он шутил. Постепенно Филип привык к мисс Уилкинсон, перестал ее стесняться, и она начала ему нравиться; он уже находил ее французский акцент пикантным; к тому же на вечеринке у доктора она была одета куда лучше других. Ее синее фуляровое платье в крупную белую горошину произвело фурор, и Филипу это было приятно.

— Я уверен, что они вас осуждают, — сказал он ей со смехом.

— Всю жизнь мечтала, чтобы меня принимали за падшую женщину, — ответила она.

Как-то раз, когда мисс Уилкинсон была в своей комнате, Филип спросил тетю Луизу, сколько их гостей лет.

— Милый, никогда не спрашивай о возрасте дамы. Во всяком случае, она слишком стара, чтобы ты мог на ней жениться.

Священник вяло усмехнулся.

— Она, конечно, не девочка, — сказал он. — Была почти взрослой, когда мы жили в Линкольншире, а с тех пор лет двадцать прошло! Она тогда уже заплетала косу.

— Ей могло быть каких-нибудь десять лет, — заметил Филип.

— Ну, нет, куда больше, — сказала тетя Луиза.

— Пожалуй, ей было около двадцати, — настаивал священник.

— Нет, Уильям, шестнадцать, от силы — семнадцать.

— Значит, теперь ей уже за тридцать, — заключил Филип.

В эту минуту мисс Уилкинсон вприпрыжку сбежала по лестнице, напевая модную песенку; на ней была шляпка.

Молодые люди собирались на прогулку, и мисс Уилкинсон протянула Филипу руку, чтобы он застегнул ей перчатку. Он это сделал довольно неуклюже. Ему было неловко, хотя и хотелось быть галантным. Теперь они уже разговаривали непринужденно и, гуляя, болтали обо всем на свете. Она рассказывала Филипу о Берлине, он ей — о годе, проведенном в Гейдельберге. Он говорил, и подробности, которым он прежде не придавал значения, приобретали новый смысл: он описал всех жильцов фрау Эрлин, а споры Хейуорда с Уиксом, которые в свое время казались ему такими интересными, чуть-чуть извратил, придав им какую-то нелепость. Смех мисс Уилкинсон льстил ему.

— А вас надо бояться, — сказала она. — Вы такой на-смешник.

Потом она шутливо спросила, не было ли у него в Гейдельберге романов. Не задумываясь, он честно ответил, что не было, но она не хотела ему верить.

— Какой вы скрытый! — сказала она. — Кто же не заводит романов в ваши годы?

Он покраснел и рассмеялся.

— Вы слишком любопытны, — сказал он.

— Видите, я так и думала, — с торжеством засмеялась она. — Смотрите, как вы покраснели!

Ему было приятно, что она считает его донжуаном; он перевел разговор на другую тему, намекая тем самым, что ему есть что скрывать. Он сердился на себя за то, что у него не было любовных похождений. Просто не представилось подходящего случая.

Мисс Уилкинсон была недовольна своей участью. Ее возмущало, что приходится зарабатывать себе на хлеб, и она рассказала Филипу длинную повесть о каком-то дяде по материнской линии, который должен был оставить ей наследство, но вместо этого женился на своей кухарке и изменил завещание. В родительском доме ее будто бы окружала роскошь, и она сравнивала свое нынешнее зависимое положение с былой жизнью в Линкольншире, где к ее услугам были лошади для верховой езды и карета. Филип был несколько озадачен, когда, упомянув об этом тете Луизе, услышал, что, когда она познакомилась с Уилкинсонами, у них были всего-навсего маленькая тележка и пони; тетя Луиза слышала о богатом родственнике, но, поскольку он был женат и стал отцом семейства задолго до рождения

Эмили, вряд ли та могла возлагать большие надежды на его наследство. О Берлине, где она сейчас служила, мисс Уилкинсон не могла сказать ничего хорошего. Жалуясь на пошлую жизнь в Германии, она сравнивала ее с блеском Парижа, где провела несколько лет. Она не уточняла, сколько именно. Там она служила гувернанткой в семье молодого портретиста, женатого на богатой еврейке, и в их доме встречала немало знаменитостей. Филип был потрясен громкими именами, которые она называла. В доме частенько бывали актеры «Комеди Франсез», и Коклен, сидя рядом с ней за обедом, говорил, что никогда не встречал иностранцев, которые так хорошо говорили бы по-французски. Бывал у них и Альфонс Доде, который подарил ей экземпляр «Сафо»; он обещал написать ей книгу, но она позабыла ему об этом напомнить. Тем не менее книга ей дорога, и она даст прочесть ее Филипу. Бывал у них и Мопассан. Мисс Уилкинсон залилась серебристым смехом и многозначительно взглянула на Филипа. Какой мужчина и какой писатель! О Мопассане Филипу рассказывал и Хейуорд, так что его репутация была Филипу известна.

— Он за вами ухаживал? — спросил Филип.

Слова эти как-то странно застревали у него в горле, но он их все же выговорил. Мисс Уилкинсон ему все больше нравилась, и разговор с ней его занимал, но он все-таки не мог себе представить, чтобы за ней кто-нибудь ухаживал.

— Что за вопрос! — воскликнула она. — Бедненький Ги не пропускал ни одной юбки. Это вошло у него в привычку, он не мог с собою сладить.

Она вздохнула, будто с нежностью вспомнила прошлое.

— Ах, какой это был обаятельный человек, — прошептала она.

Будь у Филипа больше жизненного опыта, он бы представил себе истинные обстоятельства этой встречи: знаменитого писателя пригласили на семейный обед; чинно входит гувернантка с двумя рослыми воспитанницами; ее представляют:

— Notre Miss Anglaise¹.

— Mademoiselle...²

¹ Наша англичанка (фр.).

² Мадемуазель... (фр.).

А затем следовал обед, за которым «мисс» сидела, не произнося ни слова, в то время как знаменитый писатель болтал с хозяином и хозяйкой.

Но воображение молодого человека рисовало куда более романтическую картину.

— Расскажите мне о нем, — попросил Филипп.

— Мне нечего рассказывать, — призналась она чисто-сердечно, но сказала это таким тоном, словно ей не хватило бы и трех томов, чтобы поведать все трагические подробности. — Много будете знать, скоро состаритесь.

Она стала описывать ему Париж. Ах, как она любила Большие бульвары и Булонский лес! У каждой улицы там своя прелесть, а деревья на Елисейских полях изящнее всех деревьев на свете. Они уселись на камне у живой изгороди, и мисс Уилкинсон с презрением поглядывала на статные вязы, росшие по краям дороги. А парижские театры! Какие пьесы, как играют артисты!.. Она часто сопровождала мадам Фойо, мать своих воспитанниц, когда та ездила примерять новые туалеты.

— Вот несчастье быть бедной! — воскликнула она. — Видеть прекрасные вещи — только в Париже умеют одеваться — и не быть в состоянии их купить! Бедная мадам Фойо, у нее такая отвратительная фигура. Портниха мне часто шептала: «Ах, мадемуазель, если бы у нее была ваша фигура...»

Филипп заметил, что мисс Уилкинсон обладает пышными формами и очень этим гордится.

— Мужчины в Англии ужасное дурачье, — продолжала она. — Им важно только лицо. Французы — у них умение любить в крови — отлично знают, насколько важнее фигура.

Филипп прежде никогда не думал о таких вещах, но теперь обратил внимание, что лодыжки у мисс Уилкинсон толстые и некрасивые. Он быстро отвел глаза.

— Вам надо поехать во Францию. Почему бы вам не провести годик в Париже? Вы бы выучили французский язык, и там вас сумели бы *déniaiser*¹.

— Что? — спросил Филипп.

Она лукаво засмеялась.

— Загляните в словарь. Англичане не умеют обходиться с женщинами. Они слишком робуют. Робость в мужчине

¹ Научить уму-разуму (*фр.*).

ужасно комична. И ухаживать они тоже не умеют. Даже комплимента толком женщине не сделают.

Филип чувствовал себя дурак дураком. Мисс Уилкинсон явно ждала, что он станет вести себя по-другому; он и сам был бы рад сказать что-нибудь приятное и остроумное, но ему ничего не приходило в голову, а если и приходило, он так боялся показаться смешным, что не решался открыть рот.

— Люблю Париж! — вздохнула мисс Уилкинсон. — Но — увы! — пришлось переехать в Берлин. Я жила у Фойо, пока девочки не вышли замуж, а потом не могла найти другого места; тут подвернулась служба в Берлине, у родственников мадам Фойо, вот я и согласилась. В Париже у меня была маленькая квартирка на улице Бреда на пятом этаже; нельзя сказать, что это приличный район, — знаете, там живут *ces dames*¹.

Филип кивнул головой: он лишь смутно догадывался, на что намекает мисс Уилкинсон, но боялся, что она сочтет его совсем простаком.

— Но мне было все равно. *Je suis libre, n'est-ce pas?*² — Она очень любила говорить по-французски и действительно говорила хорошо. — Как-то раз у меня там случилось забавное приключение...

Мисс Уилкинсон замолчала, и Филип стал упрашивать, чтобы она рассказала ему эту историю.

— Вы же скрываете от меня ваши приключения в Гейдельберге, — упрекнула его она.

— Они такие неинтересные, — возразил он.

— Что сказала бы миссис Кэри, если бы знала, о чем мы с вами болтаем?

— Уж не думаете ли вы, что я стану ей докладывать?

— Честное слово?

Когда он дал честное слово, она рассказала ему, как один начинающий художник, снимавший комнату этажом выше... Тут она прервала себя.

— Почему бы вам не заняться живописью? Вы так мило рисуете.

— Довольно посредственно.

¹ Такие дамы (*фр.*).

² Я ведь свободна, правда? (*фр.*).

— Предоставьте об этом судить другим. Je m'y connais¹ и думаю, что из вас выйдет большой художник.

— А вы не представляете себе, какое лицо сделает дядя Уильям, когда я вдруг заявлю, что хочу поехать в Париж учиться живописи?

— Но вы же сами себе хозяин?

— Вы хотите заговорить мне зубы. Пожалуйста, рассказывайте, что сделал ваш художник.

Рассмеявшись, мисс Уилкинсон продолжала свой рассказ. Молодой художник встречался ей на лестнице, но она не обращала на него внимания. Она только заметила, что у него красивые глаза и что он очень вежливо снимает перед ней шляпу. Но в один прекрасный день она нашла под дверью письмо. Оно было от «него». Он писал, что влюблен в нее уже давно и нарочно поджидает ее на лестнице. Ах, какое это было очаровательное письмо! Разумеется, она не ответила, но какая женщина не была бы польщена? А на следующий день пришло новое письмо. Изумительное, полное страсти, трогательное. Когда она снова встретила его на лестнице, она не знала, куда девать глаза. Письма приходили каждый день — теперь он просил свидания. Он писал, что придет vers neuf heures² и она не знала, что делать. Разумеется, это было невозможно, пусть он звонит сколько угодно, она ему все равно не откроет; но, когда она в смятении ждала звонка, он вдруг очутился перед нею. Она позабыла запереть за собой дверь.

— C'était une fatalité...³

— А что было потом? — спросил Филип.

— На этом кончается мой рассказ, — ответила она, заливаясь смехом.

Филип помолчал. Сердце его стучало, в груди теснились незнакомые раньше чувства. Он представил себе эти случайные встречи на темной лестнице, восхищался смелостью писем — нет, он никогда бы на это не решился, — а потом увидел безмолвное, загадочное появление незнакомца. Вот это настоящая романтика!

— Какой у него был вид?

¹ Я в этом кое-что смыслю (фр.).

² Часам к девяти (фр.).

³ Это был рок... (фр.).

— Он был красив. *Charmant garçon*¹.

— Вы с ним все еще поддерживаете знакомство?

Задавая вопрос, Филип вдруг почувствовал легкое раздражение.

— Он обошелся со мной очень гадко. Все мужчины одинаковы. Все вы бессердечны, все как один!

— Право, не знаю, — смущенно пробормотал Филип.

— Пора домой, — сказала мисс Уилкинсон.

ГЛАВА 33

Филип никак не мог забыть рассказа мисс Уилкинсон. Правда, она оборвала его на половине, но то, чего она не досказала, было и так ясно, и Филип почувствовал, что он шокирован. Это могла себе позволить замужняя женщина — Филип прочел немало французских романов и знал, что во Франции такое поведение казалось делом обычным, — но мисс Уилкинсон была не замужем, англичанка и к тому же дочь священника. Потом его осенила мысль, что молодой художник, по-видимому, не первый и не последний ее любовник, и у него даже дух захватило; никогда еще он не пробовал взглянуть на мисс Уилкинсон с этой стороны; он и не представлял себе, что с ней можно завести роман. По своей наивности он так же мало сомневался в правдоподобии ее рассказа, как и во всем, что прочел в книгах; он злился, что с ним никогда не случалось таких удивительных приключений. Стыдно было подумать, что, если мисс Уилкинсон снова потребует отчета о его похождениях в Гейдельберге, ему нечего будет ей рассказать. Правда, Филип обладал некоторым воображением, но все же он не надеялся убедить ее, будто погряз в пороках: женщины обладали такой дьявольской интуицией — он читал и об этом! — и она с легкостью обнаружит, что он привирает. Он краснел как рак при мысли о том, что она станет посмеиваться над ним исподтишка.

Мисс Уилкинсон играла на пианино и пела слегка надтреснутым голосом романсы Массне, Бенжамена Годара и Огюсты Ольмес; Филип их слышал впервые; вдвоем они проводили за пианино долгие часы. Как-то раз она спросила, есть ли у него голос, и пожелала это проверить. Сказав,

¹ Прелестный мальчик (фр.).

что у него приятный баритон, она предложила давать ему уроки. Сначала, застеснявшись, он было отказался, но она настояла на своем и стала заниматься с ним каждое утро после завтрака. Мисс Уилкинсон была врожденным педагогом, и он почувствовал, какая она отличная гувернантка. В ее преподавании были система и настойчивость. Хотя она так привыкла говорить с французским акцентом, что никогда уже об этом не забывала, с нее сходила вся ее слащавость, как только начинался урок. Тут ей было не до глупостей. У нее появлялся повелительный тон, она пресекала малейшее невнимание и корила за неаккуратность. Она знала свое дело и заставляла Филипа петь гаммы и вокализы.

Когда кончался урок, она без всякого усилия снова принималась зазывно улыбаться, голос ее опять становился мягким и вкрадчивым, но Филипу не так легко было перестать чувствовать себя учеником, как ей — учительницей. Новое обличье мисс Уилкинсон не совпадало с тем образом, который создали ее рассказы. Он стал приглядываться к ней внимательнее. Она куда больше нравилась ему по вечерам. Утром на ее лице отчетливо видны были морщины, да и кожа на шее казалась дряблой. Ему бы хотелось, чтобы она не выставляла свою шею напоказ, но погода стояла жаркая, и она носила блузки с большим вырезом. Ей нравилось одеваться в белые платья, но по утрам этот цвет был ей не к лицу. Вечером, надев нарядное платье и гранатовое ожерелье на шею, она казалась почти хорошенькой, кружева на груди и у локтей придавали ей мягкую женственность, а запах духов был волнующим и напоминал о дальних странах (в Блэкстебле никто не употреблял ничего, кроме одеколона, да и то лишь по воскресеньям или разве еще от головной боли). Мисс Уилкинсон тогда и в самом деле выглядела совсем молодой.

Филипа очень занимал ее возраст. Он складывал двадцать и семнадцать и никак не мог удовлетвориться итогом. Не раз он допрашивал тетю Луизу, почему она думает, что мисс Уилкинсон уже тридцать семь лет: на вид ей не дашь больше тридцати; к тому же иностранки, как известно, стареют быстрее англичанок, а мисс Уилкинсон так долго жила за границей, что может сойти за иностранку. Лично он не дал бы ей больше двадцати шести.

— Нет, ей куда больше, — отвечала тетя Луиза.

Филип не верил своим дяде и тете. Им помнилось отчетливо лишь то, что мисс Уилкинсон носила косу, когда

они жили в Линкольншире. Но ей могло быть тогда и лет двенадцать: дело было так давно, а на память священника вообще нельзя было полагаться. Они утверждают, что с тех пор прошло двадцать лет, но люди любят округлять; может быть, прошло всего лет восемнадцать, а то и семнадцать. Семнадцать плюс двенадцать — всего-навсего двадцать девять, а это, черт возьми, еще не старость. Клеопатре было сорок восемь, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром.

Лето было чудесное. Изю дня в день стояла жаркая, безоблачная погода, но зной смягчался близостью моря; от него шла бодрящая свежесть, и августовское солнце совсем не стомляло. В саду был бассейн, в нем журчал фонтан и росли лилии, а у самой поверхности воды грелись на солнце золотые рыбки. После обеда Филип и мисс Уилкинсон, захватив из дому пледы и подушки, устраивались на лужайке в тени высокой изгороди из роз. Там они читали, болтали и курили — священник не выносил табачного дыма; он считал курение отвратительной привычкой и часто повторял к месту и не к месту, что стыдно быть рабом своих привычек. При этом он забывал, что сам был рабом своего пристрастия к чаю.

Однажды мисс Уилкинсон дала Филипу «*La vie de Bohème*»¹. Она нашла книгу случайно, роясь в шкафу священника: мистер Кэри купил ее у букиниста заодно с другими книгами и целых десять лет не открывал.

Филип принялся читать увлекательный, плохо написанный и нелепый шедевр Мюрже и сразу почувствовал его обаяние. Его покорила пестрая картина беззаботного недоедания, живописной нужды, не слишком целомудренной, но такой романтической любви и трогательная смесь высоких чувств и обыденного. Родольф и Мими, Мюзетта и Шонар! Одетые в причудливые костюмы времен Луи-Филиппа, они бродят по узким улицам Латинского квартала, находя убежище то в одной, то в другой мансарде, улыбаясь и проливая слезы, беспечные и безрассудные. Кто перед ними устоит? Лишь перечтя эту книгу в зрелости, вы увидите, как грубы их развлечения и пошлы их души, тогда вы почувствуете, как никчемн этот веселый хоровод, пойте, до чего ничтожны они как художники и как люди.

¹ «Жизнь богемы» (фр.).

Филип бредил этой книгой.

— Разве вы не хотели бы поселиться в Париже вместо Лондона? — спросила мисс Уилкинсон, посмеиваясь над его восхищением.

— Сейчас уже поздно, даже если бы я и хотел, — ответил он.

Целые две недели после того, как он вернулся из Германии, они с дядей обсуждали его будущее. Он окончательно отказался поступать в Оксфорд, и сейчас, когда исчезли все виды на получение стипендии, даже мистер Кэри пришел к выводу, что Филипу это не по средствам. Ему досталось от родителей всего две тысячи фунтов, и, хотя они были помещены в закладные, приносившие пять процентов годовых, не мог свести концы с концами, не трогая основного капитала. Теперь его состояние немного уменьшилось. Было бы глупо целых три года тратить по двести фунтов — университетская жизнь в Оксфорде обошлась бы ему не дешевле — и в конце концов по-прежнему не иметь доходной профессии. Он горел нетерпением отправиться в Лондон. Миссис Кэри считала, что для джентльмена были возможны только четыре профессии: армия, флот, суд и церковь. К этому списку она соглашалась добавить медицину, поскольку ее зять был врачом, но не могла забыть, что в дни ее молодости никто не считал врача джентльменом. Первые две профессии для Филипа были закрыты, а священником он сам наотрез отказывался стать. Оставалась профессия юриста. Местный врач заметил, что многие джентльмены идут теперь в инженеры, но миссис Кэри решительно воспротивилась.

— Мне не хотелось бы, чтобы Филип стал ремесленником, — сказала она.

— Нет, он должен получить настоящую профессию, — откликнулся и священник.

— Почему бы ему не сделаться врачом, как его отец?

— Ни за что, — сказал Филип.

Миссис Кэри этот отказ не огорчил. Адвокатура тоже как будто отпадала, поскольку он не собирался поступать в Оксфорд, а семейство Кэри было убеждено, что для успеха в этой области требовался диплом. В конце концов возникла мысль отдать его в учение к юристу. Было послано письмо Альберту Никсону — поверенному, который вел дела их семьи; вместе с блэкстеблским священником он был

душеприказчиком покойного Генри Кэри; в письме спрашивали, не возьмет ли он Филипа в ученье. Через несколько дней пришел ответ, что у мистера Никсона нет вакансий и он решительно возражает против всей затеи в целом: юристов и так слишком много, и без капитала или связей в этой профессии невозможно пробиться выше должности старшего клерка; Филипу имеет смысл стать присяжным бухгалтером. Ни священник, ни его супруга понятия не имели, что это такое, да и Филип никогда не слышал о присяжных бухгалтерях. Но в следующем письме их поверенный объяснил, что рост современной торговли и промышленности и развитие акционерных обществ привели к созданию многочисленных бухгалтерских фирм для проверки расчетных книг и наведения в финансовых делах клиентов порядка, отсутствовавшего в старые времена. Несколько лет назад бухгалтеры получили королевские привилегии, и с тех пор с каждым годом эта профессия становилась все более уважаемой, процветающей и влиятельной. В бухгалтерской фирме, которая вот уже тридцать лет вела финансовые дела Альберта Никсона, как раз освободилась вакансия ученика, и ее готовы были предоставить Филипу за вознаграждение в триста фунтов стерлингов. Половина этой суммы возвращалась ему в течение пятилетнего обучения в виде жалованья. Будущее было не Бог весть каким блестящим, но Филип сознавал, что ему надо на что-то решиться, а страстное желание жить в Лондоне побеждало все его сомнения. Священник запросил мистера Никсона, подходящая ли это профессия для джентльмена; мистер Никсон ответил, что после получения привилегий в бухгалтеры пошли люди, учившиеся в закрытых учебных заведениях и даже в университете; больше того, если работа Филипу не понравится и через год ему захочется уйти, Герберт Картер — так звали владельца бухгалтерской фирмы — готов вернуть половину денег, внесенных за учение. Это решило вопрос; условились, что Филип приступит к работе пятнадцатого сентября.

— У меня впереди целый месяц, — сказал Филип.

— И затем вы обретете свободу, а я вернусь к своему рабству, — заметила мисс Уилкинсон.

У нее был полуторамесячный отпуск, и она должна была уехать из Блэкстебла за день или за два до отъезда Филипа.

— Встретимся мы с вами когда-нибудь еще или нет? — добавила она.

— А почему бы нам не встретиться?

— Ах, не говорите об этом так прозаично. Никогда еще не видела более бесчувственного человека.

Филип покраснел: он показался мисс Уилкинсон молодкососом. В конце концов она женщина молодая, иногда даже хорошенькая, а ему уже скоро двадцать лет; глупо только и делать, что беседовать об искусстве и литературе. Ему надо за ней поухаживать. Она столько говорила о любви. Она рассказывала ему о молодом художнике с улицы Бреда и о портретисте, в семье которого так долго жила в Париже: этот попросил ее позировать, но с первого же сеанса стал так назойливо к ней приставать, что ей пришлось придумывать всякие отговорки, чтобы не оставаться с ним наедине. Мисс Уилкинсон, повидимому, привыкла к вниманию мужчин. Сейчас она выглядела очень мило в соломенной шляпке с большими полями: день был жаркий, самый жаркий за все лето, — и на верхней губе у нее выступили капельки пота. Он вспомнил фрейлейн Цецилию и герра Суна. Филипу никогда не нравилась Цецилия как женщина — уж очень она была некрасива; но задним числом эта история казалась очень романтической. Теперь вот и ему подвернулся случай завести интрижку. Мисс Уилкинсон была почти француженкой, и это придавало флирту с ней особую пикантность. Думая о мисс Уилкинсон по ночам в постели или же в саду над книгой, Филип чувствовал какое-то волнение, но стоило мисс Уилкинсон появиться, и роман с ней уже не казался ему таким заманчивым.

Во всяком случае, после того, что она ему рассказывала, ее вряд ли удивит, если он станет за ней ухаживать. Он подозревал, что она считает его просто чудачком и не понимает, почему он не делает никаких попыток; быть может, ему только кажется, но раза два за последние дни он прочел в ее глазах презрение.

— О чем вы задумались? — с улыбкой спросила мисс Уилкинсон.

— Не скажу, — ответил он.

Он думал, что ему надо тут же ее поцеловать, сразу! Интересно, хочет она этого или нет; и все же он не представлял себе, как можно взять да и поцеловать женщину — просто так, без всяких предисловий. Она еще подумает,

что он взбесился, даст ему пощечину или пожалуется дяде. Интересно, как начинал ухаживать за фрейлейн Цецилией герр Сун. Вот будет номер, если она скажет дяде; он знал дядюшку и не сомневался, что тот сразу же поделится новостью с доктором и Джозией Грейвсом — ну и болваном же будет тогда выглядеть Филип! Тетя Луиза не переставала твердить, что мисс Уилкинсон не меньше тридцать семи лет; он дрожал при мысли о том, что станет посмешищем всей округи, — чего доброго, еще скажут, будто она ему в матери годится!

— А все-таки о чем вы задумались? — улыбнулась мисс Уилкинсон.

— О вас, — храбро ответил он.

Во всяком случае, эти слова его ни к чему не обязывали.

— Что же вы обо мне думали?

— Вот и не скажу.

— Ах, негодник! — воскликнула мисс Уилкинсон.

Вот всегда так! Стоит ему собраться с духом, как она произносит слово, сразу напоминающее ему, что она — гувернантка. Когда он фальшиво поет гаммы, она тоже, шутя зовет его негодником.

На этот раз он даже надулся.

— Прошу вас, — произнес он, — не обращайтесь со мной как с ребенком.

— Вы сердитесь?

— Очень.

— Я вовсе не хотела вас обидеть.

Она протянула руку, и он ее пожал. Несколько раз за последнее время, когда они прощались перед сном, ему чудилось, что она слегка пожимает его руку; сейчас в этом не могло быть сомнений.

Он не знал, как быть дальше. Наконец-то ему подвернулся удобный случай; он будет последним дураком, если не воспользуется им; но все было не так, как он себе представлял, — проще, прозаичнее. В книгах он часто встречал описания любовных сцен, в себе же он не ощущал ничего похожего на половодье чувств, изображаемое авторами романов; страсть не кружила ему голову, да и мисс Уилкинсон не была его идеалом: он часто представлял себе огромные синие глаза и белоснежную кожу неведомой красавицы; воображал, как погружает лицо в густые, волнистые пряди ее каштановых волос. Но разве можно было погрузить лицо

в волосы мисс Уилкинсон — они всегда казались ему каким-то липкими. И все же хорошо было бы завести интрижку; он уже заранее ощущал законную гордость, которую принесет ему эта победа. Он был обязан ее соблазнить. И он решил непременно поцеловать мисс Уилкинсон, правда не сейчас, а вечером: в темноте будет легче; ну а дальше все пойдет как по маслу. Решено: он ее сегодня же поцелует. Филип дал себе клятву, что он ее поцелует.

Филип выработал план кампании. После ужина он предложил ей пройтись по саду. Мисс Уилкинсон согласилась, и они стали прогуливаться. Филип нервничал. Неизвестно почему, разговор никак не принимал нужного направления; он решил раньше всего обнять ее за талию; но как это сделать, если она говорит о парусных состязаниях, назначенных на будущую неделю? Он коварно привел ее в самый темный уголок сада, но, когда они там очутились, мужество его покинуло. Потом они сели на скамейку, и стоило ему убедить себя, что настала решительная минута, как мисс Уилкинсон заявила, будто тут водятся ухвертки, и они двинулись дальше. Они снова обошли весь сад, и Филип дал себе слово, что перейдет в атаку, прежде чем они дойдут до дальней скамейки, но возле дома их окликнула с порога миссис Кэри:

— Не лучше ли вам, молодые люди, вернуться? Ночью прохладно, вы можете простудиться.

— Может, и в самом деле лучше пойти домой? — сказал Филип. — Я вовсе не хочу, чтобы вы простудились.

У него невольно вырвался вздох облегчения. Все равно сегодня ничего не выйдет. Но позже, в своей комнате, он страшно на себя обозлился. Ну и дурак! Он ничуть не сомневался, что мисс Уилкинсон ждала его поцелуя — зачем бы она пошла с ним в сад? Недаром она всегда повторяла, что только французы умеют ухаживать за женщинами. Филип читал французские романы. Будь он французом, он схватил бы ее в объятия, страстно объяснился в любви и впился губами в ее затылок. Непонятно, почему французы всегда целуют дам в затылок? Лично он не видел в затылках ничего привлекательного. Конечно, французам куда легче вести себя таким образом — один французский язык чего стоит! Филип никак не мог отделаться от ощущения, что на английском языке любовные признания звучат как-то нелепо. Сейчас он уже сожалел, что затеял осаду мисс

Уилкинсон и ее добродетели; первые две недели они провели так весело, а теперь его гнетет вся эта история. Но он не намерен сдаваться, не то он потеряет к себе всякое уважение; Филипп бесповоротно решил, что завтра вечером поцелует ее во что бы то ни стало.

Проснувшись на другое утро, он увидел, что идет дождь; первая его мысль была о том, что они не смогут вечером пойти в сад. За завтраком он был в отличном настроении. Мисс Уилкинсон передала через Мэри-Энн, что у нее болит голова и она останется в постели. Она спустилась только к вечернему чаю — бледная, в премиленьком капоте; но к ужину совсем поправилась, и за столом было очень весело. После молитвы мисс Уилкинсон заявила, что сразу ляжет спать, и, прощаясь, поцеловала миссис Кэри. Затем она повернулась к Филиппу.

— Боже мой! — вскричала она. — Я чуть было не поцеловала и вас тоже.

— Почему же вы этого не сделали? — спросил он.

Она засмеялась и протянула ему руку. Он совершенно отчетливо почувствовал ее пожатие.

На следующий день в небе не было ни облачка, а сад после дождя был полон благоухания и прохлады. Филипп пошел на пляж, а вернувшись домой после купания, пообедал за двоих. После обеда ожидали гостей, чтобы поиграть в теннис, и мисс Уилкинсон надела свое лучшее платье. Она в самом деле умела одеваться, и Филипп не мог не заметить, как изящно она выглядела рядом с женой помощника священника и замужней дочерью врача. Она приколотла две розы к корсажу и сидела в плетеном кресле возле корта, раскрыв красный зонтик, — ее лицо было очень выгодно освещено. Филипп любил играть в теннис. Несмотря на хорошую подачу, ему приходилось играть у самой сетки, так как бегал он неуклюже; но там хромота не мешала ему, и он редко пропускал мяч. На этот раз он остался очень доволен тем, что выиграл все партии. Когда принесли чай, Филипп, разгоряченный после игры, еще с трудом переводя дух, растянулся у ног мисс Уилкинсон.

— Вам идет спортивный костюм, — сказала она. — Вы сегодня очень мило выглядите.

Филипп покраснел от удовольствия.

— Могу от души вернуть вам комплимент. Вы выглядите просто очаровательно.

Она улыбнулась и одарила его долгим взглядом.

После ужина Филип настоял на вечерней прогулке.

— Разве вы мало набегались за день? — спросила она.

— Ночью в саду так чудесно. Все небо в звездах.

Он был в превосходном настроении.

— Знаете, миссис Кэри бранила меня из-за вас, — сказала мисс Уилкинсон, когда они шли по огороду. — Она говорит, что мне не следует с вами флиртовать.

— А разве вы со мной флиртуете? Я и не заметил.

— Она пошутила.

— С вашей стороны было жестоко не поцеловать меня вчера вечером.

— Если бы вы только видели, как на меня взглянул ваш дядюшка!

— Только это вам и помешало?

— Я предпочитаю целоваться без свидетелей.

— Здесь никого нет.

Филип обнял ее за талию и поцеловал в губы. Она тихонько рассмеялась и не сделала попытки вырваться. Все получилось совершенно естественно. Филип был очень горд. Он сказал, что поцелует ее, и поцеловал. Это оказалось совсем просто — проще всего на свете. Жаль, что он не сделал этого раньше. Он поцеловал ее снова.

— Не надо, — сказала мисс Уилкинсон.

— Почему?

— Потому, что мне это нравится, — рассмеялась она.

ГЛАВА 34

На следующий день после обеда они снова вынесли к фонтану пледы, подушки и книги, но читать не стали. Мисс Уилкинсон устроилась поудобнее и раскрыла свой красный зонтик. Филип совсем перестал робеть, но сперва она не позволяла ему себя поцеловать.

— Вчера вечером я плохо себя вела, — сказала она. — Я даже уснуть потом не могла от угрызений совести.

— Какие глупости! — воскликнул он. — Я уверен, что вы спали как убитая.

— А что скажет ваш дядя, если узнает?

— Зачем ему знать?

Он наклонился к ней, и сердце его забилося.

— Почему вам хочется меня поцеловать?

Он знал, что ему следует ответить: «Потому, что я вас люблю». Но он не мог из себя этого выдавить.

— А как вы думаете? — спросил он уклончиво.

Глаза у нее улыбались, и она дотронулась пальцами до его лица.

— Какая у вас нежная кожа, — прошептала она.

— Что вы, мне давно пора бриться, — ответил он.

Романтические объяснения давались ему с удивительным трудом. Он обнаружил, что молчание помогает ему больше слов. Глаза у него умели выражать многое. Мисс Уилкинсон вздохнула.

— А я вам хоть немножко нравлюсь?

— Ужасно нравитесь.

Когда он снова сделал попытку ее поцеловать, она больше не сопротивлялась. Он прикидывался куда более влюбленным, чем был на самом деле, и ему удалось разыграть роль, на его взгляд, вполне успешно.

— Я вас начинаю бояться, — сказала мисс Уилкинсон.

— Вы пойдете гулять после ужина, да? — упрасивал он.

— Если вы пообещаете вести себя как следует.

— Я пообещаю вам все, что хотите.

Он зажигался от огня, который сам же в себе раздувал; за вечерним чаем веселье било в нем через край. Мисс Уилкинсон поглядывала на него с беспокойством.

— Пожалуйста, не смотрите на меня такими сияющими глазами, — сказала она ему позже. — Что подумает ваша тетушка?

— А мне все равно, что она подумает.

Мисс Уилкинсон тихонько рассмеялась от удовольствия. Сразу же после ужина он попросил ее:

— Я пойду выкурить папироску, составьте мне компанию.

— Да не мучай ты мисс Уилкинсон, — сказала миссис Кэри. — Не забудь, что она старше тебя, ей надо отдохнуть.

— Что вы, я с удовольствием пройдуся, — ледяным тоном отозвалась мисс Уилкинсон.

— После обеда гуляй, после ужина отдыхай, — наизда-тельно произнес священник.

— Тетушка ваша очень мила, но иногда она действует мне на нервы, — сказала мисс Уилкинсон, как только они перешагнули через порог.

Филип тут же бросил зажженную папиросу и обнял ее. Она попыталась его отстранить.

— Вы же обещали вести себя как следует.

— Неужели вы думали, что я сдержу такое обещание?

— Не так близко от дома. Вдруг кто-нибудь выйдет.

Он повел ее на огород, где никто не мог появиться в этот час, и тут мисс Уилкинсон уже не испугалась ухверток. Он целовал ее с жаром. Его всегда удивляло, почему она совсем не нравилась ему по утрам и не слишком нравилась днем, но зато вечером его волновало малейшее прикосновение ее руки. Он произносил слова, которые ему и в голову бы не пришли при свете солнца: он сам прислушивался к ним с удивлением и не без удовольствия.

— Оказывается, вы мастер ухаживать за дамами, — сказала она.

Он и сам так думал.

— Ах, если бы я мог выразить все, что у меня на сердце, — страстно прошептал он.

Все шло превосходно. Это была самая увлекательная игра, какую он знал, и прелесть ее заключалась в том, что он говорил почти искренне. Он только чуть-чуть преувеличивал. Его чрезвычайно занимало впечатление, которое его слова оказывали на мисс Уилкинсон. Ей явно пришлось сделать над собой усилие, когда она наконец предложила вернуться домой.

— Не уходите, — стал он упрашивать.

— Надо, — проговорила она. — Я боюсь.

Его вдруг осенило: он понял, как ему надо поступить.

— Я не могу идти домой. Посижу немного, приду в себя. У меня горит лицо. Спокойной ночи.

Он печально протянул ей руку, и она пожала ее без слов. Ему почудилось сдавленное рыдание. Это было великолепно! Когда, выждав положенное время и поскучав наедине с самим собой в темном саду, он вернулся в дом, мисс Уилкинсон уже отправилась спать.

После этого между ними возникли новые отношения. В ближайшие два дня Филипп вел себя, как нетерпеливый любовник. Ему ужасно льстило, что мисс Уилкинсон в него влюблена: она объяснилась ему в этом и по-английски и по-французски. Она изливала в комплиментах. Никто еще не говорил ему до нее, что у него прелестные глаза и чувственный рот. Его никогда особенно не интересовало, какая у него внешность, но теперь он при каждом удобном случае с удовольствием разглядывал себя в зеркале. Когда он

ее целовал, было так восхитительно ощущать ответный порыв страсти. А целовал он ее то и дело: это было легче, чем произносить те слова, которых, как подсказывала ему интуиция, она от него ждала. Он все еще чувствовал себя глупо, когда ему приходилось говорить, что он от нее без ума. Он жалел, что не было никого, перед кем он мог бы немножко похвастаться, рассказать подробности. Иногда она говорила загадочные вещи, которые ставили его в тупик. Будь здесь Хейуорд, он спросил бы у него, что она имеет в виду и как ему поступать дальше. Он никак не мог решить, следует ли ему форсировать события или дать им развиваться своим чередом. До отъезда оставалось всего три недели.

— Я и подумать об этом боюсь, — сказала она. — У меня просто разрывается сердце. А вдруг мы больше никогда не увидимся?

— Если бы вы меня хоть капельку любили, вы были бы добрее, — шепнул он.

— Ах, что тебе нужно еще? Все мужчины одинаковы. Им всегда мало.

А когда он становился требовательным, она говорила ему:

— Разве ты не видишь, что это невозможно? Здесь это совершенно немыслимо.

У него рождались разные планы, но она их отвергала один за другим.

— Я боюсь. Какой будет ужас, если тетя узнает.

Наконец у него мелькнула блестящая мысль.

— Послушайте, в воскресенье вечером вы скажете, что у вас разболелась голова и вы побудете дома. Тогда тетя Луиза пойдет в церковь.

По вечерам в воскресенье Мэри-Энн ходила в церковь, и тете Луизе приходилось оставаться дома, но она с удовольствием воспользовалась бы возможностью послушать вечерню.

Филип не счел нужным оповестить своих близких о той перемене, которая произошла в его взглядах на религию, все равно они бы его не поняли; спокойнее было по-прежнему ходить в церковь как ни в чем не бывало. Но он ходил туда только по утрам, считая это уступкой общественным предрассудкам, а свой отказ от вечернего посещения церкви — достойным проявлением свободомыслия.

Выслушав это предложение, мисс Уилкинсон секунду помедлила, но потом покачала головой.

— Нет, не могу, — ответила она.

Однако в воскресенье за чаем она удивила Филипа.

— Я не пойду в церковь вечером, — вдруг объявила она. — У меня страшно болит голова.

Миссис Кэри очень встревожилась и дала ей какие-то капли, которые сама принимала в подобных случаях. Мисс Уилкинсон поблагодарила ее и сразу же после чая сказала, что пойдет к себе и ляжет.

— Вы уверены, что вам ничего не понадобится? — спросила миссис Кэри.

— Совершенно уверена, спасибо.

— Тогда я, пожалуй, схожу в церковь. Мне не часто удастся бывать там по вечерам.

— Конечно, идите.

— Я буду дома, — сказал Филип. — Если мисс Уилкинсон что-нибудь понадобится, она всегда сможет меня позвать.

— Тогда оставь дверь в гостиную открытой, — если мисс Уилкинсон позвонит, ты услышишь.

— Хорошо, — сказал Филип.

Итак, в шесть часов вечера Филип остался в доме наедине с мисс Уилкинсон. Он чуть не заболел от страха и жалел, что затеял всю эту историю, но было уже поздно: теперь ему придется действовать, — ведь он сам развязал себе руки. Что подумает о нем мисс Уилкинсон, если он сбежит в последнюю минуту? Он пробрался в переднюю и прислушался. Сверху не доносилось ни звука. Он даже подумал, не разболелась ли у мисс Уилкинсон голова на самом деле. Может быть, она все забыла? Сердце его замирало. Он стал тихонько подниматься по лестнице, испуганно останавливаясь всякий раз, когда скрипела ступенька. Подойдя к комнате мисс Уилкинсон, он остановился и прислушался снова; пальцы его прикоснулись к дверной ручке. Он помешкал. Ему показалось, что он простоял в нерешительности не меньше пяти минут; рука его дрожала. Охотнее всего он бы удрал, если бы не боялся, что потом его замучат угрызания совести. Он словно готовился к прыжку в воду с самой высокой вышки купальни; снизу эта вышка выглядит совсем не страшной, но стоит взобраться наверх и посмотреть вниз на воду, как душа уходит в пятки; единственное, что может заставить вас прыгнуть, — это стыд: стыдно робко спускаться по тем же ступенькам,

по которым только что гордо взбирался вверх. Филипп собрал все свое мужество. Он тихонько повернул дверную ручку и переступил порог. Ему казалось, что он дрожит, как лист.

Мисс Уилкинсон стояла у туалета, спиной к Филиппу, и поспешно обернулась, когда услышала, как отворилась дверь.

— Ах, это ты? Чего тебе надо?

Она сняла юбку и блузку и стояла в одном белье.

Нижняя юбка была короткая, едва доходила до икр, сверху черная, из какой-то блестящей материи, с красной оборкой внизу. Белая коленкоровая рубашка оставляла руки обнаженными. Вид у нее был самый нелепый. Филипп глядел на нее, похолодев от испуга; никогда еще она не казалась ему такой безобразной. Но делать было нечего. Он закрыл за собой дверь и запер ее на ключ.

ГЛАВА 35

Наутро Филипп проснулся чуть свет. Спал он беспокойно, но, проснувшись в постели и взглянув на солнечные лучи, которые, пробиваясь сквозь жалюзи, чертили на полу веселые узоры, он удовлетворенно вздохнул. Филипп был очень доволен собой. Он подумал о мисс Уилкинсон. Она просила, чтобы он звал ее Эмили, но он почему-то не мог; для него она всегда была мисс Уилкинсон. Она бранила его за то, что он ее так зовет, и Филипп вообще перестал называть ее как бы то ни было. В детстве он часто слышал рассказы о тете Эмили — одной из сестер тетушки Луизы, вдове морского офицера. Ему было как-то неловко называть так мисс Уилкинсон, но он не мог придумать какое-нибудь более подходящее имя. С самого начала она была для него мисс Уилкинсон, — это было безраздельно связано со всеми его представлениями о ней. Он нахмурился: почему-то она виделась ему сейчас в самом непривлекательном свете; он не мог забыть своей растерянности, когда она предстала перед ним в рубашке и нижней юбке; он вспомнил ее шершавую кожу и глубокие морщины на шее под ухом. Чувство торжества пропало. Он снова принялся высчитывать, сколько ей лет; получалось, что ей было никак не меньше сорока. Это делало его интрижку просто комичной. Она была некрасива и стара. Его живое воображение тут же нарисовало ее

портрет — в морщинах, с дряблыми щеками, покрашенную, в чересчур кричащих платьях, которые были ей не по возрасту. Он содрогнулся; внезапно ему захотелось никогда больше ее не видеть; самая мысль о ее поцелуях стала ему отвратительна. Он сам себе противен. Неужели это и есть любовь?

Он одевался как можно медленнее, чтобы оттянуть минуту их встречи, и с тяжелым сердцем спустился в столовую. Молитва была прочитана, и все уже сидели за столом.

— Ну и соня! — весело закричала мисс Уилкинсон.

Он посмотрел на нее и вздохнул с облегчением. Она сидела спиной к окну. Право же, она совсем недурна. И что это ему только в голову взбрело? К нему вернулось прежнее самодовольство.

Филипа поразила перемена, происшедшая с мисс Уилкинсон. Тут же после завтрака она сообщила ему дрожащим от волнения голосом, что любит его, а когда чуть позже они ушли в гостиную, где она занималась с ним пением, мисс Уилкинсон, сидя на табурете перед пианино, вдруг посреди гаммы подняла к нему лицо и сказала:

— Embrasse-moi¹.

Он наклонился и она обвила руками его шею. В такой позе ему было не очень удобно — он даже стал задыхаться.

— Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime², — повторяла она, утрируя французское произношение.

Филип предпочел бы, чтобы она говорила по-английски.

— Послушай, — сказал он, — ты же знаешь, каждую минуту мимо окна может пройти садовник.

— Ah, je m'en fiche du jardinier. Je m'en refiche et je m'en contrefiche³.

Филип подумал, что все это слишком похоже на французский роман, и, неизвестно почему, разозлился.

Наконец он сказал:

— Ну, я, пожалуй, сбегаю на пляж, окунусь разок другой.

— Неужели ты хочешь оставить меня одну в это утро... в это забываемое утро?

¹ Поцелуй меня (фр.).

² Ах, я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя (фр.).

³ Наплевать мне на садовника. Наплевать с высокого дерева (фр.).

Филип не понимал, почему ему нельзя пойти выкупаться, но в общем это было не так уж важно.

— Хочешь, я останусь? — улыбнулся он.

— Ах, милый ты мой. Нет, нет, ступай. Ступай. Я буду думать о том, как ты борешься с бурными волнами, как твои руки рассекают воды морские.

Он взял шляпу и пошел на пляж. «Что за чушь порют эти женщины!» — подумал он про себя.

Но он был доволен, весел и очень горд. Она явно влюблена в него по уши. Он шел, припадая на хромую ногу, по главной улице Блэкстебла и чуть-чуть свысока поглядывал на прохожих. Со многими из них он раскланивался и, улыбаясь им, думал: если бы вы только знали! Ему до смерти хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной. Он решил написать Хейуорду и принялся сочинять в уме письмо. Он опишет и сад, и розы, и среди них — маленькую французскую гувернантку, такую надушенную и порочную, как экзотический цветок; он скажет, что она француженка — в конце концов, мисс Уилкинсон так долго жила во Франции, что почти совсем превратилась во француженку, да и было бы непорядочно ее выдавать; он расскажет Хейуорду, как увидел ее первый раз в изящном муслиновом платье и как она подарила ему цветок. Он сочинил прелестную идиллию: солнце и море вдохнули в нее страсть и очарование, а звезды — поэзию; старый сад при доме священника служил ей достойным фоном.

В его сочинении чувствовалось влияние Мередита; героиня была не совсем похожа на Люси Феверел и на Клару Миддлтон, но все равно очаровательна. Филип был приятно возбужден. Его так захватила собственная фантазия, что он снова отдался ей, как только вылез из воды и мокрый и озябший вернулся в купальную кабину. Он живо представил себе предмет своего увлечения. У нее огромные карие глаза, и очаровательный носик (он непременно опишет ее Хейуорду!), и целая копна шелковистых каштановых волос — как чудесно погружать в них лицо; ее кожа, матовая, как слоновая кость, словно позолочена солнцем, а щеки — совсем как алые розы. Сколько ей лет? Наверно, восемнадцать, и зовут ее Мюзетта. Смех ее похож на журчащий ручеек, а голос — нежный и глубокий — сладчайшая музыка, какую он когда-либо слышал.

— О чем ты так задумался?

Филип остановился как вкопанный. Он медленно шел домой.

— Я машу тебе рукой уже Бог знает сколько времени. Ну и рассеянный же ты.

Перед ним стояла мисс Уилкинсон, она смеялась над его озадаченным видом.

— Я решила пойти тебе навстречу.

— Очень мило с твоей стороны, — произнес он.

— Я тебя напугала?

— Немножко, — признался Филип.

И все-таки письмо Хейуорду было отослано. Целых восемь страниц.

Последние две недели промелькнули незаметно, и, хотя каждый вечер, когда они после ужина гуляли по саду, мисс Уилкинсон замечала, что вот прошел еще один день, радужное настроение Филипа от этого нисколько не портилось. Как-то вечером мисс Уилкинсон намекнула, что было бы чудесно переменить службу и переехать в Лондон. Тогда они могли бы встречаться постоянно. Филип сказал, что это и в самом деле было бы замечательно, но идея мисс Уилкинсон не вызвала в нем никакого восторга: он предвкушал прелести лондонской жизни и предпочитал, чтобы ничто его не связывало. Он чересчур уж откровенно заговорил о своих планах, и мисс Уилкинсон почувствовала, что он ждет не дожидается отъезда.

— Ты бы не стал так говорить, если бы любил меня! — воскликнула она.

Застигнутый врасплох, он промолчал.

— Ну и дура же я была, — пробормотала она сквозь зубы.

К своему удивлению он заметил у нее на глазах слезы. Филип был человек мягкосердечный и не мог видеть человеческого горя.

— Прости, пожалуйста, — сказал он. — Ну что я такого сделал? Не плачь.

— Ах, Филип, не бросай меня. Ты себе не представляешь, что ты для меня значишь. У меня так неудачно сложилась жизнь, а ты принес мне столько радости...

Он молча ее поцеловал. В ее голосе звучало подлинное страдание, и он испугался. До сих пор ему и в голову не приходило, что она всерьез думает все, что говорит.

— Прости меня. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я бы очень хотел, чтобы ты переехала в Лондон!

— Но разве я смогу? Место найти почти невозможно, да и жить в Англии так противно.

Тронутый ее горем и едва ли сознавая, что разыгрывает роль, он продолжал ее упрашивать. Ему льстили ее слезы, и он целовал ее с подлинным жаром.

Но через день она закатила ему настоящую сцену. У них снова собралась компания поиграть в теннис; пришли две девушки, дочки отставного майора индийской службы, поселившегося не так давно в Блэкстебле. Обе были прехорошенькие, одна из них — сверстница Филипа, другая — года на два моложе. Привыкшие к обществу молодых людей, они без конца болтали о светской жизни в горных гарнизонах Индии (а в то время поголовно все зачитывались рассказами Редьярда Киплинга) и шутиливо поддразнивали Филипа. Ему это было внове — молодые дамы Блэкстебла обычно боялись прослыть легкомысленными перед племянником священника. Ему стало очень весело, в нем словно проснулся какой-то бесенок и заставил его затеять отчаянный флирт с обеими девушками сразу, а так как он был единственным кавалером, они охотно кокетничали с ним напропалую. К тому же они довольно хорошо играли в теннис, а Филипу надоело перебрасываться мячами с мисс Уилкинсон (она начала играть только тут, в Блэкстебле); после чая он предложил, чтобы мисс Уилкинсон сыграла с помощником священника против его жены, а затем он сыграет партию с девушками. Филип подсел к старшей мисс О'Коннор и сказал вполголоса:

— Избавимся от мазил, а потом сыграем настоящую партию.

Мисс Уилкинсон, видно, это услышала: она бросила ракетку и ушла, сославшись на головную боль. Все поняли, что она обиделась. Филип рассердился, что она не потрудилась скрыть свою досаду от других. Партия началась без нее, но вскоре появилась мисс Кэри и отозвала Филипа в сторону.

— Ты обидел Эмили, — сказала тетя Луиза. — Она ушла в свою комнату и плачет.

— Почему?

— Ты что-то сказал насчет мазил. Сходи к ней и объясни, что не хотел ее обидеть, будь хорошим мальчиком.

— Ладно.

Он постучал в дверь ее комнаты и, не услышав ответа, вошел. Мисс Уилкинсон лежала ничком на постели и плакала. Он дотронулся до ее плеча.

— Послушай, что случилось?

— Оставь меня в покое. Я не желаю с тобой разговаривать.

— Что я сделал? Прости, пожалуйста, если я тебя обидел. Я, право же, не хотел. Ну пойдем.

— Ах, какая я несчастная! А ты ужасно бессердечный. Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту дурацкую игру. Я играю в нее только для того, чтобы побыть с тобой.

Она поднялась и подошла к туалету, но, взглянув на себя в зеркало, опустилась на стул. Скомкав носовой платок, она приложила его к глазам.

— Я дала тебе все, что может дать женщина... Ну и дура... А тебе хоть бы что. У тебя такое черствое сердце. Мучаешь меня, флиртуя с первыми попавшимися девчонками. У нас и так осталась одна-единственная неделя. Неужели ты не можешь потерпеть и побыть со мной?

Филип угрюмо стоял перед ней. Ее поведение казалось ему ребяческим. Он сердился, что она выставляет напоказ перед посторонними свой дурной характер.

— Ты же знаешь, что мне наплевать на этих О'Коннор. Что тебе взбрело в голову?

Мисс Уилкинсон отложила носовой платок. По ее напудренным щекам тянулись подтеки от слез, а волосы растрепались. Белое платье было ей сейчас вовсе не к лицу. Она смотрела на Филипа горящими голодными глазами.

— Тебе двадцать лет, и им тоже, — хрипло прошептала она. — А я стара.

Филип покраснел и отвернулся. Он услышал в ее голосе боль, и ему стало как-то не по себе. Сейчас ему от души хотелось, чтобы между ними никогда ничего не было.

— Я вовсе не хочу тебя огорчать, — пробормотал он. — Лучше бы ты спустилась вниз к гостям. Не то они будут удивлены, куда ты девалась.

— Хорошо.

Он рад был от нее уйти.

За ссорой быстро последовало примирение, однако в последние дни она часто была ему в тягость. Ему не хотелось говорить ни о чем, кроме будущего, а это неизменно доводило мисс Уилкинсон до слез. Поначалу ее слезы его

трогали: он чувствовал себя извергом и заверял ее в любви до гроба; но потом они стали его раздражать: будь она молодой девушкой — куда ни шло, но со стороны взрослой женщины было просто глупо без конца проливать слезы. Она не переставала напоминать ему, что он перед нею в неоплатном долгу. Поскольку она на этом настаивала, он не возражал, но в глубине души никак не мог понять, почему он должен быть благодарен ей больше, чем она ему.

К тому же она требовала, чтобы он выказывал свою благодарность самым тягостным для него образом; он привык к одиночеству и иногда испытывал острую потребность в нем; она же считала его бессердечным, если он не находился все время рядом с ней. Девушки О'Коннор пригласили их обоих на чашку чаю, и Филип с удовольствием принял бы приглашение, но мисс Уилкинсон заявила, что у них осталось всего пять дней и она ни с кем не желает его делить. Все это льстило его самолюбию, но очень надоедало. Мисс Уилкинсон рассказывала Филипу о душевной чуткости французов, когда они находились в таких отношениях со своей прекрасной дамой, в каких Филип находился с ней. Она восторгалась их галантностью, их готовностью к самопожертвованию, исключительным тактом. Выяснилось, что у мисс Уилкинсон поистине непомерные требования.

Филип, слушая, как она перечисляет все то, чем должен обладать безупречный любовник, радовался в душе, что она живет в Берлине.

— Ты будешь мне писать? — спрашивала она. — Пиши каждый день. Я хочу знать все, что ты делаешь. Ты ничего не смеешь от меня скрывать.

— Я буду страшно занят, — отвечал он. — Но постараюсь писать как можно чаще.

Она страстно обвила его шею руками. Такие проявления чувств порой смущали его не на шутку. Он предпочел бы, чтобы она вела себя менее активно. Ему было стыдно, что инициатива в их отношениях так откровенно принадлежит ей: это как-то не вязалось с его представлениями о женской скромности.

Наконец настал день отъезда мисс Уилкинсон; она спустилась к завтраку бледная, подавленная, на ней было клетчатое немаркое дорожное платье, и в этом наряде она выглядела настоящей гувернанткой. Филип молчал — он не знал, что полагается говорить в таких случаях, и страшно боялся

сказать что-нибудь легкомысленное: мисс Уилкинсон тогда не сдержалась бы и устроила ему сцену в присутствии дяди. Они простились друг с другом в саду, накануне вечером, и Филип обрадовался, что им больше не придется остаться наедине. После завтрака он нарочно задержался в столовой, чтобы мисс Уилкинсон не вздумала поцеловать его на лестнице. Меньше всего на свете он хотел попасться Мэри-Энн — теперь уже женщине средних лет с весьма острым язычком. Мэри-Энн не любила мисс Уилкинсон и звала ее драной кошкой.

Тете Луизе нездоровилось, и она не смогла пойти на вокзал; мисс Уилкинсон провожали священник и Филип. Перед самым отходом поезда она высунулась из окна и поцеловала мистера Кэри.

— Я должна поцеловать и вас тоже, Филип, — сказала она.

— Пожалуйста, — ответил он, покраснев.

Он встал на ступеньку, и она торопливо его чмокнула. Поезд тронулся, мисс Уилкинсон забилась в угол купе и безутешно зарыдала. На обратном пути с вокзала Филип почувствовал явное облегчение.

— Ну как, уехала благополучно? — спросила тетя Луиза, когда они вернулись домой.

— Да, но глаза у нее были на мокром месте, — ответил священник. — Ей непременно захотелось поцеловать меня и Филипа.

— Ну, в ее возрасте это не опасно. Филип, тут тебе письмо. — Миссис Кэри показала на буфет. — Его только что принесли.

Письмо было от Хейуорда; оно гласило:

«Мой милый мальчик!

Я сразу же отвечаю на твое письмо. Я решил его прочитать моему близкому другу, очаровательной женщине, поддержка и сочувствие которой мне несказанно дороги, женщине, одаренной тонким пониманием литературы и искусства; мы оба сошлись на том, что твое письмо прелестно. Ты писал его от чистого сердца и даже не представляешь себе, сколько очаровательной наивности в каждой его строке. Любовь сделала тебя поэтом. Ах, милый мальчик, вот оно, настоящее чувство. Я ощутил пыл твоей юной страсти; твоя повесть, пронизанная искренним волнением, звучит как музыка. Будь же счастлив. Мне хотелось

бы незримо присутствовать в этом зачарованном саду, где вы бродите среди цветов, держась за руки, словно Дафнис и Хлоя. Я вижу тебя, мой Дафнис, — нежный, восторженный и пылкий, — с огнем юной любви в глазах; я вижу в твоих объятиях Хлою — такую молодую, свежую и покорную, — она твердила «нет», но сказала «да». Розы, фиалки и жимолость... Ах, мой друг, как я тебе завидую. Отрадно думать, что твоей первой любви удалось остаться чистой поэзией. Цени каждое ее мгновение, ибо бессмертные боги одарили тебя величайшим даром; ты сохранишь его в памяти до последнего смертного часа, как самое сладкое и томительное из воспоминаний. Никогда больше не испытаешь ты столь безмятежного блаженства. Первая любовь — неповторимая любовь; твоя подруга прекрасна, ты молод, и весь мир у ваших ног. Сердце мое забилося быстрее, когда я прочел простодушные восхитительные слова о том, как ты погружаешь лицо в волны ее кудрей. Я убежден — они того редкостного каштанового цвета, который чуть-чуть отливает золотом. Так и вижу: вот вы сидите рядом под тенистым деревом, читая «Ромео и Джульетту», и вдруг ты падаешь перед ней на колени и целуешь ту землю, на которой оставила след ее ножка. Мысленно я припадаю к этой земле вместе с тобой; скажи ей, что это дань преклонения поэта перед ее сияющей юностью и перед твоей любовью.

Навеки твой *Дж. Этеридж Хейуорд*

— Ужасный вздор, — сказал Филип, дочитав письмо.

Странно, мисс Уилкинсон тоже предлагала им читать вместе «Ромео и Джульетту», но Филип наотрез отказался. И, пряча письмо в карман, он почувствовал легкую горечь: как мало похожа действительность на то, о чем мы мечтаем.

ГЛАВА 36

Через несколько дней Филип уехал в Лондон. Помощник приходского священника рекомендовал ему меблированные комнаты в Барнсе, и Филип, списавшись с хозяйкой, снял квартиру за четырнадцать шиллингов в неделю. Он приехал вечером, и хозяйка — комичная тощая старушка с морщинистым личиком — подала ему чай со множеством всяких закусок. Большая часть гостиной была заставлена буфетом и четырехугольным столом; у стены красовалась кушетка, набитая волосом, а у камина — такое же кресло; спинка

его была прикрыта салфеточкой, а продавленное сиденье — жесткой подушкой.

Выпив чаю, Филип разложил свои вещи, расставил книги, сел и попытался читать, но настроение у него было подавленное. Тишина на улице почему-то угнетала его, и он почувствовал себя очень одиноким.

Наутро Филип встал очень рано. Он надел визитку и цилиндр, но цилиндр был старенький — он носил его еще в школе, и Филип решил зайти по дороге в универсальный магазин и купить новый. Сделав это, он обнаружил, что у него еще уйма времени, и пошел прогуляться по Стренду. Контора Герберта Картера и К^о помещалась на узенькой улочке возле Чансери-лейн, и ему пришлось раза два спросить дорогу. Он заметил, что на него оглядываются прохожие, и даже снял шляпу, чтобы проверить, не забыли ли в магазине снять с нее ярлык с ценой. Подойдя к конторе, Филип постучал, но никто ему не открыл, и, взглянув на часы, он обнаружил, что еще нет половины десятого. Повидимому, он пришел слишком рано. Филип отошел, а вернувшись через десять минут, застал рассыльного — прыщавого юношу с длинным носом, говорившего с шотландским акцентом, — он отпирал дверь. Филип спросил, может ли он видеть мистера Герберта Картера. Но тот еще не приходил.

— Когда он будет?

— В десять или в половине одиннадцатого.

— Я, пожалуй, обожду, — сказал Филип.

— А что вам угодно? — спросил рассыльный.

Филип нервничал, но старался скрыть это под шутливым тоном.

— Да видите ли, я, собственно, собираюсь здесь работать, если вы, конечно, не возражаете.

— А-а, значит, вы — новый конторщик. Что ж, тогда входите. Мистер Гудурти скоро придет.

Филип, войдя, заметил, что рассыльный — он был моложе Филипа и звал себя младшим конторщиком — устался на его ногу. Покраснев, Филип сел и спрятал ногу подальше под стул. Он оглядел комнату. В ней было темно и грязно. Тусклый свет пробивался сверху, сквозь стеклянную крышу. В три ряда стояли конторки, а перед ними высокие табуреты. Над камином висела закопченная гравюра с изображением боксеров на ринге.

Вскоре вошел еще один служащий, за ним другой; они поглядели на Филипа и вполголоса осведомились у рассыльного (Филип услышал, что фамилия его Макдугал), кто он такой. Послышался свисток, и Макдугал вскочил.

— Пришел мистер Гудурти. Это наш управляющий. Сказать ему, что вы здесь?

— Да, пожалуйста.

Рассыльный вышел и тотчас же вернулся.

— Прошу вас.

Филип последовал за ним по коридору и вошел в почти пустую комнату, где спиной к камину стоял невысокий худощавый человек. Огромная голова, болтавшаяся на тонкой шее, придавала ему какой-то нелепый вид. Лицо у него было крупное, с приплюснутым носом и голубыми глазами сильно навывкате; редкие волосы казались совсем бесцветными, а бакенбарды росли как-то неравномерно в тех местах, где обычно волосы гуще всего, их у этого человека вовсе не было. Цвет лица был нездорово-желтый. Он протянул Филипу руку и улыбнулся, показав гнилые зубы. Разговаривал он покровительственно и в то же время неуверенно, так, словно хотел придать себе значительность, которой не обладал. Он выразил надежду на то, что работа Филипу понравится; она, конечно, во многом кропотливая, скучная, но когда в нее втянешься, становится интересно; к тому же она дает заработок, а это ведь самое главное. И он осклабился все с той же странной смесью заносчивости и малодушия.

— Мистер Картер скоро будет, — сказал он. — По понедельникам он иногда чуточку запаздывает. Я вызову вас, когда он придет. А пока мне надо дать вам какое-нибудь задание. Вы имеете представление о бухгалтерии и счетоводстве?

— Нет, — признался Филип.

— Да я так и думал. В школах, увы, совсем не учат тому, что надо знать в деловом мире. — Он помолчал. — Кажется, я нашел для вас подходящее занятие.

Он вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся оттуда, неся большую картонку. В ней лежало множество писем в полнейшем беспорядке, и он попросил Филипа разложить их по алфавиту — по фамилиям корреспондентов.

— Я проведу вас в комнату, где обычно сидят наши ученики. Вашим соседом будет очень милый юноша. Его фами-

лия — Уотсон. Он наследник «Уотсона, Крега и Томпсона», — вы, наверно, слышали: пивовары. Он пробудет у нас год, чтобы обучиться коммерции.

Мистер Гудурти провел Филипа через грязное помещение, где трудились шесть или восемь конторщиков, в узкую комнатку за стеклянной перегородкой. Тут сидел Уотсон; откинувшись на стуле, он изучал газету «Спортсмен». Это был одетый по моде, крупный, упитанный молодой человек. Он молча поднял глаза на вошедшего мистера Гудурти. Напоминая о своем независимом положении, он звал управляющего просто Гудурти. Управляющему такая фамильярность не нравилась, и он подчеркнуто вежливо звал конторщика мистером Уотсоном, однако этот молодой джентльмен не желал ничего замечать и принимал это обращение как должное.

— Понимаете, взяли да и вычеркнули «Риголетто», — сообщил он Филипу, как только они остались вдвоем.

— Да ну? — отозвался Филип, ничего не понимавший в скачках.

Он благоговейно взирал на элегантный костюм Уотсона. Визитка сидела на нем безукоризненно, и в самую сердцевину пышнейшего галстука была воткнута драгоценная булавка. На камине покоился его цилиндр, он был наряден, похож на колокол и ослепительно сверкал. Филип почувствовал себя оборванцем. Уотсон заговорил об охоте: чертовски обидно терять золотое время в этой паршивой конторе, он сможет теперь охотиться только по субботам, а у него было столько заманчивых приглашений во все концы страны, увы! — пришлось от них отказаться. Чертовски не повезло, но он долго корпеть здесь не собирается: в этой чертовой дыре он пробудет только год, а потом вступит в дело и будет охотиться верхом четыре дня в неделю.

— А вам придется торчать здесь целых пять лет? — спросил он, плавно обводя рукой каморку.

— По-видимому, — вздохнул Филип.

— Ну, тогда мы с вами будем встречаться. Ведь Картер ведет наши счета.

Филип был сражен величием молодого джентльмена. В Блэкстебле к пивоварению относились несколько свысока; священник любил подшучивать над «пивной знатью», и Филипа удивило, что Уотсон оказался такой важной персоной. Он учился в Винчестере и в Оксфорде, о чем

частенько поминал в разговоре. Когда он узнал, какое образование получил Филип, он стал держать себя еще более покровительственно.

— Ну, конечно, если уж человек не попал в одну из наших привилегированных школ, заведение, вроде вашего, — наименьшее зло.

Филип спросил его, что представляют остальные служащие конторы.

— Да, по правде сказать, не интересовался, — бросил Уотсон. — Картер — человек приличный. Мы иногда даже приглашаем его обедать. Ну а все остальные, кажется, порядочные хамы.

Вскоре Уотсон занялся каким-то делом, а Филип стал разбирать письма. Потом заглянул мистер Гудуорти и сообщил, что приехал мистер Картер. Филипа привели в просторный кабинет рядом с комнатой мистера Гудуорти. В нем стояли большой письменный стол и несколько больших кресел; пол был покрыт турецким ковром, а стены украшены гравюрами на спортивные сюжеты. Мистер Картер сидел за столом и привстал, чтобы пожать Филипу руку. На нем был длиннополый фрак, но выправка у мистера Картера была военная, усы нафабрены, седые волосы аккуратно подстрижены бобриком, держался он чрезвычайно прямо, говорил бодро, жил в Энфилде, увлекался спортом и пекся о благе отечества, служа офицером в добровольческой кавалерии Хертфоршира и состоя председателем местной ассоциации консерваторов. Когда ему рассказывали, что какой-нибудь тамошний магнат заявил, будто мистер Картер совсем не похож на городского дельца, ему начинало казаться, что жизнь им прожита не зря. С Филипом он беседовал с любезной небрежностью. Мистер Гудуорти возьмет его под свою опеку. Уотсон — милейший человек, настоящий джентльмен и отличный спортсмен. А Филип охотится? Жаль, жаль — это наилучший вид спорта для джентльмена. Ему теперь редко удастся ездить на охоту, пришлось уступить эту забаву сыну. Сын у него в Кембридже; окончил Регби, Регби — отличная школа, в ней учатся дети из хороших семейств. Через несколько лет и его сын будет проходить у них стажировку. Филипу сын должен понравиться, — спортсмен до мозга костей. Мистер Картер надеялся, что работа у Филипа пойдет на лад и будет ему по душе; он ни в коем случае не должен пропускать лекций самого мистера

Картера: их задача — придать лоск людям их профессии, привлечь в нее настоящих джентльменов. Ну что ж, хорошо, что здесь мистер Гудуорти. Если Филипа будет что-нибудь интересовать, лучше всего спросить мистера Гудуорти. Какой у него почерк? А впрочем, мистер Гудуорти это выяснит.

Филип был обескуражен всей этой светскостью; у них в Восточной Англии точно знали, кто настоящий джентльмен, а кто нет. Но у джентльменов на эту тему не принято было разговаривать.

ГЛАВА 37

Сначала новизна работы делала ее интересной. Мистер Картер диктовал ему письма и поручал набело переписывать счета.

Мистер Картер предпочитал вести свое дело в стиле, достойном истого джентльмена: он и слышать не желал о пишущих машинках, а к стенографии относился крайне отрицательно; рассыльный знал стенографию, но только мистер Гудуорти позволял себе пользоваться этим его умением. Время от времени Филип отправлялся с одним из опытных конторщиков проверять счета какой-нибудь фирмы; он теперь уже знал, к кому из клиентов нужно было относиться почтительно и кто из них сел на мель. Время от времени ему давали складывать длинные столбцы цифр. Он посещал лекции, готовясь к первому экзамену. Мистер Гудуорти твердил, что поначалу работа ему покажется скучной, но что потом он привыкнет. Филип выходил из конторы в шесть и шел через реку к Ватерлоо. Когда он возвращался домой, его ждал ужин; вечера он проводил за книгой. По субботам он ходил в Национальную галерею. Хейуорд рекомендовал ему путеводитель, составленный из статей Рескина, и он прилежно осматривал один зал за другим. Внимательно прочтя, что критик говорит по поводу той или иной картины, он упорно старался увидеть в ней то же самое. Трудней было скоротать воскресенье. Он никого не знал в Лондоне и проводил воскресные дни в одиночестве. Мистер Никсон — их поверенный — пригласил его на одно из воскресений в Хэмстед, и Филип весело провел целый день в шумной компании малознакомых людей; он много ел и пил, гулял по лугу и уехал, получив приглашение

приезжать когда вздумается, но ему мешал болезненный страх показаться навязчивым, и он стал ждать более определенного приглашения. Естественно, что оно так и не последовало: у Никсонов было множество друзей, им некогда было думать об одиоком, молчаливом юноше, который, в сущности говоря, и не мог претендовать на их гостеприимство. Поэтому по воскресеньям он поздно вставал и прогуливался по берегу Темзы. В Барнсе река была мутная, засоренная, мелевшая во время отливов; в ней не было ни нежной прелести Темзы выше шлюзов, ни романтики огромного скопища судов за Лондонским мостом. После обеда Филип прохаживался по пустырям; тут было серо и грязно — не то столица, не то деревня, под ногами рос чахлый дрок, а кругом валялись отбросы большого города. В субботу вечером он отправлялся в театр и охотно простаивал по часу, а то и больше у входа на галерку. Возвращаться в Барнс между закрытием музея и ужином в закусочной было бессмысленно, и он не знал, куда девать эти часы. Он шагал по Бонд-стрит или по Бэрлингтонскому пассажи, а устав, садился на скамейку в Гайд-парке или, если шел дождь, забирался в публичную библиотеку на Сент-Мартинс-лейн. Он разглядывал прохожих и завидовал им — у каждого из них были друзья; порой он даже испытывал к ним ненависть: они были счастливы, а он несчастен. Раньше он не мог себе представить, что в большом городе чувствуешь такое одиночество. Иногда в очереди на галерку кто-нибудь с ним заговаривал, но у Филипа была чисто деревенская подозрительность к незнакомым людям, и своим ответом он отрезал путь к дальнейшему знакомству. Когда спектакль кончался, Филип, огорчаясь, что ему не с кем поделиться впечатлениями, пересекал мост по дороге к Ватерлоо. Входя в холодную комнату, где камина не топили из экономии, он чувствовал, как у него сжимается сердце. Тут было так безрадостно. Постепенно ему опротивели его квартира и одинокие вечера, которые он в ней проводил. Иногда ему бывало так тоскливо, что он не мог даже читать; он сидел, часами глядя в огонь, и чувствовал себя глубоко несчастным.

Он провел в Лондоне уже три месяца и, не считая того воскресенья в Хэмстеде, не обмолвился ни единым словом ни с кем, кроме товарищей по конторе. Как-то вечером Уотсон пригласил его пообедать в ресторане, после чего

они вдвоем отправились в мюзик-холл, но Филип робел и чувствовал себя стесненно. Уотсон все время разговаривал о вещах, которые были Филипу неинтересны, и, хотя казался человеком суетным, Филип не мог им не восхищаться. Его злило, что Уотсон ни во что не ставит его знания, и, будучи склонным видеть себя таким, каким его видят другие, он стал презирать те свои достоинства, которыми прежде дорожил. Впервые Филип почувствовал, как унижительна бедность. Дядя посылал ему четырнадцать фунтов в месяц, а ему надо было одеваться. Вечерний костюм обошелся в пять гиней. Он не посмел признаться Уотсону, что купил фрак в магазине готового платья. Уотсон утверждал, что в Лондоне есть только один порядочный портной.

— Вы, конечно, не танцуете, — сказал как-то Уотсон, поглядев на его ногу.

— Нет.

— Жаль. Меня попросили привести на бал людей, которые умеют танцевать. Мог бы познакомить вас с премиленькими девушками.

Как-то раз Филипу уж очень не захотелось возвращаться домой в Барнс; он остался в городе и стал бродить по Вест-энду; поздно вечером он подошел к дому, где в этот день устраивали прием. Филип стоял за спиной лакеев, в толпе оборванных зевак, смотрел, как подъезжают кареты с гостями, и слушал доносившуюся из дома музыку.

На балкон, несмотря на холод, то и дело выходила какая-нибудь парочка подышать свежим воздухом, и Филип, думая, что это — влюбленные, повернулся и с тяжелым сердцем заковылял дальше. Ему не суждено вот так выходить на балкон. Ни одна женщина не захочет глядеть на хромого урода.

Он сразу же подумал о мисс Уилкинсон. Филип вспоминал ее без всякого удовольствия. Расставаясь, они условились, что она будет писать ему до востребования на почтовое отделение в Чэринг-кросс, пока Филип не сообщит ей своего адреса. Сходив на почту, он получил сразу три письма. Миссис Уилкинсон писала по-французски на голубой бумаге лиловыми чернилами. Филип не понимал, почему она валяет дурака и не пишет по-английски, а ее страстные излияния оставляли его холодным, потому что уж слишком напоминали дешевые французские романы. Она упрекала Филипа в том, что он ей не писал. Отвечая, он

оправдывался, что был очень занят. Начать письмо ему было трудно: он не мог заставить себя обратиться к ней «моя дорогая» или «любимая», не решался написать просто «Эмили» и в конце концов удовольствовался коротким «дорогая». Слово это в заголовке письма выглядело как-то нелепо, но ничего лучшего он придумать не мог. Филип писал свое первое любовное письмо и чувствовал, что в нем не хватает пыла; по его представлениям оно должно было дышать безудержной страстью, там, наверно, нужны клятвы, что он думает о ней беспрестанно, мечтает целовать ее прекрасные руки, дрожит, вспоминая об алых губах, — однако какое-то необъяснимое целомудрие мешало ему пуститься в декламацию, и вместо этого он писал ей о своем житье-бытье и о конторе, где он работает. Ответ пришел очень скоро — сердитый, безутешный, полный упреков и недоумения, почему он так холоден. Разве он не знает, что в его письмах для нее вся жизнь? Она отдала ему все, что способна дать женщина, и вот как он ее отблагодарил! Неужели она ему надоела? И, когда он ей не сразу ответил, мисс Уилкинсон засыпала его целым ворохом посланий. Она не в силах снести его черствость, она с замиранием сердца ждет почтальона, а писем от него все нет; каждую ночь она засыпает в слезах, у нее такой страшный вид, что все ее спрашивают, не больна ли она; если он ее больше не любит, пусть скажет прямо. Она добавила ко всему этому, что не может без него жить и единственное, что ей осталось, — покончить с собой. Она писала, что он — бессердечный эгоист, человек неблагодарный. И все это было выражено по-французски. Филип знал, что она пишет на чужом языке из кокетства, но письма его все-таки огорчали. Ему не хотелось причинять ей боль. Немного погодя она написала, что не вынесет дольше разлуки и постарается приехать на Рождество в Лондон. Филип ответил, что был бы бесконечно счастлив, но, к сожалению, он уже пообещал провести Рождественские праздники у друзей в деревне и не знает, как ему быть. Она написала, что не хочет ему навязываться, тем более что он явно не желает ее видеть; она глубоко оскорблена, она не ждала, что он оплатит ей такой неблагодарностью за все добро, которое она ему сделала. Письмо тронуло Филипа — ему показалось, что на бумаге видны следы слез; он послал ей теплое письмо в ответ, просил прощения и молил приехать; но почувствовал явное облегчение, узнав, что ей нельзя

оставить дом на праздники. Постепенно ее письма стали его пугать, он не спешил их распечатывать, зная, что они полны сердитых упреков и жалоб: зачем ему снова чувствовать себя скотиной, раз он не понимает, в чем его вина? Он откладывал ответ со дня на день, пока не пришло новое письмо, где она писала, что больна, одинока и несчастна.

— О Господи! Зачем только я с ней связался! — восклицал он.

Его восхищал Уотсон, легко выходивший из подобных затруднений. У этого молодого льва была интрижка с актрисой бродячей труппы, и его рассказы об этой связи наполняли сердце Филипа изумлением и завистью. Через некоторое время Уотсон изменил своей «первой любви» и как-то раз описал Филипу сцену разрыва.

— Я решил, что с ней нечего церемониться, и заявил напрямик: с меня хватит.

— Представляю себе, какую она вам закатила сцену, — сказал Филип.

— Само собой. Но я ей сразу объяснил, что со мной она старается зря.

— Плакала?

— Да, начала было реветь, но я не выношу, когда у женщины глаза на мокром месте. Я ей заявил, чтобы она убиралась.

С годами чувство юмора становилось у Филипа острее.

— Ну и как, убиралась? — спросил он с улыбкой.

— А что ей оставалось делать?

Тем временем приближались Рождественские праздники. Миссис Кэри проболела весь ноябрь; врач посоветовал ей съездить со священником на недельку-другую отдохнуть в Корнуэлл. И в конце концов оказалось, что Филипу некуда деваться на Рождество; он провел сочельник у себя в комнате. Под влиянием Хейуорда он себя уговорил, что торжества, происходящие в эти дни, — пошлость и варварство, и решил, что ничем не ознаменует праздничный день; однако, когда этот день настал, всеобщее веселье как-то удивительно на него подействовало. Квартирная хозяйка с хозяином пошли к замужней дочери, и, чтобы избавить их от хлопот, Филип заявил, что не будет обедать дома. Около полудня он направился в Лондон и в одиночестве съел у «Гатти» кусок индейки и рождественский пудинг, а потом —

так как делать ему было нечего — зашел в Вестминстерское аббатство послушать вечернюю службу. Улицы были пустынные, и редкие прохожие куда-то спешили с озабоченным видом; все они стремились к определенной цели; почти никто не шел один. Филипу казалось, что на всех лицах написано веселье. Сам же он чувствовал себя еще более одиноким чем когда бы то ни было. Он намеревался убить как-нибудь день, а потом поужинать в ресторане, но мысль о том, что он снова увидит вокруг себя веселых людей — они будут разговаривать, смеяться, шутить друг с другом, — была невыносима, поэтому он снова побрел к Ватерлоо; проходя по Бриджроуд, он купил ветчины, пирожков с мясом и вернулся в Барнс. Придя в свою комнатку, он поел в полном одиночестве и сел за книгу. Его одолевала нестерпимая тоска.

Когда он пришел в контору, ему было больно слушать рассказы Уотсона о том, как он провел праздники. У них гостили хорошенькие девушки; после обеда молодежь сдвинула мебель в гостиной и устроила танцы.

— Спать я лег часа в три — не знаю, как добрался до постели. Видит Бог, я здорово налился.

Наконец Филип, в полном отчаянии, решился у него спросить:

— Скажите, а как у вас в Лондоне знакомятся?

Уотсон поглядел на него с недоумением и ухмыльнулся чуть-чуть презрительно.

— Понятия не имею. У каждого есть знакомые, вот и все. Если ходишь на танцы, знакомых у тебя хоть отбавляй.

Филип презирал Уотсона, но отдал бы все на свете, чтобы быть на его месте. К нему вернулось чувство, которое он испытывал когда-то в школе: ему так хотелось очутиться в чужой шкуре. Интересно, как бы он жил, будь он Уотсоном?

ГЛАВА 38

К концу года скопилось много работы. Филипа посылали то в одно, то в другое место с конторщиком по фамилии Томпсон, и он проводил целые дни, монотонно выкликая суммы расходов, которые его компаньон сверял с книгами; иногда ему поручали выводить итоги под длинными столбцами цифр. Он никогда не был в ладах с арифметикой

и считал очень медленно. Томпсона раздражали его постоянные ошибки. Этот товарищ Филипа по работе был черноволосый длинный и тощий человек лет сорока, с землистым цветом лица и растрепанными усами; у него были впалые щеки и резкие складки возле рта. Филипа он невзлюбил за то, что тот был платным учеником, мог выложить за обучение триста гиней и содержать себя целых пять лет, — таким молодчикам нетрудно сделать карьеру. Он же, Томпсон, несмотря на весь свой опыт и умение, не имел надежды подняться выше должности конторщика с окладом тридцать пять шиллингов в неделю. Человек он был неуживчивый, обремененный большой семьей, и его бесило мнимое высокомерие Филипа. Томпсон издевался над Филипом за то, что тот был образованнее, чем он, насмехался над его произношением, не мог простить, что тот говорит грамотно, и, обращаясь к Филипу, нарочно утрировал неправильность своей речи. Сначала Томпсон был просто резок и сварлив, но, заметив, что у Филипа нет способностей к счетному делу, стал его всячески поносить; нападки его были грубы и глупы, но они обижали Филипа, и, защищаясь, он изображал превосходство, которого не ощущал.

— Небось утром принимали ванну? — спросил Томпсон Филипа, когда тот опоздал на работу: прилежания первых дней теперь как не бывало.

— Конечно, а вы разве нет?

— Нет. Я — не джентльмен. Я всего-навсего конторщик. Моюсь только по субботам.

— Видно, поэтому у вас по понедельникам характер еще хуже, чем обычно.

— Может, вы удостоите нас такой милости и подытожите несколько чисел при помощи простого сложения? Я понимаю, это — дерзкая просьба по отношению к джентльмену, владеющему латынью и греческим.

— Ваши попытки острить, как всегда, неудачны.

Но Филипу трудно было не замечать, что другие конторщики, малоразвитые и плохо оплачиваемые, приносят куда больше пользы, чем он. Раза два он вывел из терпения даже мистера Гудурти.

— Эй-Богу, вам пора уже разбираться в этих делах. А вы соображаете хуже нашего посыльного.

Филип надулся. Он не любил замечаний и почувствовал себя униженным, когда, получив распоряжение снять копии

с каких-то счетов, переписал их так, что мистеру Гудуорти пришлось поручить это другому конторщику. Сначала работа казалась ему терпимой благодаря своей новизне, но потом она начала его тяготить, а когда он понял, что у него нет к ней способностей, она ему совсем опротивела. Вместо того чтобы выполнять поручения, он теперь часто коротал время, рисуя на конторских бланках. Он изобразил Уотсона в самых разных позах, и тот был восхищен его талантом. Уотсон даже взял эти рисунки домой и на другой день передал Филипу похвалы своих родных.

— Почему же вы не стали художником? — спросил он. — Правда, денег этим не зарабатываешь...

Случилось так, что дня через два мистер Картер обедал у Уотсона и ему показали рисунки Филипа. Наутро мистер Картер велел его позвать. Филип видел хозяина редко и немножко побаивался.

— Послушайте, молодой человек, мне безразлично, что вы делаете в свободное время, но я видел ваши рисунки на конторских бланках, а мистер Гудуорти жалуется, что вы небрежно относитесь к своим обязанностям. Вы никогда не станете хорошим бухгалтером, если будет работать спустя рукава. Профессия у нас завидная, и мы постепенно вовлекаем в нее людей из хорошего общества, но в нашем деле нельзя... — Он поискал подходящее слово, но, так и не отыскав его, вяло повторил: — ...работать спустя рукава.

Может быть, Филип и втянулся бы в работу, но он помнил пункт в договоре, разрешавший ему бросить ее, если после первого года обучения профессия придется ему не по душе. При этом ему должны были возратить половину внесенной оплаты. Подытоживая длинные столбцы цифр, Филип считал, что достоин лучшей участи, чувствовал себя униженным, когда его попрекали неумением делать работу, казавшуюся ему малопочтенной. Грубые препирательства с Томпсоном действовали на нервы. В марте Уотсон кончил свою годичную стажировку, и, хотя Филип его и недолюбливал, ему стало жалко, что Уотсон ушел. Их роднило то, что другие конторщики относились к ним обоим враждебно: ведь и Филип, и Уотсон были выходцами из несколько иного класса. Стоило Филипу подумать, что придется еще четыре года провести бок о бок с этими безнадежно унылыми людьми, и у него сжималось сердце. Уезжая в Лондон, он ждал чего-то необыкновенного и не получил

ничего. Теперь он ненавидел этот город. У него тут не было ни одного знакомого, и он не представлял себе, как люди в Лондоне знакомятся друг с другом. Он больше не в силах был повсюду ходить один. Ему казалось, что он не сможет дольше терпеть такую жизнь. Лежа в постели, он думал о том, какое счастье не видеть больше эту мрачную контору и людей, которые в ней работают, покинуть это унылое жилье.

Весной его постигло большое разочарование. Хейуорд сообщил ему, что собирается в Лондон, и Филип с нетерпением ждал его приезда. Ему так хотелось повидать друга: он столько прочел и передумал за последнее время, у него накопилось столько мыслей, так нужно было ими поделиться, а кругом не интересовались ничем отвлеченным. Его так радовало, что вот он скоро наговорится досыта. Когда же Хейуорд написал, что весна в этом году в Италии пленительнее, чем когда бы то ни было, и он не в силах с ней расстаться, Филип был страшно огорчен. Хейуорд спрашивал, почему бы Филипу не приехать в Италию. Стоит ли тратить свою молодость на какую-то дурацкую контору, когда мир так прекрасен? Он написал:

«Удивляюсь, как вы можете терпеть такую жизнь. Меня дрожь берет, когда я вспоминаю Флит-стрит и Линкольнс-Инн. На свете только две вещи оправдывают человеческое существование — любовь и искусство. Не могу представить себе вас корпящим над грессбухом. Неужели вы ходите в цилиндре, с зонтиком и маленьким саквояжем в руках? Я верю, что жизнь человека должна быть полна самых неожиданных приключений, что надо сгорать в испепеляющем огне, рисковать, смотреть в глаза опасности. Почему вы не едете в Париж и не учитесь живописи? Мне всегда казалось, что у вас есть к этому талант».

Его совет совпал с тем, что у самого Филипа уже зрело в душе. Сначала идея показалась ему неосуществимой, но он не мог выбросить ее из головы и пришел к выводу, что это — единственный выход из его бедственного положения. Не только Хейуорд считал, что у него есть талант к живописи: в Гейдельберге все восхищались его акварелями, мисс Уилкинсон без конца твердила, что они просто очаровательны, и даже посторонние люди, вроде Уотсонов, хвалили его рисунки. «Жизнь богемы» Мюрже произвела на Филипа глубокое впечатление. Он привез книжку в Лондон и

в самые тоскливые минуты, прочтя несколько страниц, мысленно переносился в одну из прелестных мансард, где Родольф и его друзья плясали, любили и пели песенки. Он мечтал теперь о Париже, как когда-то мечтал о Лондоне, но не боялся нового разочарования: он томился по романтике, красоте любви, а Париж сулил ему все это. У него врожденная страсть к живописи; он сможет писать картины не хуже других. Он спросил у мисс Уилкинсон, сколько ему нужно денег, чтобы прожить в Париже. Она ответила, что ему вполне хватит восьмидесяти фунтов в год, и отнеслась к его замыслу с восторгом. Она писала, что Филип достоин лучшей участи, чем работа в конторе: «Кому захочется быть бухгалтером, если он способен стать великим художником!» — восклицала она с пафосом и убеждала Филипа поверить в свои силы: ведь это — самое главное. Но Филип не был человеком опрометчивым. Хорошо Хей-уорду говорить о жизни, полной дерзаний: его деньги были надежно помещены и давали триста фунтов в год; весь же капитал Филипа не превышал тысячи восьмисот фунтов. Он колебался.

Но в один прекрасный день мистер Гудуорти вдруг спросил его, не хочет ли он съездить в Париж. Фирма вела счета отеля в предместье Сент-Оноре, который принадлежал английскому акционерному обществу, и дважды в год мистер Гудуорти ездил туда с одним из конторщиков. Этот конторщик захворал, а срочная работа мешала отлучиться другим. Мистер Гудуорти остановился на Филипе: без него было легче всего обойтись, а его положение давало ему некоторые права на эту поездку. Филип был в восторге.

— Днем нам придется работать, — говорил мистер Гудуорти, — но зато по вечерам мы свободны. А Париж — это Париж. — Он многозначительно осклабился. — В отеле нас отлично содержат, кормят как положено, денег нам это не стоит. Лучший способ ездить в Париж — за чужой счет.

Когда они приехали в Кале и Филип увидел толпу темпераментно жестикулирующих носильщиков, сердце его забилось. «Вот оно наконец», — сказал он себе.

Поезд тронулся, и Филип не мог оторвать глаз от окна; его восхищали песчаные дюны — цвет их казался ему самым прекрасным из всего, что он видел в жизни; он приходил в восторг от каналов и бескончаемой вереницы тополей.

Когда они вышли из Северного вокзала и покатали по неровно мощеным улицам в стареньком, скрипучем экипаже, Филипу показалось, что он дышит каким-то другим воздухом, таким пьянящим, что он с трудом сдерживался, чтобы не закричать от радости. У входа в отель их встретил управляющий — толстый симпатичный человек, прилично говорящий по-английски; с мистером Гудуорти они были старые друзья, и приезжих встретили очень радушно; жена управляющего угостила их обедом у себя дома, и Филипу показалось, что он никогда не ел ничего вкуснее этого *beefsteak aux pommes*¹ и не пил такого нектара, как это *vin ordinaire*².

Почтенному и благонамеренному домовладельцу мистру Гудуорти столица Франции казалась развеселым и похабным раем. Наутро он спросил управляющего, что бы им повидать «такого-разэтакого, с клубничкой». Поездки в Париж доставляли ему громадное удовольствие: по его словам, они не дают обрасти мхом. По вечерам, когда с работой было покончено, они обедали, а потом мистер Гудуорти водил Филипа в «Мулен Руж» или в «Фоли Бержер». Смакуя непристойности, он хитренько и сластолюбиво жмурился, глазки его так и сверкали. Он посещал все значные места, специально предназначенные для иностранцев, а вернувшись, разглагольствовал о том, что страна, которая позволяет себе подобный разврат, обречена на гибель. Когда в каком-нибудь ревю на сцене появлялась обнаженная женщина, он толкал Филипа локтем в бок и называл ему видных проституток, которые разгуливали по залу. Он показывал Филипу пошлый, вульгарный Париж, но Филип глядел на него глазами, ослепленными восторгом. Ранним утром он выбегал из отеля, шел на Елисейские поля, стоял на площади Согласия. Был июнь, и Париж серебрился в прозрачном воздухе. Сердце Филипа было переполнено любовью к людям. «Вот она, — думал он, — настоящая романтика».

Они провели в Париже почти неделю и уехали только в воскресенье. Когда поздно ночью Филип вошел в свое убогое жилище в Барнсе, решение было принято: он откажется от бухгалтерского диплома и уедет в Париж учиться живописи; однако боясь, что его сочтут сумасбродом, он решил

¹ Биштекса с жареной картошкой (фр.).

² Столовое вино (фр.).

остаться в конторе до конца первого года. В середине августа ему полагался отпуск; уезжая, он заявит Герберту Картеру, что не намерен возвращаться. Но, хотя Филип и заставлял себя каждый день ходить в контору, он не мог даже сделать вид, будто работа его интересует. Мысли его были заняты будущим. Во второй половине июля дел стало гораздо меньше, и он часто уходил из конторы под тем предлогом, что ему надо посещать лекции для сдачи первых экзаменов. Все свободное время он проводил в Национальной галерее. Он зачитывался книгами об искусстве и о Париже. Рескина он изучил досконально. Прочел он и жизнеописания итальянских художников, написанные Вазари. Ему нравилась биография Корреджо, и он видел себя стоящим перед огромным полотном и произносящим, подобно итальянцу: «Anch'io son'pittore!»¹

Теперь в душе его не было никаких сомнений: он поверил, что у него есть задатки большого художника.

«В конце концов, могу же я попытаться, — говорил он себе. — Самое важное в жизни — это уметь рисковать».

Наконец настала середина августа. Мистер Картер проводил свой месячный отпуск в Шотландии, и контору возглавлял управляющий. Со времени их поездки в Париж мистер Гудуорти, казалось, благоволил к Филипу, и теперь, когда свобода была так близка, юноша мог относиться к этому забавному человеку терпимо.

— Завтра уезжаете в отпуск, Кэри? — спросил тот однажды вечером.

Весь день Филип твердил себе, что сегодня наконец он последний раз сидит в этой ненавистой конторе.

— Да, год моего учения пришел к концу.

— К сожалению, вам трудно похвастаться успехами. Мистер Картер очень вами недоволен.

— Но не так, как я недоволен мистером Картером, — весело возразил ему Филип.

— Вам не пристало так говорить, Кэри.

— Я больше не вернусь сюда. У нас была договоренность, что, если бухгалтерия мне не понравится, мистер Картер через год вернет мне половину денег, внесенных за обучение, и я смогу все это бросить.

¹ «И я ведь тоже художник!» (*ит.*) — слова, которые будто бы произнес Корреджо, глядя на «Святую Цецилию» Рафаэля.

— А ваше решение не слишком ли опрометчиво?

— За десять месяцев я все это возненавидел. Возненавидел работу, возненавидел контору, возненавидел Лондон. Лучше подметать улицы, чем тянуть эту лямку.

— Да уж что говорить — не больно-то вы годитесь для нашей профессии.

— Прощайте, — протянул ему руку Филип. — Я хочу поблагодарить вас за вашу доброту. Простите, если я причинял вам неприятности. Но я чуть ли не с самого начала понял, что дело это не по мне.

— Ну что ж, если вы твердо решили, тогда прощайте. Не знаю, что вы намерены делать, но, если будете поблизости, заходите нас повидать.

Филип засмеялся.

— Простите меня за грубость, но я от души надеюсь, что никогда в жизни больше никого из вас не увижу.

ГЛАВА 39

Блэкстеблский священник и слышать не хотел о том, что задумал Филип. У него было твердое убеждение, что всякое начатое дело нужно доводить до конца. Как и все слабохарактерные люди, он настойчиво требовал от других, чтобы они не меняли своих решений.

— Ты ведь сам хотел стать бухгалтером, тебя никто не неволил, — говорил он Филипу.

— Я согласился потому, что не нашел другого способа уехать в Лондон. Теперь я ненавижу его, ненавижу эту работу, и ничто меня не заставит туда вернуться.

Мистер и миссис Кэри были откровенно возмущены намерением Филипа стать художником. Он не должен забывать, говорили они, что его родители были людьми из хорошего общества, а занятие живописью нельзя назвать порядочной профессией, это какая-то богема, неприличие, безнравственность. Да еще Париж!

— Пока я имею право решать твою судьбу, я не позволю тебе жить в Париже, — твердо заявил священник. — Это вертеп. Блудницы вавилонские щеголяют там своими пороками; Содом и Гоморра были менее греховны, чем этот город. Тебя воспитывали как джентльмена и христианина, и я бы не оправдал доверия твоих покойных родителей, если бы позволил тебе поддаться такому соблазну.

— Ну что ж, я знаю, что я не христианин, и начинаю сомневаться в том, что я джентльмен, — заявил Филип.

Спор принимал все более бурный характер. Филип должен был вступить во владение своим маленьким наследством только через год, а пока что мистер Кэри соглашался выдавать ему на расходы лишь при том условии, что он останется в конторе. Филипу же было ясно, что раз он не намерен заниматься бухгалтерией, ему нужно бросить это дело, пока еще можно получить назад хотя бы половину денег, уплаченных за обучение. Священник ничего не желал слушать. Филип, позабыв всякую сдержанность, говорил злые и обидные слова.

— Вы не имеете права транжирить мои деньги! — воскликнул он в конце концов. — Ведь деньги же все-таки мои, а не ваши. Я не ребенок. Как вы можете не пустить меня в Париж, если я решил туда поехать? Сколько бы вы ни настаивали, я не вернусь больше в Лондон.

— Все, что я могу сделать, — это не дать тебе денег, если ты отказываешься поступать так, как я считаю нужным.

— Пожалуйста, воля ваша. Я решил поехать в Париж и, если будет нужно, продам свои костюмы, книги и золотые вещи отца.

Тетя Луиза молча сидела рядом; она была очень расстроена, видя, что Филип вне себя, но понимала, что любое ее возражение рассердит его еще больше. Наконец священник заявил, что не желает ничего слышать, и вышел с высоко поднятой головой. Целых три дня он с Филипом не разговаривал. Филип написал Хейуорду, попросил, чтобы тот сообщил ему подробнее о Париже, и решил отправиться в путь сразу же, как получит ответ. Ссора между Филипом и дядей терзала миссис Кэри; она чувствовала, что Филип теперь ненавидит и ее тоже, и эта мысль ее просто изводила. Она любила мальчика всем сердцем. Не выдержав, она с ним заговорила первой и внимательно выслушала все его излияния насчет того, как его разочаровал Лондон и какие честолюбивые мечты влекут его в Париж.

— Может, из меня ничего не выйдет, но дайте мне хотя бы попробовать. Я не могу оказаться бездарнее, чем я был в этой проклятой конторе. И у меня такое чувство, что я могу писать картины. Я знаю, во мне что-то есть.

Она не была так уверена, как ее муж, что они поступают правильно, мешая племяннику заниматься искусством,

к которому у него такая сильная склонность. Она читала о великих художниках, чьи родители не позволяли им учиться живописи, и будущее показало всю преступность родительского упрямства. И неужели художник не может вести такую же праведную жизнь, как и присяжный бухгалтер?

— Я так боюсь твоей поездки в Париж, — говорила она Филипу жалобно. — Если бы ты еще учился в Лондоне, куда ни шло.

— Я хочу посвятить себя живописи. Если ею заниматься как следует, то только в Париже можно чему-нибудь научиться по-настоящему.

По просьбе Филипа миссис Кэри написала поверенному, что Филип разочаровался в своей работе в Лондоне, и спросила, как мистер Никсон отнесся бы к возможности переменить ее на какую-нибудь другую. В ответ было получено следующее письмо:

«Уважаемая миссис Кэри!

Я виделся с мистером Гербертом Картером и, к сожалению, должен Вам сообщить, что Филип не сумел проявить себя так, как этого бы хотелось. Если он решительно настроен против своей работы, может быть, лучше воспользоваться случаем и расторгнуть договор. Нечего и говорить, что я очень огорчен тем, как обернулось дело, но Вы сами знаете, что отрезанный ломоть к хлебу не пристанет.

Искренне преданный Вам *Альберт Никсон*»

Письмо показали священнику, но, прочтя его, он заупрямился еще больше. Он не возражал, чтобы племянник избрал себе какую-нибудь другую профессию — он даже предложил ему пойти по стопам отца и заняться медициной, — но ничто не заставит его дать Филипу деньги, если он поедет в Париж.

— Все это бредни себялюбца и человека распушенного, — сказал он.

— Любопытно, что себялюбие ты видишь только в других, — колко отпарировал Филип.

В это время пришел ответ от Хейуорда, который сообщал ему адрес отеля, где Филип сможет получить комнату за тридцать франков в месяц, и прилагал рекомендательное письмо к *massière*¹ в одной из художественных школ. Филип прочел письмо тете Луизе и сказал ей, что собирается ехать первого сентября.

¹ Староста в школе скульптуры или живописи (*фр.*).

— Но у тебя же нет денег, — возразила она.

— Я сегодня же поеду в Теркенбери и продам отцовские золотые вещи.

Он получил в наследство от отца золотые часы с цепочкой, два-три кольца, запонки и две булавки для галстука. Одна из них была жемчужной и стоила, надо думать, довольно дорого.

— Одно дело — купить вещь, а другое — ее продать, — сказала тетя Луиза.

Филип улыбнулся, потому что это было любимое изречение его дядюшки.

— Знаю, но на самый худой конец я получу за все фунтов сто и проживу на эти деньги, пока мне не исполнится двадцать один год.

Миссис Кэри ничего не ответила. Она поднялась к себе в комнату, надела черную шапку и отправилась в банк. Через час она вернулась. Подойдя к Филипу, который читал в гостиной, она вручила ему конверт.

— Что это? — спросил он.

— Маленький подарок, — ответила она со смущенной улыбкой.

Он вскрыл конверт и обнаружил там одиннадцать кредитных билетов по пяти фунтов и бумажный мешочек, набитый золотыми.

— Меня ужасно огорчает, что тебе придется продать драгоценности отца. Это мои деньги, они лежали в банке. Тут почти сто фунтов.

Филип покраснел, и на глазах у него почему-то навернулись слезы.

— Дорогая ты моя, разве я могу их взять? Огромное тебе спасибо, но совесть мне этого не позволит.

Когда миссис Кэри выходила замуж, у нее было триста фунтов; деньги эти она тратила очень бережливо, на всякие непредвиденные нужды: неотложную помощь бедным и подарки к Рождеству и дню рождения мужу и Филипу. Годы шли, и ее маленький капитал, к сожалению, таял, но по-прежнему служил священнику поводом для шуток. Он звал жену богачкой и постоянно поддразнивал ее тем, что она копит деньги «про черный день».

— Ну, пожалуйста, мальчик, возьми их. Мне ужасно обидно, что я была такой мотовкой и у меня так мало осталось. Но я буду просто счастлива, если тебе они пригодятся.

— Но ведь тебе они самой понадобятся, — сказал Филипп.

— Нет, наверно, уже не понадобятся. Я их берегла, боялась, что дядя умрет прежде меня. Мне казалось, что надо иметь про запас хоть немножко денег, если они мне вдруг будут нужны, но мне почему-то кажется, что я долго не проживу.

— Что ты, дорогая, как можно так говорить! Ну конечно же, ты никогда не умрешь. Разве я смогу без тебя?

— Да нет, теперь уж мне не страшно умереть, — голос ее дрогнул, и она прикрыла рукой глаза, но тут же их вытерла и постаралась улыбнуться. — Сначала я молила Бога, чтобы он не взял меня к себе первую, — я так боялась, что Уильям останется один и будет горевать, но теперь я знаю, что для него это не будет такой утратой, как было бы для меня. Ему куда больше хочется жить, чем мне, я не была ему женой, какая ему нужна, и думаю, что, если со мной что-нибудь случится, он женится опять. Поэтому мне и хочется умереть первой. Ты не считаешь меня эгоисткой, а, мальчик? Но я ведь все равно не перенесу, если он умрет.

Филипп поцеловал ее худую морщинистую щеку. Он не понимал, почему ему мучительно стыдно при виде такой самозабвенной любви. Как можно было отдать сердце равнодушному человеку, эгоисту, себялюбцу? Чутьем он угадывал, что она знает, как безразличен к ней муж, как он черств. Знает и все равно его любит, преданно и смиренно.

— Ты возьмешь эти деньги, да, мальчик? — спросила она, нежно поглаживая его руку. — Я знаю, ты можешь без них обойтись, но не лишай меня этой маленькой радости. Мне всегда так хотелось что-нибудь для тебя сделать. Ты пойми, у меня никогда не было своего ребенка, и я люблю тебя, как сына. Когда ты был маленький — я знала, что это очень нехорошо, — но мне иногда даже хотелось, чтобы ты заболел и я могла бы за тобой поухаживать, особенно ночью. Но ты болел только раз, да и то в школе. Мне ужасно нужно хоть чем-нибудь тебе помочь. И другого случая уже никогда не представится. Может, когда-нибудь, когда ты станешь великим художником, ты меня вспомнишь, вспомнишь, что это я помогла твоим первым шагам на жизненном пути.

— Большое спасибо, — сказал Филипп. — Я очень тебе благодарен.

Ее усталые глаза осветились улыбкой — улыбкой простодушной радости.

— Господи, как я счастлива!

ГЛАВА 40

Через несколько дней миссис Кэри отправилась на вокзал проводить Филипа. Она стояла у двери вагона, глотая слезы. Филип был оживлен и полон нетерпения. Ему хотелось, чтобы поезд поскорее отошел.

— Поцелуй меня еще разок, — попросила она.

Он высунулся из окна вагона и поцеловал ее. Поезд тронулся, а она все стояла на перроне маленькой станции и махала платком, пока поезд не скрылся из виду. На сердце у нее было тяжело, и дорога до дома показалась ей нескончаемо долгой. Ничего удивительного, что ему не терпелось поскорее уехать, думала она: он ведь еще мальчик и его манит будущее, а вот ей, ей... И она изо всех сил стиснула зубы, чтобы не заплакать. Мысленно она помолилась Богу, чтобы он оградил ее мальчика от всякого зла и соблазна, даровал ему счастье и удачу.

Но Филип забыл и думать о ней, как только сел в вагон. Он думал только о будущем. Он написал миссис Оттер — *massière*, к которой Хейуорд дал ему рекомендательное письмо, и в кармане у него лежало ее приглашение на завтра к чаю. Приехав в Париж, Филип велел погрузить свои вещи на извозчика и медленно покатил по оживленным улицам через мост, по узеньким переулкам Латинского квартала. Он снял комнату в «Отель де дёз эколь» на одной из самых захудалых улочек возле бульвара Монпарнас, откуда ему рукой было подать до школы «Амитрано», где он собирался учиться. Лакей внес его сундук на пятый этаж, и Филипа провели в крошечную комнатку, очень душную, так как окна не открывались. Большую часть номера занимала громадная деревянная кровать с балдахином из красного репса; на окнах висели засаленные портьеры из той же материи; комод служил и умывальником, а тяжелый гардероб был в стиле, который принято приписывать доброму королю Луи-Филиппу. Обои выцвели от времени; они были темно-серые, и на них можно было различить гирлянды из коричневых листьев. Филипу комната показалась забавной и очень уютной.

Время было позднее, но Филипп, слишком возбужденный, чтобы заснуть, спустился вниз и пошел по бульвару, туда, где горели огни. Они привели его на вокзал; площадь перед ним была освещена дуговыми фонарями. Яркий свет, грохот сновавших во все стороны желтых трамваев так обрадовали Филиппа, что он громко засмеялся. Повсюду были открыты кафе, и, захотев пить, а главное — получше разглядеть толпу, он уселся за столик перед «Кафе де Версай». Ночь была теплая, и за столиками сидело много народу; Филипп жадно разглядывал посетителей: тут были мужья с женами, компания бородатых мужчин в каких-то странных головных уборах, которые громко разговаривали и размахивали руками; рядом с ним сидели двое мужчин, похожих на художников, с дамами, которые, надо надеяться, не были их законными женами; за спиной какие-то американцы отчаянно спорили об искусстве. Филипп был взволнован до глубины души. Он сидел долго, усталый с дороги, но такой счастливый, что с трудом заставил себя подняться с места, а когда наконец лег спать, уснуть все равно не мог и прислушивался к многоголосому шуму Парижа.

На следующий день, часов в пять, он отправился к Бельфорскому Льву и на новой улице, которая шла от бульвара Распай, нашел квартиру миссис Оттер. Это бесцветное существо лет тридцати, провинциального склада, усиленно изображало даму из общества; она познакомила его со своей матерью. Из разговора выяснилось, что миссис Оттер учится в Париже уже три года и не живет со своим мужем. В маленькой гостиной висели два написанных ею портрета; на неопытный взгляд Филиппа, сделаны они были мастерски.

— Неужели и я когда-нибудь смогу так хорошо писать! — воскликнул Филипп.

— Надеюсь, что да, — сказала она не без самодовольства. — Но сразу всему не научишься.

Она была очень любезна и дала ему адрес магазина, где он мог купить себе папку, бумагу для рисования и уголь.

— Я пойду в «Амитрано» завтра к девяти и, если вы будете там в это время, позабочусь, чтобы вы получили удобное место.

Она спросила, с чего он собирается начать, и Филиппу не захотелось показать, как он мало разбирается в этом новом для него деле.

— Да как вам сказать... прежде всего надо научиться рисовать, как вы, — ответил он.

— Вот молодец! Другие ужасно торопятся. А я не при-
трагивалась к маслу целых два года, и посмотрите — вот
вам результат.

Она взглянула на портрет матери — довольно топорное
изображение, висевшее над пианино.

— И на вашем месте я была бы осторожнее в выборе
знакомых. Не стала бы, например, водиться со всякими ино-
странными. Я лично очень разборчива в своих знакомствах.

Филип поблагодарил ее за совет, но он показался ему
странным. Ему не очень-то хотелось быть разборчивым.

— Мы живем так, словно и не уезжали из Англии, —
вставила молчавшая до сих пор мать миссис Оттер. — Мы
даже перевезли сюда все нашу обстановку.

Филип оглядел комнату. Она была заставлена громозд-
кой мебелью, а на окнах висели такие же кружевные гар-
дины, какие тетя Луиза вешала на лето. Пианино было задра-
пировано блестящим шелком и каминная доска тоже.
Миссис Оттер поймала его взгляд.

— Вечером, когда закрываешь ставни, и в самом деле
кажется, будто ты не уезжал из Англии.

— И едим мы то же самое, что ели дома, — добавила
мать. — На завтрак мясо, обедаем в середине дня...

Выйдя от миссис Оттер, Филип отправился покупать
рисовальные принадлежности, а наутро, ровно в девять,
явился в школу, изо всех сил стараясь не выдать, как он
робеет. Миссис Оттер была там и подошла к нему с при-
ветливой улыбкой. Его тревожило, как его примут другие
ученики: Филип не раз читал, какими грубыми шутками
встречают новичков в некоторых студиях. Но миссис Оттер
его успокоила:

— Ну, у нас не бывает ничего подобного. Чуть не поло-
вина наших учеников — дамы. Они-то и задают тон.

Студия была просторной и пустой, на серых стенах были
наколоты премированные рисунки. На стуле сидела натур-
щица в небрежно накинута халате, а вокруг нее стояло
человек десять мужчин и женщин. Кое-кто из них раз-
говаривал, остальные заканчивали свои наброски. Это был
перерыв, натурщица отдыхала.

— На первых порах не беритесь за что-нибудь слиш-
ком трудное, — сказала миссис Оттер. — Поставьте мольберт

сюда. Вы увидите, что с этой точки ее рисовать проще всего.

Филип поставил мольберт, куда она показала, и миссис Оттер познакомила его с молодой женщиной, сидевшей с ним рядом.

— Мистер Кэри, мисс Прайс. Мистер Кэри еще только начинает учиться, будьте добры, помогите ему немножко, пока он не освоится. — Потом она обратилась к натурщице: — *La pose*¹.

Натурщица бросила «Птит репюблик», которую читала, и, недовольно скинув халат, влезла на помост. Она встала, слегка расставив для устойчивости ноги, и закинула руки и голову.

— Дурацкая поза, — сказала мисс Прайс. — Не пойму, зачем они такую выбрали.

Когда Филип вошел в студию, на него посмотрели с любопытством, и даже натурщица равнодушно скользнула по нему взглядом, но теперь никто больше не обращал на него внимания. Филип, сидя перед чистым листом бумаги, смущенно поглядывал на натурщицу. Он не знал, с чего начать. Филип никогда не видел обнаженной женщины. Она была уже не молода, с дряблой грудью. Бесцветные русые волосы в беспорядке падали на лоб, кожа была покрыта крупными веснушками. Филип бросил взгляд на рисунок мисс Прайс. Она работала над ним только два дня, и видно было, что ей нелегко: бумага стала шершавой от непрерывного стирания резинкой, и, на взгляд Филипа, фигура казалась как-то странно перекошенной.

«Надо надеяться, что я сделаю не хуже», — подумал он.

Он начал рисовать голову, собираясь перейти от нее к торсу и ниже, но почему-то рисовать с натуры оказалось бесконечно труднее, чем по памяти. Он запутался и украдкой поглядел на мисс Прайс. Она работала с ожесточением. Брови ее были сдвинуты; глаза горели тревогой. В студии было жарко, и на лбу у нее выступили капельки пота. Это была девушка лет двадцати шести с густыми матово-золотистыми волосами; волосы были красивые, но небрежно причесаны: стянуты со лба назад и кое-как закручены в узел. Лицо широкое, одутловатое, с приплюснутым носом и небольшими глазами; кожа скверная, с какой-то нездоровой

¹ В позу (*фр.*).

бледностью. Выглядела она немойтой, неухоженной — невольно казалось, что она и спит не раздеваясь. Держалась мисс Прайс серьезно и молчаливо. Когда снова объявили перерыв, она отошла, чтобы поглядеть на свою работу.

— Непонятно, зачем я так мучаюсь, — сказала она. — Но мне хочется, чтобы все было правильно. — Она посмотрела на Филипа. — А как ваши дела?

— Да никак, — ответил он невеселой улыбкой.

Она поглядела на его рисунок.

— А на глазок ничего у вас и не выйдет. Надо найти пропорции. И расчертить бумагу.

Она быстро показала ему, как взяться за дело. Филипу понравилась ее серьезное отношение к занятиям, но его отталкивало, что она так некрасива. Он был благодарен ей за помощь и снова принялся за работу. В это время в студии прибавилось народу (главным образом мужчин, потому что женщины всегда приходили первыми), и для начала сезона учеников набралось довольно много. Вскоре в комнату вошел молодой человек с жидкими черными волосами, громадным носом и длинным лицом, в котором было что-то лошадиное. Он сел по другую руку от Филипа и кивнул издали мисс Прайс.

— Как вы сегодня поздно, — сказала она. — Только что встали?

— День уж очень славный. Захотелось полежать в постели и помечтать о том, как хорошо на улице.

Филип засмеялся, но мисс Прайс отнеслась к словам его соседа совершенно серьезно.

— Странно. По-моему, куда разумнее было бы выйти и погулять на воздухе.

— Путь юмориста усеян терниями, — сказал молодой человек, даже не улыбнувшись.

Ему, видимо, не хотелось работать. Поглядев на свой холст — он писал маслом и вчера уже набросал фигуру натурщицы, — сосед повернулся к Филипу:

— Только что из Англии?

— Да.

— А как вы попали в «Амитрано»?

— Это — единственная школа, о которой я узнал.

— Надеюсь, у вас нет иллюзии, будто здесь вас могут научить чему-нибудь полезному?

— Но это лучшая школа в Париже, — сказала мисс Прайс. — Тут к искусству относятся серьезно.

— А кто сказал, что к искусству надо относиться серьезно? — спросил молодой человек и, так как мисс Прайс презрительно передернула плечами, добавил: — Дело в том, что всякая школа плоха. Она по самой своей природе академична. Эта школа не так вредна, как другие, потому что учат здесь хуже, чем где бы то ни было. А раз вы ничему не можете научиться...

— Тогда зачем же вы сюда ходите? — прервал его Филип.

— «Я знаю более прямую дорогу, но не иду по ней». Мисс Прайс — женщина образованная, она скажет, как это по-латыни.

— Прошу вас не впутывать меня в ваши разговоры, мистер Клаттон, — отрезала Прайс.

— Единственный способ научиться писать, — продолжал он невозмутимо, — это снять мастерскую, взять натурщицу и выбиваться в люди самому.

— Разве это так трудно? — спросил Филип.

— На это нужны деньги.

Он принялся рисовать, и Филип стал его искоса разглядывать. Клаттон был высок и отчаянно худ; его крупные кости словно торчали из тела; острые локти, казалось, вот-вот прорвут рукава ветхого пиджака. Брюки внизу обтрепались, а на каждом из башмаков красовалась грубая заплатка. Мисс Прайс встала и подошла к мольберту Филипа.

— Если мистер Клаттон хотя минуту помолчит, я вам немножко помогу.

— Мисс Прайс не любит меня за то, что у меня есть чувство юмора, — сказал Клаттон, задумчиво рассматривая свой холст. — Но ненавидит она меня за то, что я — гений.

Он произнес эти слова с такой важностью, а лицо его, на котором выделялся огромный уродливый нос, было так комично, что Филип расхохотался. Однако мисс Прайс побагровела от злости.

— Только вы один и подозреваете себя в гениальности.

— Один я хоть в какой-то мере и могу об этом судить.

Мисс Прайс стала разбирать работу Филипа. Она бойко рассуждала об анатомии, композиции, планах, линиях, а также о многом другом, чего Филип не понял. Мисс Прайс

посещала студию уже очень давно и знала, какие требования мастера предъявляют к ученикам; но, хотя она и могла показать, в чем ошибки Филипа, подсказать ему, как их исправить, она не умела.

— Я страшно вам благодарен за то, что вы так со мной возитесь, — сказал ей Филип.

— Чепуха, — ответила она, покраснев от смущения. — Вы или другой — какая разница! И мне помогали, когда я начинала учиться.

— Мисс Прайс желает подчеркнуть, что она делится с вами своими познаниями только из чувства долга, а отнюдь не ради ваших прекрасных глаз, — пояснил Клаттон.

Мисс Прайс кинула на него разъяренный взгляд и вернулась к своему наброску. Часы пробили двенадцать, и натурщица, с облегчением вздохнув, спустилась с помоста. Мисс Прайс собрала свое имущество.

— Кое-кто из наших ходит обедать к «Гравье», — сказала она Филипу, посмотрев на Клаттона. — Лично я ем дома.

— Если хотите, я свожу вас к «Гравье», — предложил Клаттон.

Филип поблагодарил и собрался с ним. У выхода миссис Оттер осведомилась, как его дела.

— Фанни Прайс вам помогла? — спросила она. — Я посадила вас рядом, понимая, что она может быть полезна — если, конечно, захочет. Она очень неприятная, желчная девица и совсем не умеет рисовать, но знает здешние порядки и может помочь новичку, если на нее найдет такой стих.

На улице Клаттон сказал Филипу:

— Вы покорили сердце Фанни Прайс. Берегитесь!

Филип засмеялся. Он еще не встречал человека, сердце которого ему меньше хотелось бы покорить. Они подошли к дешевенькому ресторанчику, который посещали многие ученики их школы, и сели. За столиком уже обедали трое или четверо молодых людей. Им подали яйцо, мясо, сыр и маленькую бутылку вина, и все это стоило один франк. За кофе платили отдельно. Столики были расставлены прямо на тротуаре, и мимо них по бульвару, без отдыха звеня, сновали маленькие желтые трамваи.

— Кстати, как вас зовут? — спросил Клаттон, усаживаясь.

— Кэри.

— Разрешите, господа, представить вам моего старого, верного друга по фамилии Кэри, — произнес Клаттон. — Мистер Фланаган, мистер Лоусон.

Посмеявшись, молодые люди продолжали свой разговор. Болтали о тысяче разных вещей и все разом. Никто не обращал никакого внимания на собеседников. Рассказывали о том, где побывали летом, о своих мастерских, о различных школах, называли незнакомые Филипу имена: Моне, Мане, Ренуар, Писарро, Дега. Филип слушал затаив дыхание, и, хотя все это было ему еще чуждо, сердце его замирало от восторга. Время летело. Клаттон встал из-за стола и сказал Филипу:

— Если вам хочется, приходите сюда вечером: я, наверно, буду. Для того, чтобы обзавестись катаром желудка, лучше места не найдешь. Но зато не найдешь и дешевле во всем Латинском квартале.

ГЛАВА 41

Филип прошелся по бульвару Монпарнас. Этот Париж был совсем не похож на тот, что он видел весной, когда приезжал проверять счета отеля «Сент-Джордж», — о том периоде жизни он не мог теперь думать без дрожи. Все здесь скорее напоминало провинцию, дышало каким-то привольем, простотой, нагретый солнцем простор навевал мечтательное настроение. Стройные подстриженные деревья, яркая белизна стен, широкая улица ласкали глаз, и Филип чувствовал себя здесь совсем как дома. Он брел по тротуару, разглядывая прохожих; казалось, что и в самом простом рабочем в широких штанах, подпоясанных красным кушаком, и в шуплых солдатиках, одетых в поношенные, но изящные мундиры, есть какая-то удивительная элегантность. Дойдя до авеню д'Обсерватуар, он даже вздохнул от удовольствия, поглядев на открывавшуюся перед ним величественную и все же полную грации панораму. Он вошел в Люксембургский сад; на дорожках играли дети и парочками прогуливались няньки с длинными лентами на чепцах, мимо шли деловые люди с портфелями под мышкой и какие-то странно одетые юноши. Пейзаж был строгий, изысканный, природа причесана и одета, но с таким вкусом, что рядом с ней непричесанная и неодетая природа показалась бы просто варварством. Филип был очарован.

Его волновало, что вот он стоит на месте, о котором столько читал, — земля эта была для него священна; он чувствовал такое же благоговение, какое испытывает старый знаток античности, глядя впервые на ласковую долину Спарты.

Гуляя, он увидел мисс Прайс, одиноко сидевшую на скамейке. Он колебался, подойти ли к ней, — ему в эту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, к тому же ее нескладная внешность не гармонировала с той прелестью, которая была разлита вокруг, — но он чутьем угадал, что она болезненно обидчива, и, так как она его явно заметила, решил, что будет невежливо пройти мимо.

— Что вы здесь делаете? — спросила она, когда он к ней подошел.

— Радуюсь жизни. А вы?

— А я каждый день прихожу сюда от четырех до пяти. Мне кажется, что вредно работать весь день без перерыва.

— Можно присесть с вами рядом?

— Если хотите.

— Не скажу, чтобы вы были очень любезны, — засмеялся он.

— А я не мастерица говорить любезности.

Филип был слегка обескуражен и молча закурил сигарету.

— Говорил вам Клаттон что-нибудь насчет моих работ? — спросила она вдруг.

— Нет, кажется, не говорил.

— Знаете, а он ведь ничтожество. Он думает, что он гений! Но это неправда. Во-первых, он лентяй. А гений — это беспредельная способность трудиться. Единственный путь — работать не покладая рук. И, если ты всерьез решил чего-то достигнуть, ты своего добьешься.

Она говорила со страстной настойчивостью, в которой звучала какая-то сила. На ней была матросская шляпка из черной соломки, белая блузка не первой свежести и коричневая юбка. Руки без перчаток нуждались в мыле и щетке. Вид у нее был такой неприглядный, что Филип пожалел: зачем он с ней заговорил? Да и трудно было понять, хочет она, чтобы он остался или ушел.

— Для вас я сделаю все, что смогу, — сказала она вдруг без какой бы то ни было связи с предыдущим разговором. — Я ведь знаю, как это трудно.

— Большое спасибо, — ответил Филип. И, помолчав немножко, добавил: — Давайте выпьем где-нибудь чаю.

Она метнула на него взгляд и залилась краской. Когда она краснела, ее одутловатое лицо покрывалось некрасивыми пятнами и становилось похоже на мятую землянику со сливками.

— Нет, спасибо. Очень мне нужен ваш чай! Я только что обедала.

— Да просто посидим в кафе, — сказал Филипп. — Скоро будем в кафе.

— Если время вам в тягость, зачем вы принуждаете себя со мной сидеть? Я ничуть не огорчусь, если останусь одна.

В эту минуту мимо них прошли два молодых человека в вельветовых куртках, широченных брюках и беретах. Несмотря на молодость, оба были с бородой.

— Как по-вашему, они художники? — спросил Филипп. — Можно подумать, что это ожившие герои «Жизни богемы».

— Это американцы, — презрительно сморщилась мисс Прайс. — Французы уж тридцать лет не носят ничего подобного, а вот американцы с Дальнего Запада, как приедут в Париж, наряжаются в такие костюмы и бегут к фотографу. Вот и все, что у них есть общего с искусством! Но им-то что, у них много денег!

Филиппу нравилась смелая живописность костюма американцев, ему казалось, что она свидетельствует о романтическом взгляде на жизнь. Мисс Прайс осведомилась, который час.

— Мне пора в студию, — сказала она. — А вы придете на эскизы?

Филипп не знал, о чем она говорит, и мисс Прайс объяснила, что по вечерам от пяти до шести в студии сидела натурщица и каждый, кто хотел, мог прийти и рисовать, заплатив пятьдесят сантимов. Ежедневно у них другая модель, и эти уроки очень полезны.

— Думаю, что вам еще рано, — сказала она. — Надо сперва немножко подучиться.

— А почему бы не попробовать? Все равно мне нечего делать.

Они встали и пошли в студию. Мисс Прайс держала себя так, что Филипп не мог понять, надо ему идти с ней или она предпочитает побыть одна. Он остался из чистого смущения, не зная, как от нее уйти, но она не пожелала с

ним разговаривать и на вопросы отвечала крайне нелюбезно.

У дверей студии стоял человек с большим блюдом, куда каждый входящий клал свои полфранка. В студии было болеелюдно, чем утром, но теперь здесь стало меньше англичан и американцев, да и женщин как будто бы тоже поубавилось. Филипу показалось, что эта публика больше соответствует тому, что он ожидал здесь встретить. В комнате было жарко, скоро стало нечем дышать. На этот раз позировал старик с огромной седой бородой, и Филип старался выполнить то, чему успел научиться утром, но дело шло у него неважно; он понял, что рисует гораздо хуже, чем предполагал. Он с завистью поглядывал на эскизы своих соседей и думал, что вряд ли когда-нибудь сумеет так мастерски владеть углем. Час прошел незаметно. Не желая навязывать свое общество мисс Прайс, он сел от нее поодаль, но в конце урока, когда он шел мимо нее к выходу, она коротко спросила, каковы его успехи.

— Да не слишком хороши, — улыбнулся он.

— Если бы вы удостоили меня вашим обществом и сели поближе, я могла бы вам кое-что подсказать. Но вы, видно, зазнаетесь.

— Да совсем наоборот! Я боялся быть вам в тягость.

— Когда вы мне будете в тягость, я не постесняюсь вам об этом сказать.

Филип понял, что, несмотря на грубоватый тон, она готова оказать ему помощь.

— Тогда я завтра просто не отстану от вас.

— Ну что ж, — сказала она.

Филип вышел, раздумывая, чем бы ему заняться до ужина. Ему захотелось отведать что-нибудь парижское. Absinthe!¹ Конечно, вот что надо было попробовать. Филип медленно побрел к вокзалу, сел за столик одного из кафе и заказал абсент. Пил он через силу, но зато с чувством удовлетворения. Вкус ему показался противным, но действие оказалось великолепным: каждой клеткой своего существа Филип ощущал себя настоящим художником, а так как пил он на пустой желудок, настроение стало у него просто радужным. Глядя на прохожих, он чувствовал, что все люди — его братья. Он был счастлив. Когда Филип

¹ Абсент! (фр.).

пришел к «Гравье», столик, за которым сидел Клаттон, был занят, но художник, увидев, как Филип, хромая, идет по проходу, подозвал его к себе. Соседи потеснились и освободили для Филипа место. Подали ужин: тарелку супа, мясо, фрукты, сыр и пол-бутылки вина, но Филип не обращал внимания на то, что ест: он больше разглядывал людей, сидевших за столиком. Тут опять был Фланаган — низенький, курносый молодой американец с открытым лицом и смеющимся ртом. На нем были длинная куртка из довольно пестрой ткани, синее кашне и матерчатая кепка странного фасона.

В ту пору в Латинском квартале царил импрессионизм, но его победа над старой школой была еще совсем недавней, и Каролюса-Дюрана, Бугеро и иже с ними до сих пор противопоставляли Мане, Моне и Дега. Восхищаться этими художниками было до сих пор признаком изысканного вкуса. Влияние Уистлера на англичан и его соплеменников было очень сильно, а люди сведущие коллекционировали японские гравюры. К старым мастерам предъявляли новые требования. То поклонение, которым веками был окружен Рафаэль, теперь вызывало у передовых молодых людей только издевку. Они с легкостью променяли бы все его полотно на портрет Филиппа IV работы Веласкеса, висевший в Национальной галерее.

Вокруг Филипа загорелся горячий спор об искусстве. Напротив него сидел Лоусон, с которым он познакомился за завтраком. Это был худой рыжий юноша с веснушками и ярко-зелеными глазами. Как только Филип уселся за столик, он уставился на него и вдруг произнес:

— Рафаэль был сносным художником только тогда, когда писал чужие картины. Он очень мил, когда пишет за Перуджино или Пинтуриккьо, но в картинах Рафаэля, — произнес он презрительно пожимая плечами, — он всего-навсего Рафаэль.

Лоусон говорил так воинственно, что Филипа взяла оторопь, однако ему не пришлось возражать: в разговор нетерпеливо вмешался Фланаган.

— А ну его к дьяволу, это ваше искусство! — закричал он. — Давайте лучше наклюкаемся!

— Да вы ведь и вчера наклюкались, Фланаган, — сказал Лоусон.

— Это ничто по сравнению с тем, как намерен клюкнуть сегодня. Какая глупость: приехать в Париж и думать

все время только об искусстве. — Он говорил с резким американским акцентом. — О Господи, как хорошо жить! — Он выпрямился и стукнул кулаком, по столу. — Говорю вам: к дьяволу ваше искусство!

— Вы это не только говорите, вы это повторяете с утомительной настойчивостью, — строго сказал ему Клаттон.

За столом сидел еще один американец. Он был одет, как те франты, которых Филип видел днем в Люксембургском саду. У него было красивое лицо — тонкое, аскетическое, с темными глазами; свое фантастическое одеяние он носил с дерзким видом морского пирата. На голове у него росла целая копна волос, которые падали ему на глаза, он то и дело театрально откидывал голову назад, чтобы избавиться от назойливой пряди. Он заговорил об «Олимпиаде» Мане, висевшей тогда в Люксембургском музее.

— Я простоял перед ней сегодня целый час, и вы мне поверьте, картина совсем не так хороша.

Лоусон положил вилку и нож. Его зеленые глаза метали молнии, он задыхался от гнева, но видно было, что он старается сохранить спокойствие.

— Любопытно выслушать мнение дикаря, — сказал он. — Может вы объясните, чем картина нехороша?

Не успел американец ответить, как кто-то другой закричал с жаром:

— Вы смеее утверждать, будто картина нехороша? Да ведь тело-то как написано!

— Я против этого не спорю. Я считаю, что правая грудь написана отлично.

— К черту правую грудь! — заорал Лоусон. — Вся картина — чудо живописи!

Он стал подробно описывать прелести картины, но за столиком у «Гравье» все разговаривали только для собственного просвещения. Никто друг друга не слушал. Американец сердито прервал Лоусона:

— Уж не хотите ли вы сказать, что и голова хорошо написана?

Белый от ярости Лоусон стал защищать голову, но в разговор вмешался молчавший до той поры Клаттон. Лицо его выражало добродушное презрение.

— Уступите ему голову. Нам голова не нужна. Она не играет в картине никакой роли.

— Ладно, отдаю вам голову, — закричал Лоусон. — Возьмите себе голову и будьте неладны!

— А что вы скажете насчет черной черты? — с торжеством прокричал американец, откидывая со лба прядь, которая чуть было не попала ему в суп. — В жизни предметы не бывают обведены черным.

— О Господи, испепели небесным огнем этого богохульника! — взмолился Лоусон. — При чем тут жизнь? Никто не знает, какая она, ваша жизнь! Люди познают жизнь такой, какой ее увидел художник. Столетиями художники изображали, как лошадь, перепрыгивая через изгородь, вытягивает все четыре ноги, и, видит Бог, господа, она их вытягивала! Люди видели тень черной, пока Моне не открыл, что она многоцветна, и, видит Бог, господа, тень была черной. Если мы станем окружать предметы черной чертой, люди будут видеть эту черту и, значит, она будет существовать в действительности, а если мы нарисуем траву красной и коров синими, их такими и увидят и, клянусь вам, трава станет красной и коровы — синими!

— К дьяволу искусство, — бормотал Фланаган. — Я хочу наклюкаться.

Лоусон не обращал на него никакого внимания.

— Помните, когда «Олимпию» вывесили в Салоне, Золя, несмотря на издевку мещан, шиканье rompiers¹, академиков и толпы, сказал: «Я предвижу тот день, когда картина Мане будет висеть в Лувре напротив «Одалиски» Энгра и от этого соседства выиграет отнюдь не «Одалиска». И она там будет висеть! С каждым днем это время становится все ближе. Через десять лет «Олимпию» повесят в Лувре.

— Никогда! — завопил американец, взмахивая обеими руками в отчаянной попытке раз навсегда избавиться от всех своих волос сразу. — Через десять лет об этой картине и не вспомнят! Это — мода, и больше ничего! Ни одна картина не может жить, если в ней нет того, чего начисто нет в вашей «Олимпии»!

— Чего?

— Великое искусство немыслимо без морального начала.

— О Господи! — в бешенстве закричал Лоусон. — Я знал, что вы до этого дойдете! Ему нужна мораль! — Сжав руки, он молитвенно простер их к небесам. — О Христофор

¹ Халтурщиков (фр.).

Колумб, Христофор Колумб, что ты наделал, открыв Америку!

— Рескин говорит...

Но, прежде чем ему удалось добавить хоть слово, Клаттон властно постучал рукояткой ножа по столу.

— Господа, — сказал он сурово, и его огромный нос даже сморщился от возмущения. — Тут было произнесено имя, которое я надеялся больше не слышать в порядочном обществе. Свобода слова — дело похвальное, однако следует все же соблюдать хоть какие-то приличия. Можете говорить о Бугеро, если вам так уж хочется, — в самом звуке этого имени есть что-то шутовское, нечто смехотворное, но не будем же грязнить свои уста произнесением таких имен, как Джон Рескин, Уоттс или Берн-Джонс.

— А кто такой этот ваш Рескин? — спросил Фланаган.

— Один из столпов Викторианской эпохи. Великий английский стилист.

— Стиль Рескина — это пестрые лоскутья с лиловыми разводами, — заявил Лоусон. — И будь они прокляты, эти столпы Викторианской эпохи. Когда я разворачиваю газету и читаю, что один из этих столпов отправился на тот свет, я благодарю Господа, что еще одним из них стало меньше. Единственным их талантом было долголетие, а ни один художник не имеет права жить после сорока: в этом возрасте он уже создал свои лучшие произведения, потом он только повторяется. Разве вам не кажется, что Китсу, Шелли, Боннингтону и Байрону необычайно повезло, что они умерли молодыми? Каким бы гением казался нам Суинберн, если бы он погиб в тот день, когда вышла первая книга «Поэм и баллад»!

Идея эта всем понравилась, потому что ни одному из тех, кто сидел за столом, не было больше двадцати четырех, и они принялись с жаром ее обсуждать. Раз в кои-то веки они были единомышленны. Они поочередно развивали эту мысль. Кто-то предложил развести огромный костер из работ сорока академиков и кидать в него живьем всех великих викторианцев в день их сорокалетия. Предложение было встречено с восторгом. Карлейль и Рескин, Теннисон, Броунинг, Дж.-Ф. Уоттс, Э.-Б. Джонс, Диккенс, Теккерей — всех их швырнули в огонь; туда же отправились Гладстон, Джон Брайт и Кобден. Немножко поспорили насчет Джорджа Мередита, но с Мэтью Арнольдом

и Эмерсоном покончили без сожаления. Наконец настал черед Уолтера Патера.

— Только не Уолтера Патера! — прошептал Филип.

Лоусон вперил в него на минуту свои зеленые глаза, а потом кивнул:

— Да, вы правы: Уолтер Патер — единственное оправдание «Моны Лизы». Вы знаете Кроншоу? Он был знаком с Патером.

— Кроншоу — поэт. Он живет здесь. Пойдем в «Лила».

«Клозери де лила» было кафе, куда они часто ходили после ужина; там с девяти вечера до двух часов ночи всегда можно было встретить Кроншоу. Но Фланаган пресытился интеллектуальными разговорами и в ответ на предложение Лоусона обратился к Филипу:

— Вот еще! Пойдем лучше к девочкам. Махнем в «Гэте Монпарнас» и наклюкаемся.

— Да нет, я предпочитаю поглядеть на Кроншоу и остаться трезвым, — засмеялся Филип.

ГЛАВА 42

Поднялась суматоха. Фланаган и еще двое отправились в мюзик-холл; Филип с Лоусоном и Клаттоном не торопясь пошли в «Клозери де лила».

— Вам надо сходить в «Гэте Монпарнас», — сказал Филипу Лоусон. — Это одно из самых прелестных мест в Париже. Я непременно его как-нибудь напишу.

Филип под влиянием Хейуорда с презрением относился к мюзик-холлам, но он приехал в Париж как раз в то время, когда открыли их художественные возможности. Своеобразие освещения, грязновато-красные и тускло-золотые цветовые пятна, густота теней и броская живописность очертаний увлекали художников своей необычностью, и половина мастерских Латинского квартала могла похвастаться эскизами, сделанными в одном из маленьких варьете. Писатели пошли по стопам художников и, словно сговорившись, стали находить высокий артистизм в мюзик-холльных номерах: красноносые клоуны были превознесены до небес за умение создавать характер; толстые певицы, которые верещали в полной неизвестности чуть не два десятилетия, вдруг прославились за неподражаемый комический дар; находились любители, получавшие эстетическое

наслаждение от ученых собачек, другие изливались в восторгах по поводу таланта фокусников и эквилибристов. Под воздействием новых веяний стала интересной и публика, посещавшая эти увеселительные места. Подражая Хейуорду, Филип презирал людские скопища; он принял позу человека, замкнувшегося в своем одиночестве и брезгливо наблюдавшего за кривляньями черни; однако Клаттон и Лоусон с восхищением говорили о людных сборищах. Они описывали ему бурлящую толпу на парижских ярмарках, море лиц, вырванных из тьмы лучами ацетиленовых фонарей, грохот фанфар, завывание свистулек, гул голосов. То, что они рассказывали, было ново и непривычно для Филипа. Они объяснили ему, кто такой Кроншоу.

— Вы когда-нибудь читали его стихи?

— Нет.

— Они были напечатаны в «Желтой книге».

Оба они относились к Кроншоу так, как художники часто относятся к писателям, презирая их за то, что в живописи они профаны, принимая их за то, что они все-таки люди искусства, и благоговей перед ними, ибо художественные средства, которыми те пользуются, им самим недоступны.

— Кроншоу — удивительный человек, но сначала он вас немножко разочарует: дело в том, что он становится самим собой, только когда пьян.

— И хуже всего, — добавил Клаттон, — что ему нужно дьявольски много времени, чтобы напиться.

Они подошли к кафе, и Лоусон сказал Филипу, что им придется войти внутрь. Стояла мягкая осень, но Кроншоу панически боялся сквозняков и даже в самую теплую погоду никогда не сидел на улице.

— Он знает всех, кого стоит знать, — объяснял Лоусон. — Он был знаком с Патером и Оскаром Уайльдом, знает Малларме и всю его братию.

Тот, кого они искали, сидел в самом дальнем уголке кафе, в шубе с поднятым воротником. Шляпа была низко надвинута на лоб, чтобы уберечься от холодного воздуха. Это был крупный человек, полный, но еще не тучный, с круглым лицом, небольшими усиками и крохотными, довольно невыразительными глазками. Голова его казалась слишком маленькой для такого туловища. Она выглядела как горошина, ненадежно посаженная на яйцо. Кроншоу

играл в домино с каким-то французом и встретил пришедших тихой улыбкой; он промолчал, но, словно для того, чтобы освободить им место, отодвинул стопку блюдец на столе, показывавших, сколько он уже выпил рюмок. Когда ему представили Филипа, он молча кивнул ему, не отрываясь от игры. Филип плохо владел французским языком, но даже и он мог судить, что Кроншоу, живший в Париже уже несколько лет, говорит по-французски отвратительно.

Наконец он откинулся назад с торжествующей улыбкой.

— Je vous ai battu, — сказал он с невыносимым акцентом. — Garçon!¹

Подозвав официанта, он спросил Филипа:

— Только что из Англии? Как там крикет?

Неожиданный вопрос смутил Филипа.

— Кроншоу помнит все рекорды первоклассных игроков в крикет за последние двадцать лет, — улыбаясь, сказал Лоусон.

Француз перешел к другому столику, где сидели его друзья, и Кроншоу, лениво выговаривая слова, что тоже было одной из его особенностей, стал рассуждать о сравнительных достоинствах Кента и Ланкашира. Он рассказал о последнем матче на первенство Англии, который видел, и описал течение игры у каждых ворот.

— Единственное, чего мне недостает в Париже, — сказал он, допивая пиво, — тут не увидишь игры в крикет.

Филип был разочарован, а Лоусон, которого одолевало законное желание показать одну из знаменитостей Латинского квартала во всей его красе, терял терпение. Кроншоу в этот вечер никак не мог расшевелиться, хотя стопка блюдец свидетельствовала о том, что он честно старается напиться. Клаттон весело наблюдал за этой сценой. Повышенный интерес Кроншоу к крикету ему казался просто кокетством: поэт любил мучить людей, разговаривая с ними о том, что им было явно неинтересно. Клаттон задал вопрос:

— Вы видели в последнее время Малларме?

Кроншоу медленно перевел на него взгляд, словно обдумывая то, что у него спросили, и, прежде чем ответить, постучал блюдечком по мрамору столика.

¹ Я вас побил. Официант! (искаж. фр.).

— Принесите мне бутылку виски, — приказал он и снова обратился к Филипу: — У меня здесь своя бутылка виски. Не могу себе позволить платить по пятьдесят сантимов за несколько капель.

Официант принес бутылку, и Кроншоу поглядел ее на свет.

— Отпили. Официант, кто брал мое виски?

— Mais personne Monsieur Cronshaw¹.

— Я вчера сделал на ней отметку. Смотрите.

— Мосье сделал отметку, но после этого он пил еще и еще. Мосье зря тратит время, делая отметки, если он ведет себя таким образом.

Официант был парень веселый и давно знал Кроншоу. Тот молча уставился на него.

— Если вы дадите мне честное слово дворянина и джентльмена, что никто, кроме меня, не пил моего виски, я приму ваши заверения.

Подобная фраза, переведенная дословно на самый примитивный французский язык, прозвучала очень комично, и женщина за стойкой не удержалась от смеха.

— Il est impayable!² — пробормотала она.

Услышав эти слова, Кроншоу бросил на нее масляный взгляд — женщина была толстая, пожилая, добропорядочная — и важно послал ей воздушный поцелуй. Она только пожала плечами.

— Не бойтесь меня, мадам, — сказал он с тяжеловесной попыткой сострить. — Я вышел из того возраста, когда мужчина отдается из признательности и падок на сорока-пятилетних.

Он налил себе виски с содовой, не торопясь выпил и вытер рот тыльной стороной руки.

— Он говорил превосходно.

Лоусон и Клаттон поняли, что речь идет о Малларме. Кроншоу часто посещал его вторники: поэт принимал литераторов и художников, беседуя с тонким красноречием на любую предложенную ему тему. По-видимому, Кроншоу недавно у него был.

— Он говорил превосходно, но говорил чепуху. Он высказывался об искусстве так, словно это самая важная вещь на свете.

¹ Уверяю вас, никто, мосье Кроншоу! (фр.).

² Он неподражаем! (фр.).

— Если это не так, кому же мы нужны?

— Кому вы нужны, мне не известно. И меня не касается. А искусство — это роскошь. Главное для людей — это инстинкты самосохранения и продолжения рода. И только тогда, когда эти инстинкты удовлетворены, человек разрешает себе развлекаться с помощью писателей, художников и поэтов.

Кроншоу замолчал, чтобы отпить еще глоток. Вот уже двадцать лет, как он не мог решить вопрос: любит он алкоголь за то, что он развязывает ему язык, или же любит беседу за то, что она вызывает у него жажду.

Потом он заявил:

— Вчера я написал стихотворение.

И не дожидаясь, чтобы его попросили, стал медленно читать стихи, отбивая ритм вытянутым указательным пальцем. Стихотворение, возможно, было прекрасное, но в эту минуту в кафе вошла молодая женщина. Губы у нее были яркие, а в огненном румянце на щеках нельзя было обвинить простушку-природу; ресницы и брови были подведены черным карандашом, а виски отважно выкрашены синей краской до самой переносицы. Вид у дамы был неправдоподобный, но очень забавный. Темные волосы спускались на уши и были уложены в прическу, вошедшую в моду благодаря мадемуазель Клео де Мерод. Филипп то и дело на нее поглядывал, а Кроншоу, окончив читать, снисходительно ему улыбнулся.

— Вы ведь не слушали, — сказал он.

— Нет, что вы, конечно, слушал!

— Да я вас не виню, вы как нельзя лучше подтвердили то, что я только что сказал. Чего стоит искусство по сравнению с любовью? Я уважаю и даже восхищаюсь вашим безразличием к высокой поэзии, раз внимание ваше поглощено продажными прелестями этого юного существа.

Она прошла мимо столика, за которым они сидели, и Кроншоу взял ее за руку.

— Посиди со мной, детка, и давай разыграем божественную комедию любви.

— *Fichez-moi la paix*¹, — сказала она, оттолкнув его, и продолжала свое шествие.

¹ Оставьте меня в покое (*фр.*).

— Искусство, — закончил Кроншоу, взмахнув рукой, — это убежище от жизненной скуки, придуманное изобретательными людьми, пресыщенными едою и женщинами.

Кроншоу снова налил себе виски и продолжал разглагольствовать. Речь у него была плавная. Слова он выбирал очень тщательно. Мудрость и чепуха причудливо смешивались в его высказываниях: вот он потешался над своими слушателями, а через минуту, словно играючи, давал им вполне разумный совет. Говорил он о живописи, о литературе, о жизни и был то набожным, то похабным, веселым или слезливым. Постепенно он совсем опьянел и тогда принялся читать стихи — свои и Марло, свои и Мильтона, свои и Шелли.

Наконец измученный Лоусон поднялся.

— Я с вами, — сказал Филипп.

Самый молчаливый из них — Клаттон — продолжал сидеть с сардонической улыбкой на губах и слушать бессвязное бормотание Кроншоу. Лоусон проводил Филиппа до гостиницы и пожелал ему спокойной ночи. Но, когда Филипп лег в постель, заснуть он не мог. Новые мысли, которыми так небрежно перекидывались возле него, будоражили его сознание. Он был страшно возбужден. Он чувствовал, как в нем рождаются неведомые силы. Никогда еще он не был так в себе уверен.

«Я знаю: я буду великим художником, — говорил он себе. — Я это чувствую».

Его пробрала дрожь, когда вслед за этим пришла и другая мысль, но даже в уме он не посмел выразить ее словами: «Ей-Богу же, у меня, кажется, настоящий талант!»

Если говорить правду, он был просто пьян, хотя и выпил всего стакан пива, — его опьянение было куда опаснее, чем от алкоголя.

ГЛАВА 43

По вторникам и пятницам преподаватели проводили все утро в «Амитрано», разбирая работы учеников. Во Франции художник зарабатывает очень мало, если не пишет портретов и не пользуется покровительством богатых американцев; известные мастера рады увеличить свои доходы, проводя два-три часа в неделю в одной из многочисленных студий, где обучают живописи. По вторникам в «Амитрано»

приходил Мишель Роллен. Это был пожилой человек с седой бородой и румяными щеками, который украсил декоративными панно немало правительственных зданий, — они служили отличной мишенью для острословия его учеников. Последователь Энгра, он не признавал новых течений в искусстве и желчно обзывал Мане, Дега, Моне и Сислея *tas de farceurs*¹, однако был отличным педагогом, умел деликатно направить ученика и поднять в нем дух. И наоборот, с Фуане, приходившим в студию по пятницам, работать было очень нелегко. Маленький, сморщенный человек с гнилыми зубами и желтушной кожей, косматой седой бородой и сверкающими от бешенства глазами, он тонким голосом высмеивал своих учеников. Когда-то его картины приобрел Люксембургский музей, и в двадцать пять лет ему сулили блестящее будущее, но в нем покоряла свежесть молодости, а не своеобразие истинного дарования, и в течение последующих двадцати лет он лишь копировал пейзаж, принесший ему раннюю славу. Когда его обвиняли в том, что он повторяется, Фуане отвечал:

— Коро всю жизнь писал одно и то же. Почему мне нельзя?

Он завидовал чужому успеху и питал особую, личную неприязнь к импрессионистам, потому что объяснял свою неудавшуюся судьбу модой на их картины, от которых обезумела эта *salle bête*² — публика. Добродушное презрение Мишеля Роллена, называвшего импрессионистов мошенниками, вызывало у него поток брани, в котором *crapule*³ и *canaille*⁴ были отнюдь не самыми сильными выражениями; ему доставляло удовольствие поносить их частную жизнь и, с ядовитым юмором кощунствуя и смакуя непристойные подробности, подвергать сомнению из законнорожденность и чистоту их брака; он пользовался восточными образами и чисто восточными преувеличениями, чтобы украсить свой похабный пасквиль. Не старался он скрыть и своего презрения к ученикам, чьи работы попадали к нему на отзыв. Они же его ненавидели и боялись; женщин его грубые издевательства часто доводили до слез, что в свою

¹ Шутами гороховыми (фр.).

² Грязная тварь (фр.).

³ Подлец (фр.).

⁴ Сволочь (фр.).

очередь вызвало у него только насмешки. Однако он продолжал работать в студии, несмотря на протесты тех, кто был больно обижен его нападками, потому что справедливо считался одним из лучших преподавателей в Париже. Иногда бывший натурщик, содержавший теперь «Амитрано», пытался его утихомирить, но тут же смолкал под градом яростных оскорблений художника и переходил к униженным извинениям.

Филип сначала столкнулся с Фуане. Когда он пришел, мэтр уже был в студии и обходил мольберт за мольбертом в сопровождении *massière* — миссис Оттер, которая поясняла его замечания тем, кто не знал французского языка. Сидевшая рядом с Филипом Фанни Прайс лихорадочно работала. Лицо ее позеленело от волнения, и она то и дело вытирала руки о халат — у нее ладони вспотели от страха. Вдруг она повернулась к Филипу и бросила на него взгляд, пытаясь скрыть свою тревогу сердитой гримасой.

— Как по-вашему, хорошо? — спросила она, кивком показав на свой рисунок.

Филип встал и поглядел на ее работу. Он поразился: у нее, видно, совсем не было глазомера — рисунок был совершенно лишен пропорций.

— Я хотел бы рисовать хоть наполовину так хорошо, — сказал он.

— Ну, это невозможно, вы только начинаете учиться, трудно было бы ожидать, чтобы вы рисовали так, как я, согласитесь! Ведь я здесь уже два года.

Филип не мог понять Фанни Прайс; сомнение у нее было чудовищное. Филип заметил, что в студии ее терпеть не могут. Да и неудивительно: она делала все, чтобы нажить себе врагов.

— Я жаловалась миссис Оттер на Фуане, — сказала она. — За последние две недели он ни разу не взглянул на мои рисунки. А на миссис Оттер тратит полчаса только потому, что она *massière*. В конце концов, я плачу не меньше других и деньги у меня не фальшивые. Не понимаю, почему я не могу претендовать на такое же внимание, как остальные!

Она снова взяла в руки уголь, но тут же положила его со стоном.

— Не могу больше! Страшно волнуюсь.

Она поглядела на Фуане, который подходил к ним с миссис Оттер. Робкая, бесцветная и всегда довольная собой,

миссис Оттер шествовала с важным видом. Фуане уселся возле мольберта маленькой, неряшливой англичанки, которую звали Рут Чэлис. У нее были томные, но легко загорававшиеся красивые черные глаза, узкое лицо, аскетическое и чувственное в одно и то же время, кожа — как пожелтевшая слоновая кость, о которой под влиянием Берн-Джонса мечтали все молодые женщины, причастные к искусству. Фуане, казалось, был благодушно настроен: он почти ничего не сказал, но, взяв уголь, быстрыми и уверенными штрихами показал мисс Чэлис ее ошибки. Когда он поднялся со стула, англичанка сияла от удовольствия. Фуане подошел к Клаттону; тут стал нервничать и Филип, хотя миссис Оттер и посбещала его выручить. Фуане постоял секунду перед мольбертом Клаттона, молча покусывая большой палец, а потом рассеянно сплюнул за холст откушенный кусочек ногтя.

— Хорошая линия, — сказал он наконец, тыча большим пальцем в то, что ему понравилось. — Вы начинаете понимать, что такое рисунок.

Клаттон не ответил и посмотрел на мэтра со своим обычным безразличием к чужому мнению.

— У вас, пожалуй, есть крупницы таланта.

Миссис Оттер, недолюбливавшая Клаттона, надула губы. Она не находила в его работе ничего примечательного. Фуане сел и принялся объяснять технические приемы. Миссис Оттер устала стоять, Клаттон молчал и только изредка кивал головой, а Фуане с удовлетворением чувствовал, что этот ученик сообщает, о чем идет речь; большинство других слушало внимательно, но ничего не понимало. Потом Фуане встал и подошел к Филипу.

— Он приехал всего два дня назад, — поспешила сообщить миссис Оттер. — Начинаящий. Никогда раньше не учился.

— *Ça se voit*¹, — сказал мэтр.

Он прошел дальше, и миссис Оттер шепнула ему:

— Вот девушка, о которой я вам говорила.

Он поглядел на мисс Прайс, словно та была каким-то мерзким животным, и голос у него сразу стал скрипучим:

— Вы как будто считаете, что я не обращаю на вас достаточного внимания и даже жаловались *maître*. Ну что ж,

¹ Оно и видно (*фр.*).

покажите мне работу, которую вы хотели предложить моему вниманию.

Фанни Прайс побагровела. Кровь, прилившая к нездоровой коже, окрасила ее в какой-то фиолетовый оттенок. Она молча показала рисунок, над которым трудилась целую неделю. Фуане присел рядом.

— Ну, что же вы желаете от меня услышать? Хотите, чтобы я вас похвалил? Не могу. Хотите, чтобы я сказал, что это хорошо нарисовано? Не могу. Хотите, чтобы я нашел в этом какие-то достоинства? Тут все неверно. Хотите чтобы я сказал вам, что с этим делать? Порвите, и поскорее. Ну, теперь вы довольны?

Мисс Прайс побелела как мел. Она была в ярости, потому что все это он сказал в присутствии миссис Оттер. Мисс Прайс уже долго жила во Франции и понимала по-французски, но не могла связать двух слов.

— Он не имеет права так со мной обращаться. Я плачу такие же деньги, как все. Плачу за то, чтобы он меня учил. А это не учение.

— Что она говорит? Что она говорит? — спрашивал Фуане.

Миссис Оттер не решалась ему перевести, и мисс Прайс повторила, коверкая французские слова:

— Je vous paye pour m'apprendre¹.

Глаза его сверкали от бешенства, он повысил голос и потряс кулаком...

— Mais, nom de Dieu², я ничему не могу вас научить. Мне куда легче научить рисовать верблюда. — Он обернулся к миссис Оттер. — Спросите ее, зачем она этим занимается: для развлечения или ради заработка?

— Я намерена своей живописью зарабатывать деньги, — ответила мисс Прайс.

— Тогда мой долг вам сказать, что вы зря тратите время. И дело не в том, что у вас нет таланта, талант в наши дни на улице не валяется, но у вас нет даже и тени способностей. Сколько вы уже здесь? Ребенок пяти лет — и тот рисовал бы лучше после двух уроков! Я повторяю вам: бросьте это, вы безнадежны. Вам куда легче заработать

¹ Я вам плачу за то, чтобы вы меня учили (*фр.*).

² Но, черт побери (*фр.*).

деньги в качестве *bonne à tout faire*¹, чем живописью. Поглядите.

Он схватил уголь, но тот сломался, когда Фуане нажал им на бумагу. Чертыхнувшись, он обломком провел несколько сильных уверенных линий. Рисовал он быстро, не переставая говорить, желчно выплевывая слова.

— Посмотрите, руки тут разной длины. Колено уродливо. Говорю вам: пятилетний ребенок — и тот нарисовал бы лучше. Видите, она ведь не стоит на ногах. А ступня?

Вторя словам, уголь гневно проводил черту за чертой, и через миг рисунок, которому Фанни Прайс отдала столько часов и душевных сил, стал неузнаваемой путаницей линий и пятен. Наконец Фуане швырнул уголь и встал.

— Послушайте меня, мадемуазель, попробуйте стать портнихой. — Он взглянул на часы. — Уже двенадцать. *A la semaine prochaine, messieurs*².

Мисс Прайс медленно собрала свои вещи. Филип дождался, пока разойдутся остальные, чтобы сказать ей что-нибудь в утешение, но ему ничего не приходило в голову. Наконец он сказал:

— Поверьте, мне ужасно жаль... Какой страшный человек!

Она накинулась на него с яростью:

— Вот для чего вы здесь торчали? Когда мне понадобится ваше сочувствие, я вам об этом скажу! Оставьте меня в покое!

Она прошла мимо него к выходу, и Филип, пожав плечами, побрел к «Гравье» обедать.

— Так ей и надо, — заявил Лоусон, когда Филип рассказал ему о том, что случилось. — Злобная дрянь!

Лоусон был очень чувствителен к критике и, для того чтобы ее избежать, не ходил в студию, когда там бывал Фуане.

— Не желаю слушать, что другие думают о моей работе, — говорил он. — Сам знаю, хороша она или плоха.

— Вы хотите сказать, что не желаете слушать дурных отзывов о своей работе, — сухо поправил его Клаттон.

После обеда Филип решил сходить в Люксембургский музей поглядеть картины и, проходя по саду, заметил

¹ Прислуги (фр.).

² До будущей недели, господа (фр.).

Фанни Прайс на ее обычном месте. Он был обижен, что она так грубо ответила на его попытку ее утешить, и сделал вид, будто не замечает ее. Но она быстро встала и подошла к нему.

— Не желаете со мной знаться?

— Да нет, почему же... Я подумал, что вам, наверно, не хочется ни с кем разговаривать.

— Куда вы идете?

— Решил поглядеть на Мане. Мне так много о нем говорили...

— Хотите, я пойду с вами? Я ведь хорошо знаю Люксембургский музей. Могу показать вам хорошие вещи.

Он понял, что, не решаясь извиниться прямо, она пытается его задобрить.

— Спасибо, вы очень любезны.

— Нечего соглашаться, если вы предпочитаете идти один, — сказала она недоверчиво.

— Пойдемте.

Они пошли в картинную галерею. Там недавно развесили собрание Кайботта, и Филип впервые смог как следует посмотреть работы импрессионистов. Раньше он имел возможность видеть их только в лавке Дюран-Рюэля на улице Лафит (торговец не в пример своим английским собратьям, которые держатся с художниками высокомерно, охотно показывал самым обтрепанным ученикам все, что им хотелось видеть) или у него дома, куда пускали по вторникам, и нетрудно было получить пригласительный билет; там вы могли увидеть самые знаменитые картины. Мисс Прайс сразу же подвела Филипа к «Олимпии» Мане. Филип смотрел на нее, онемев от неожиданности.

— Нравится? — спросила Прайс.

— Не знаю, — беспомощно ответил он.

— Можете мне поверить — это лучшая вещь в галерее, не считая разве уистлеровского портрета матери.

Она дала ему время полюбоваться шедевром, а потом подвела к картине, изображавшей вокзал.

— Вот смотрите, это Моне, — сказала она. — «Gare St.-Lazare»¹.

— Но рельсы идут не параллельно! — воскликнул Филип.

¹ «Вокзал Сен-Лазар» (фр.).

— Ну и что же? — высокомерно спросила мисс Прайс.

Филип почувствовал себя пристыженным. Фанни Прайс усвоила бойкий жаргон студий, и ей нетрудно было поразить Филипа своими познаниями. Она стала объяснять ему достоинства и недостатки картины, поверхностно, но не без понимания показывая ему, какие задачи ставил себе художник и на что следует обратить внимание. Она разглагольствовала, водя по воздуху большим пальцем, и Филип, для которого все, что она говорила, было ново, слушал ее с глубочайшим интересом, хоть и довольно растерянно. До сих пор он преклонялся перед Уоттсом и Берн-Джонсом. Приятные для глаз краски одного и вычурный рисунок другого совершенно удовлетворяли его эстетические потребности. Расплывчатый идеализм, претензия на философское содержание в названиях картин соответствовали его представлениям о задачах искусства, которые он выработал прилежным изучением Рескина; однако тут было нечто совсем другое: в том, что он видел, отсутствовала какая бы то ни была моральная тема — созерцание таких произведений никому не помогло бы вести более чистую и возвышенную жизнь. Филип был сбит с толку. Наконец он вымолвил:

— Знаете, я просто падаю от усталости. Кажется, я больше не в состоянии воспринимать что бы то ни было. Давайте посидим на скамейке.

— Да, искусством лучше не обедаться, — сказала мисс Прайс.

Когда они вышли из музея, он горячо ее поблагодарил.

— Ерунда, — ответила она не слишком вежливо. — Мне это доставляет удовольствие, вот и все. Завтра, если хотите, сходим в Лувр, а потом я сведу вас к Дюран-Рюэлю.

— Большое вам спасибо!

— Вы не считаете меня гадиной, как все остальные?

— Отнюдь нет, — улыбнулся он.

— Они напрасно думают, что им удастся заставить меня бросить студию, я буду ходить туда, пока сама не найду нужным уйти. То, что произошло сегодня утром, подстроила Люси Оттер, уж я-то знаю! Она меня терпеть не может. И думает, что теперь я наверняка уберусь. Ей, видно, очень хочется, чтобы я ушла. Боится, что я про нее слишком много знаю.

Мисс Прайс рассказала ему длинную путаную повесть, из которой явствовало, что прозаичная, чинная, маленькая

миссис Оттер была героиней скабрзных историй. Потом она поведала ему подноготную Рут Чэлис — девушки, которую утром похвалил Фуане.

— Она путалась у нас в студии со всеми мужчинами подряд. Проститутка, и больше ничего. А какая грязнуха! Целый месяц не мылась, знаю наверняка.

Филип слушал, испытывая мучительную неловкость. До него доходили сплетни насчет мисс Чэлис; однако смешно было думать, что жившая с матерью миссис Оттер хоть в чем-нибудь погрешила против добродетели. Женщина, которая шла с ним рядом и изливала потоки злобной клеветы, вызывала в нем ужас.

— Плевать мне на то, что они обо мне думают. Я все равно буду учиться. Я знаю, у меня есть талант. Чувствую, что я художник. Лучше умру, чем брошу живопись. Да я и не первая, над кем смеялись в школе, а потом оказалось, что это и был настоящий гений. Искусство — единственное, что мне дорого, и я с радостью отдам ему жизнь. Все дело в упорстве и умении работать.

Она находила низкие побуждения в каждом, кто не разделял ее веры в себя. Она ненавидела Клаттона. Она уверяла Филипа, что приятель его нисколько не талантлив, он просто умеет пускать пыль в глаза, а вот найти правильную композицию не сможет, хоть умри! А что касается Лоусона...

— Рыжий веснушчатый гаденыш! Он так дрожит перед Фуане, что боится показать ему свои вещи. А я вот не прячусь в кусты, правда? Плевать мне на то, что говорит Фуане, я-то знаю: у меня настоящий талант.

Они дошли до улицы, на которой она жила, и Филип, расставшись с ней, вздохнул с облегчением.

ГЛАВА 44

И несмотря на это, когда в следующее воскресенье мисс Прайс предложила Филипу сводить его в Лувр, он согласился. Она подвела его к «Моне Лизе». Филип глядел на картину с безотчетным разочарованием, однако он столько раз перечитывал чеканную прозу Уолтера Патера, которая вдохнула новую красоту в эту самую знаменитую на свете картину, что многое помнил наизусть и повторил вслух мисс Прайс.

— Литературщина, — сказала она с презрением. — Лучше вам все это поскорее забыть.

Она показала ему полотна Рембрандта и произнесла по этому поводу все, что полагалось произнести. Встав против «Христа с учениками в Эммаусе», она сказала:

— Когда вы почувствуете красоту этой картины, вы начнете разбираться в живописи.

Она показала ему «Одалиску» и «Ручей» Энгра. Фанни Прайс была властным гидом, она не разрешала ему мешкать возле полотен, у которых ему хотелось постоять подольше, и требовала, чтобы он восхищался тем, чем восхищалась она сама. Она относилась к своим занятиям живописью с такой потрясающей серьезностью, что, когда Филип, проходя по Большой галерее, остановился у окна, выходящего на Тюильри, где все было мирно, солнечно и ясно, словно на картинах Рафаэля, и воскликнул: «Взгляните, какая прелесть! Давайте постоим хоть минутку», — она ответила с полным равнодушием: «Да, ничего. Но мы ведь пришли смотреть картины».

Легкий, дразнящий осенний воздух веселил сердце Филипа, и, когда около полудня они вышли в огромный двор Лувра, ему захотелось воскликнуть, как Фланагану: «К чертям ваше искусство!»

— Послушайте, давайте зайдем в какой-нибудь ресторанчик на Бульмише¹ и перекусим, — предложил он своей спутнице.

Мисс Прайс посмотрела на него с подозрением.

— У меня есть обед дома.

— Не беда. Съедите его завтра. Разрешите мне вас угостить.

— Не понимаю, зачем вам это нужно.

— Мне будет приятно, — ответил он ей с улыбкой.

Они перешли реку. На углу бульвара Сен-Мишель был ресторанчик.

— Зайдем сюда.

— Нет, не хочу; здесь, видно, слишком дорого.

Она решительно пошла дальше, и Филип был вынужден последовать за ней. Пройдя несколько шагов, они подошли к ресторану поменьше; на столиках возле него, под тентом, уже обедало человек десять; в окне большими белыми буквами было написано: «Déjeuner — 1,25, vin compris»².

¹ Бульвар Сен-Мишель.

² Второй завтрак — 1,25 франка, включая вино (фр.).

— Ну, дешевле ничего не найдешь, и выглядит очень прилично.

Они уселись за свободный столик и стали дожидаться первого блюда меню — яичницы. Филип с восторгом разглядывал прохожих. Сердце его переполняло какое-то теплое чувство. Он устал, но был доволен.

— Поглядите на этого человека в блузе! Какая прелесть!

Он взглянул на мисс Прайс и, к удивлению своему, увидел, что она уставилась в тарелку, не обращая внимания на окружающих, и по щекам ее катятся крупные слезы.

— Что с вами? — воскликнул он.

— Если вы мне скажете хоть слово, я сейчас же встану и уйду, — ответила она.

Филип был в полнейшей растерянности, но, к счастью, принесли яичницу. Он разделил ее пополам, и они стали есть. Филип старался завязать беседу о посторонних вещах, и ему казалось, что и мисс Прайс пытается разговаривать приветливо; однако обед нельзя было назвать веселым. Филип был брезглив, а мисс Прайс ела так некрасиво, что у него пропал всякий аппетит. Она жадно глотала пищу, чавкала, словно дикий зверь в зоопарке, и, покончив с каким-нибудь блюдом, начисто вытирала тарелку кусочком хлеба, словно боялась оставить хоть каплю подливки. Им подали «камамбер», и Филип с отвращением увидел, что она съела всю порцию вместе с коркой. Она ела с такой жадностью, словно умирала с голоду.

Поведение мисс Прайс было необъяснимо: расставаясь с ней в самых дружеских отношениях, он не был уверен, что завтра она не встретит его, враждебно надувшись; однако он многому от нее научился; не умея сама рисовать, она знала все, чему здесь обучали, и ее замечания помогали ему. Помогала ему и миссис Оттер; иногда работу его критиковала мисс Чэлис; Филипу приносило пользу и бойкое красноречие Лоусона, и подражание Клаттону. Фанни Прайс терпеть не могла, когда он пользовался чьими-нибудь советами, кроме ее собственных, и, когда он просил ее помощи, после того как разговаривал с кем-нибудь еще, она грубо ему отказывала. Товарищи по студии — Лоусон, Клаттон и Фланаган — не переставали его дразнить.

— Ты, парень, поостерегись, — говорили они ему, — она ведь в тебя влюблена.

— Ну что за ерунда, — отшучивался Филип.

Мысль, что мисс Прайс может быть в кого-нибудь влюблена, казалась ему совершенно нелепой. Стоило ему подумать о ее непривлекательной внешности, невымытых космах волос, грязных руках, о коричневом платье с сальными пятнами и обтрепанном подолом, которое она не снимала, — и его пробирала дрожь. Она, наверно, нуждалась — все они нуждались, — но могла бы, по крайней мере, быть поаккуратнее и, взяв иголку с ниткой, привести свою юбку в порядок!

Филип стал понемножку обобщать свои впечатления о людях, с которыми здесь столкнулся. Теперь он не был так наивен, как в те, казалось, уж незапамятные дни в Гейдельберге: теперь интерес его к людям стал глубже и осознаннее, у него появилось желание анализировать и оценивать. Но Клаттона, хоть он и встречался с ним ежедневно в течение трех месяцев, он знал не лучше, чем в первый день знакомства. В студии все считали Клаттона способным и думали, что его ждет большое будущее; он придерживался такого же мнения, но в чем он себя проявит, не знали ни он сам и никто другой. До «Амитрано» он уже занимался в нескольких студиях — у Жюльена, в Академии изящных искусств, у Макферсона; он дольше оставался в «Амитрано» потому, что здесь его никто не трогал. Он не любил показывать свои работы и в отличие от других молодых людей, изучавших живопись, не просил и не давал советов. Говорили, что в маленькой студии на улице Кампань-Премьер, которая служила ему и жильем и мастерской, у него были замечательные полотна, которые сразу принесли бы ему славу, если бы он согласился их выставить. Натурщики были ему не по средствам, он писал натюрморты, и Лоусон постоянно рассказывал о вазе с яблоками, которая, по его словам, была настоящим шедевром. Человек он был взыскательный и, стремясь к чему-то, чего еще сам не мог назвать, вечно был неудовлетворен своей работой в целом; только какая-нибудь деталь и порадует его подчас — рука, нога, ступня в человеческой фигуре или стакан, чашка в натюрморте; тогда он вырезал и сохранял эту деталь, уничтожая остальное полотно. Поэтому, когда Клаттона просили показать его работы, он мог, не солгав, ответить, что у него нет ни одной оконченной картины. В Бретани Клаттон познакомился с каким-то художником, о котором никто не слышал — этот чудаковатый биржевой маклер в пожилые

годы вдруг стал писать картины, — и целиком попал под влияние его живописи. Отвернувшись от импрессионистов, он мучительно искал свою собственную манеру не только письма, но и видения мира. Филип чувствовал в нем какое-то странное своеобразие.

У «Гравье», где они обедали, а по вечерам в «Версай» или в «Клозери де лила» Клаттон был молчалив. Он иронически поглядывал на собеседников и открывал рот, только чтобы сострить. Ему нравилось находить мишень для своих насмешек, он радовался, когда под руку попадался кто-нибудь, на ком он мог поупражнять свой ядовитый язык. Он редко разговаривал о чем-нибудь кроме живописи, да и то лишь с теми немногими, кого он считал достойными собеседниками. Филип часто задумывался: есть ли в нем на самом деле нечто особенное; скрытность, изможденный вид и язвительный юмор как будто предполагали выдающуюся личность, но, с другой стороны, все это могло удачно скрывать душевную пустоту.

Но вот с Лоусоном Филип скоро подружился. У него был живой интерес к самым разным вещам, и это делало его общество приятным. Читал он больше остальных и, хотя средства его были невелики, любил покупать книги, которые охотно давал другим. Так Филип познакомился с Флобером и Бальзаком, с Верленом, Эредиа и Вилье де Лиль Аданом. Они вместе ходили в драму, а иногда на галерку в «Опера комик». Недалеко от них находился театр «Одеон», и Филип скоро заразился увлечением Лоусона трагедиями эпохи Людовика XIV и звучным александрийским стихом. На улице Тэтбу помещался концертный зал, где за семьдесят пять сантимов можно было послушать отличную музыку и в придачу выпить что-нибудь вкусное; места были неудобные, зал тесный, дымный от дешевого табака, но все это не могло охладить их молодую жизнерадостность. Иногда они отправлялись в «Баль Бюлье». В этих случаях с ними шел и Фланаган. Он так безудержно дурачился и шумел, что заражал и их своим весельем. Танцор он был отличный: не успевали они пробыть в зале и десяти минут, как он уже носился по кругу с какой-нибудь маленькой продавщицей.

Всем им ужасно хотелось обзавестись любовницей. Любовница — неременная принадлежность жизни всякого начинающего художника в Париже. Человека, у которого

есть любовница, уважают его собраты. Ею можно хвастаться. Но трудность состояла в том, что у них едва хватало денег, чтобы прокормиться самим, и, хотя они себя и убеждали, что француженки очень практичны и вдвоем дешевле жить, чем одному, им нелегко было встретить молодую женщину, которая разделяла бы их взгляды на этот вопрос. Им оставалось только завидовать другим или злословить по поводу дам, которых содержали более обеспеченные художники. Трудно поверить, как сложно найти в Париже любовницу. Лоусон, бывало, познакомится с какой-нибудь юной девой и назначит ей свидание; целые сутки он не находит себе места и описывает очаровательницу каждому встречному; однако та и не подумает явиться в назначенное время. Лоусон приходил к «Гравье» поздно, в дурном настроении и всякий раз восклицал:

— Ах, будь она проклята, и эта надула! Не понимаю, чем только я им не нравлюсь. Наверно, плохо говорю по-французски, а может, потому, что я рыжий. Черт знает что! Прожить больше года в Париже и не подцепить ни одной девицы.

— Ты, верно, не знаешь, чем их взять, — говорил ему Фланаган.

У него самого был длинный и завидный донжуанский список, и, хотя они не верили всему, что он рассказывает, факты говорили, что он не слишком врет. Впрочем, Фланаган не искал постоянных связей. Ему предстояло пробыть в Париже всего два года; он уговорил родных разрешить ему приехать сюда поучиться живописи, вместо того чтобы поступить в университет, но через два года ему нужно будет вернуться в Сиэтл и войти в дело отца. И, решив поразвлечься это время вовсю, он искал в любви разнообразия, а не постоянства.

— Не пойму, как ты умудряешься их обкрутить, — со злостью говорил Лоусон.

— Да это же совсем нетрудно, сынок, — отвечал Фланаган. — Надо только идти прямо к цели. Куда труднее от них избавиться. Вот где нужен такт.

Филип был слишком поглощен учением, книгами, которые читал, спектаклями, которые видел, разговорами, которые слушал, чтобы вздохнуть о женском обществе. Ему казалось, что это от него никуда не уйдет и позже, когда он научится свободнее объясняться по-французски.

Прошло уже больше года с тех пор, как они расстались с мисс Уилкинсон, и в первые недели своего пребывания в Париже Филип был так занят, что не ответил на письмо, полученное от нее перед отъездом из Блэкстебла. Когда пришло другое письмо, он, зная, что оно полно попреков — а ему в то время не хотелось их выслушивать, — отложил его, собираясь распечатать попозже, но совсем забыл и случайно наткнулся на него спустя целый месяц, когда шарил в ящике, разыскивая целые носки. Филип смотрел на нераспечатанное письмо с ужасом. Он боялся, что заставил страдать мисс Уилкинсон, и чувствовал себя скотиной; однако теперь ее горе, наверно, прошло или, во всяком случае, притупилось. Женщины любят преувеличенно выражать свои чувства, слова у них отнюдь не обозначают того же, что у мужчин. Филип твердо решил, что ничто не заставит его встретиться с ней снова. Он так долго ей не писал, что вряд ли стоило отвечать теперь. Он не стал читать ее письма.

«Надеюсь, она не будет больше мне писать, — сказал он себе. — Она поймет, что все кончено. Как-никак, а по годам она годится мне в матери, надо было думать, на что она идет».

Часа два он испытывал легкие угрызения совести. Его решение было, конечно, правильным, но что-то помимо воли продолжало его тревожить. Однако мисс Уилкинсон и в самом деле больше ему не писала; не оправдала она также его нелепых страхов и не свалилась в Париж как снег на голову, чтобы сделать его посмешищем в глазах друзей. Прошло еще немного времени, и он совсем о ней позабыл.

Отрекся он и от своих прежних богов. Изумление, с которым он вначале смотрел на картины импрессионистов, перешло в восторг, и вскоре он заговорил с таким же жаром, как и остальные, о достоинствах Мане, Моне и Дега. Он купил фотографию этюда Энгра к «Одалиске» и репродукцию «Олимпии». И то и другое было пришпилено рядом над умывальником, чтобы, бреясь, он мог любоваться красотой обеих картин. Теперь он знал определенно, что до Моне не умели рисовать пейзажа, и стоял с искренним восторгом перед «Учениками в Эммаусе» Рембрандта или «Дамой, укушенной блохою в нос» Веласкеса. В действительности картина называлась иначе, но так прозвали ее у «Гравье», чтобы подчеркнуть ее прелесть, несмотря на чуть-

чуть отталкивающую внешность той, с кого писался портрет. Вместе с Рескином, Берн-Джонсоном и Уоттсом Филип распрощался со своими котелком и аккуратным синим галстуком в горошек, в котором приехал в Париж; теперь он расхаживал в мягкой широкополой шляпе, повязывал шею черным бантом и накидывал на плечи плащ романтического покроя. Филип разгуливал по бульвару Монпарнас, словно провел на нем всю жизнь, и прилежно обучался пить абсент. Он отращивал длинные волосы, и только злодейка природа, глухая к извечным стремлениям юности, мешала ему отпустить бороду.

ГЛАВА 45

Филип скоро понял, что для всех его друзей Кроншоу был настоящим оракулом. От него Лоусон заимствовал свои парадоксы, и даже гонявшийся за оригинальностью Клаттон невольно подражал ему в разговоре. Они обменивались за столом его мыслями и на его мнении основывали свои оценки. Почтение, которое они инстинктивно к нему питали, пряталось за насмешкой над его чудачествами и оплакиванием его пороков.

— Ну, конечно, от бедняги Кроншоу больше ждать нечего, — повторяли они. — Старик безнадежен.

Они кичились тем, что только они одни знают цену его гениальности, и, с юношеским пренебрежением говоря о его причудах, гордились, если кто-нибудь из них попадался ему под руку в минуту вдохновения, и он рассыпал перед ним дары своего ума. Кроншоу никогда не приходил к «Гравье». Последние четыре года он жил с какой-то женщиной в крошечной квартирке на шестом этаже одного из самых ветхих домов набережной Великих Августинцев. Эту женщину видел только Лоусон, да и то один раз; он с жаром описывал грязь и убожество их жилья:

— Вонь такая, что голова кружится!

— Не смей рассказывать во время еды, — запротестовали товарищи.

Но он не мог отказать себе в удовольствии и с живописными подробностями перечислил все запахи, которые разом ударили ему в нос. Наслаждаясь своим умением беспощадно видеть действительность, он изобразил им женщину, которая отворила ему дверь. Это была маленькая,

толстая брюнетка, совсем еще молодая, с небрежно заколотыми волосами, в грязной кофте. Корсетом она себя не стесняла. Румяные щеки, большой чувственный рот и блестящие похотливые глаза придавали ей сходство с висевшей в Лувре «Цыганкой» Франса Гальса. Ее развязная вульгарность была смешной и страшноватой. По полу ползал хилый, неухоженный ребенок. Кругом все знали, что эта потаскуха обманывает Кроншоу с самым последним отребьем Латинского квартала, и наивные юноши, внимавшие его афоризмам за столиком кафе, никак не могли постигнуть, как такой острый ум и страстная любовь к прекрасному мирились с подобной шлюхой. Но он, казалось, упивался грубостью ее речи и часто повторял ее выражения, от которых так и несло сточной канавой. Кроншоу насмешливо называл ее *la fille de mon concierge*¹. Кроншоу был очень беден. Он с трудом зарабатывал на жизнь обзорами художественных выставок, которые писал для кое-каких английских газет, и переводами. Раньше он был парижским корреспондентом одной английской газеты, но его уволили за пьянство; однако он и поныне для нее писал — отчеты об аукционах в отеле Дрюо или рецензии на ревью в мюзик-холлах. Парижская жизнь стала ему необходима, как воздух, и он ни на что бы ее не променял, несмотря на нужду, унижительную поденщину и лишения. Он жил в Париже, никуда не выезжая круглый год, даже летом, когда все, кого он знал, покидали город, и чувствовал себя хорошо только поблизости от бульвара Сен-Мишель.

Но, как ни странно, он так и не выучился прилично говорить по-французски и сохранял, несмотря на потертый костюм, когда-то купленный в «Ла бель жардиньер»², свою типично английскую внешность.

Такой человек, как он, процветал бы лет полтора назад, когда умение вести беседу открывало доступ в самое лучшее общество, а пьянство отнюдь не служило для этого помехой.

— Мне бы следовало жить в восемнадцатом веке, — говорил он сам. — Мне нужен меценат. Я издавал бы свои стихи по подписке и посвящал бы их какому-нибудь знатному лицу. Мечтаю писать стансы в честь пуделя

¹ Дочь моего привратника (фр.).

² Дешевый универсальный магазин в Париже.

какой-нибудь графини! Душа моя жаждет интрижек с камеристками и легкой беседы с епископами.

Он цитировал романтическую жалобу Роллы:

— «Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux»¹.

Он любил новые лица; ему пришлось по душе Филип, которому удавалась трудная задача — поддерживать беседу, разговаривая так мало, чтобы не мешать монологам Кроншоу. Филип был им покорен. Он не понимал, как мало своего в мыслях Кроншоу. В разговоре он приобретал над собеседником непонятную власть. Голос у него был красивый, звучный, а манера высказывать свои взгляды увлекала молодежь. Все, что он говорил, будило мысль, и часто, возвращаясь домой, Лоусон и Филип прогуливались от гостиницы, где жил один из них, до гостиницы другого, обсуждая вопрос, на который натолкнула их случайно брошенная Кроншоу фраза. Филип со своей молодой нетерпимостью верил, что обо всем судят по результатам, и никак не мог понять, почему стихи Кроншоу ниже того, чего от него можно было ожидать. Они никогда не выходили отдельным сборником, большая их часть печаталась в журналах; после долгих уговоров Кроншоу принес пачку вырезок из «Желтой книги», «Сатердей ревью» и других изданий. Филип был озадачен, найдя, что все они напоминают ему то Хенли, то Суинберна. И только выразительное чтение Кроншоу придавало им своеобразие. Филип высказал свое разочарование Лоусону, который опрометчиво повторил кому-то его слова, и, когда Филип снова пришел в «Клозер де лила», поэт обратился к нему со своей циничной улыбкой:

— Вам, говорят, не очень нравятся мои стихи.

Филип был сконфужен.

— Да я бы этого не сказал, мне они доставили большое удовольствие.

— Не старайтесь щадить мои чувства, — бросил ему Кроншоу, взмахнув пухлой рукой. — Я не придаю своей поэзии большого значения. Куда важнее жить, чем описывать, как ты живешь. Моя цель на земле — испытывать многогранные ощущения, которые дарит мне жизнь, выцеживать

¹ «Я слишком поздно пришел в этот слишком дряхлый мир» (фр.); Ролла — герой одноименной поэмы французского поэта Альфреда де Мюссе (1810—1857).

из каждого мига все его чувственные богатства. Я считаю мои писания изящной прихотью образованного человека, которая не поглощает его, а только украшает ему жизнь. А что до славы в веках — будь они прокляты, эти грядущие века!

Филип улыбнулся. Этот художник своей жизни явно не смог создать для себя ничего, кроме уродливого прозябания. Кроншоу на него поглядел и наполнил свой стакан. Он послал официанта за пачкой сигарет.

— Вас забавляют мои слова потому, что вы знаете, как я живу: в нищете, на чердаке, с обыкновенной шлюхой, которая обманывает меня с парикмахерами и *garçons de café*¹, перевожу скверные книжки для английской черни и пишу статьи о ничтожных картинах, которые не заслуживают даже того, чтобы их ругали. Но, прошу вас, скажите мне, в чем смысл жизни?

— Помилуйте, это ведь сложный вопрос. А как бы вы сами на него ответили?

— Никак, потому что ответ этот каждый должен найти для себя сам. Но для чего, по-вашему, вы родились на свет Божий?

Филип никогда себя об этом не спрашивал; он подумал, прежде чем ответить.

— В общем, не знаю. Наверно, для того, чтобы выполнить свой долг, получше использовать врожденные способности и поменьше причинять страданий ближним.

— Короче говоря, какую мерою мерите, такой и вам будут мерить?

— По-видимому.

— Так ведь это же христианский идеал.

— Ничуть, — с негодованием возразил Филип. — Христианство тут ни при чем. Это мораль вообще.

— Но морали вообще не существует.

— В таком случае, если вы, например, спьяну забудете, уходя, ваш кошелек и я его подберу, к чему, по-вашему, мне его вам возвращать? Не из страха же перед полицией?

— От ужаса перед геенной огненной за свой грех и в надежде на Царствие Небесное за свою добродетель.

— Но я не верю ни в то, ни в другое.

— Может быть. Не верил и Кант, когда придумал свой категорический императив. Вы отбросили веру, но сохранили

¹ Официантами (фр.).

мораль, которая была на этой вере основана. По существу вы и до сих пор христианин, и, если Бог есть на небе, вам за это воздается. Но Всевышний вряд ли такой уж болван, каким его изображает церковь. Ежели вы соблюдаете его заповеди, ему, верно, начхать, верите вы в него или нет.

— Но, если бы я забыл свой кошелек, вы бы, безусловно, мне его вернули, — сказал Филип.

— Не по соображениям морали вообще, а только из страха перед полицией.

— Ну, полиция вряд ли вас заподозрит.

— Мои предки так долго жили в цивилизованном государстве, что страх перед полицией вьелся у меня в плоть и кровь. Дочь моего привратника не задумалась бы ни на минуту. Вы скажете, что она недаром близка к преступному миру, но тут совсем другое: она просто лишена мещанских предрассудков.

— Но, значит, вы отрицаете и честь, и добродетель, и чистоту, и порядочность. Словом — все! — воскликнул Филип.

— Вы когда-нибудь совершали грех?

— Не знаю. Думаю, что да.

— Вы произнесли это тоном попа-сектанта. Вот я никогда не совершал греха.

Кроншоу выглядел необыкновенно комично в потрепанной шубе с поднятым воротником, в надвинутой на красное одутловатое лицо шляпе, из-под которой сверкали маленькие глазки, но Филипу было не до смеха.

— Неужели вы никогда не совершали ничего, о чем бы стоило пожалеть?

— Как можно жалеть о том, что неизбежно? — спросил в ответ Кроншоу.

— Но ведь это фатализм!

— Иллюзия, что воля человека свободна, так укоренилась в нашей душе, что даже я готов ее принять. И, когда я действую, я делаю вид, будто что-то от меня зависит. Но, когда действие совершено, мне становится ясно, что оно было вызвано усилиями извечных сил природы и, что бы я ни предпринимал, я не мог бы его предотвратить. Оно было неминуемо. И, если действие это было благородным, заслуга тут не моя, если же оно было дурным — никто не вправе меня упрекать.

— У меня голова кругом идет, — пожаловался Филип.

— Выпейте виски, — предложил Кроншоу, подвигая бутылку. — Отлично прочищает мозги. Не мудрено, что у вас голова не варит, зря вы пьете пиво.

Филип отрицательно помотал головой, и Кроншоу продолжал:

— Вы — парень неплохой, вот только непьющий. А трезвость вредит беседе. Но, когда я говорю о добре и зле... — Филип понял, что его собеседник не потерял нити своих рассуждений, — я говорю только по привычке. Никакого смысла в эти слова я не вкладываю. Я отказываюсь устанавливать шкалу человеческих поступков, превозносить одни и чернить другие. Для меня понятия порока и добродетели не имеют значения. Я не раздаю ни похвал, ни порицаний — я приемлю сущее. Я — мера всех вещей. Я — центр мироздания.

— Но на свете живут и другие люди, кроме вас, — возразил Филип.

— Я могу говорить только о себе. Другие меня касаются лишь постольку, поскольку они ограничивают мои действия. Вокруг каждого из них тоже вращается вселенная, и каждый из них для себя — тоже центр мироздания. Мое право властвовать над ними определяется только моей силой. То, что я в силах совершить, — единственная граница того, что мне дозволено совершить. Мы от природы наделены стадным чувством и потому живем в обществе, а общество держится только на силе — силе оружия (полицейский) и силе общественного мнения (что скажут люди?). С одной стороны — общество, с другой — личность; и общество, и личность стремятся к самосохранению. Это сила против силы. Я стою один, но вынужден мириться с обществом и, в сущности, мирюсь с ним охотно, ибо взамен налогов, которые я плачу, общество меня охраняет, меня, слабо-сильного, — от насилия другой, более могучей личности; однако я подчиняюсь законам общества только поневоле и не признаю их, я вообще не признаю никаких законов и верю только в силу. После того как я заплатил за полицейского, который меня охраняет, и (если я живу в стране, где существует воинская повинность) отслужил в армии, которая оберегает мой кров и мою землю от захватчика, — я заплатил свой долг обществу и в остальном противостою его мощи своей изворотливостью. Государство, чтобы сохранить себя, издает законы и, если я нарушу эти законы,

сажает меня в тюрьму или лишает жизни; у него есть сила, чтобы так со мной поступить, а следовательно, и право на это. Если я нарушаю закон, на меня обрушивается месть государства за нарушение его закона, но я не стану считать эту месть справедливым наказанием и не буду чувствовать себя преступником. Общество соблазняет меня служить ему, суля почет, богатство и хвалу сограждан, но я равнодушен к их хвале, презираю почет и легко могу обойтись без богатства.

— Но, если бы и другие думали как вы, все бы сразу же развалилось, как карточный домик!

— А что мне до других, я думаю только о себе. Я пользуюсь тем, что большая часть человечества, гонясь за своей выгодой, делает то, что прямо или косвенно помогает мне жить.

— Мне сдается, что это удивительно эгоистический взгляд на вещи, — сказал Филип.

— Неужели вам кажется, будто люди делают что бы то ни было не из эгоистических побуждений?

— Да.

— Это невозможно! Когда вы станете старше, вы поймете, что в мире можно хоть как-нибудь жить только при одном неперменном условии: надо понять, что эгоизм — это естественное свойство человека. Вы требуете бескорыстия от других, но это ведь чудовищная претензия: вы хотите, чтобы они пожертвовали своими желаниями ради ваших. С какой стати? Когда вы примиритесь с мыслью, что каждый живет только для себя, вы будете куда снисходительнее к своим ближним. Они перестанут обманывать ваши надежды, и вы начнете относиться к ним куда милосерднее. Люди стремятся в жизни только к одному — к наслаждению.

— Неправда! — закричал Филип.

Кроншоу улыбнулся.

— Вы встали на дыбы, как перепуганный жеребец, потому что я произнес слово, которое ваша христианская догма сделала бранным. У вас твердая шкала ценностей, и наслаждение находится в самом низу. Вы испытываете легкую дрожь самодовольства, говоря о добре, милосердии и правдолюбии. Вы считаете, что наслаждение бывает только чувственным; жалкие рабы, которые создали вашу мораль, презирали радость — она ведь была им так мало доступна!

Вы бы не перепугались, если бы я заговорил не о наслаждении, а о счастье: это слово вас оскорбляет меньше, и ваши мысли, отдаляясь от Эпикурова стойла, вступают в его сады. Но я буду говорить о наслаждении, потому что вижу, как люди к нему стремятся, и не заметил, чтобы они стремились к счастью. Наслаждение — вот изнанка каждой из ваших добродетелей. Человек совершает тот или иной поступок потому, что ему от этого хорошо, а если от этого хорошо и другим людям, человека считают добродетельным; если ему приятно подавать милостыню, его считают милосердным; если ему приятно отдавать силы обществу, он — полезный член его; но вы ведь даете два пенса нищему для своего личного удовлетворения, так же как я для своего личного удовлетворения пью виски с содовой. Но я не такой лицемер, как вы, а потому не хвалю себя за это и не требую, чтобы вы мной восхищались.

— Но разве вы никогда не видели людей, которые делали то, чего им не хочется?

— Нет. Вы по-дурацки ставите вопрос. Вы хотите сказать, что бывают люди, которые предпочитают временное огорчение мимолетному удовольствию. Возражение так же бессмысленно, как и сама постановка вопроса. Люди предпочитают временное огорчение мимолетному удовольствию только потому, что ждут куда большего удовольствия в будущем. Часто это удовольствие бывает только кажущимся, но неверный расчет отнюдь не опровергает общего правила. Вы удивлены потому, что никак не можете избавиться от представления, будто удовольствия могут быть только чувственными, но, дитя мое, человек отдает свою жизнь за родину только потому, что ему это нравится, так же как он ест кислую капусту потому, что она ему нравится. Это закон природы. Если бы люди предпочитали страдание наслаждению, род человеческий давно бы вымер.

— Но, если это правда, — воскликнул Филип, — в чем же тогда смысл жизни? Если вы отнимаете у людей долг, добро и красоту, зачем мы рождаемся на свет Божий?

— В зал вступил пышный Восток, чтобы ответить на этот вопрос, — засмеялся Кроншоу.

Он показал на двух левантинцев, которые в это мгновение отворили двери кафе и вышли, впустив за собой струю холодного воздуха. Это были бродячие продавцы дешевых ковров, каждый из них нес в руках по свертку. В этот

воскресный вечер кафе было переполнено. Левантинцы медленно шли между столиками, и в душном зале, пропитанном людскими запахами, где лампы горели тускло в табачном дыму, от них веяло чем-то таинственным. Одеты они были в потрепанные европейские костюмы и жиденькие, потертые пальто, зато на головах были фески. Лица посерели от холода. Один из них, с черной бородой, был уже не первой молодости, а другому, одноглазому, с лицом, глубоко изъеденным оспой, можно было дать лет восемнадцать. Они прошли мимо Кроншоу и Филипа.

— Аллах велик, и Магомет — пророк его, — важно произнес Кроншоу.

Старший приблизился к ним с заискивающей улыбкой, словно шелудивый пес, привыкший к тому, что его бьют. Кинув искоса взгляд на дверь, он быстрым движением, украдкой показал на порнографическую картинку.

— Скажи мне, почтенный, ты и в самом деле Масрэд-Дин, купец из Александрии, или же ты из Багдада привез свои товары? А тот вон одноглазый юноша, правда ли, что он один из трех царей, о которых Шахерезада рассказывала сказки своему повелителю?

Улыбка разносчика стала еще более раболопной, хотя он и не понял ни единого слова из того, что сказал ему Кроншоу; словно фокусник, он извлек откуда-то ларчик сандалового дерева.

— Нет, покажи нам лучше узорчатые ткани восточных мастеров, — продекламировал Кроншоу. — Я хочу вывести мораль и украсить свой рассказ.

Левантинец развернул скатерть — красную, желтую, кричащую, безобразную, как смертный грех.

— Тридцать пять франков, — попросил он.

— О почтенный купец, этой ткани не касалась рука ткачей Самарканда, и красок этих не разводили в чанах Бухары.

— Двадцать пять франков, — униженно оскаблился разносчик.

— В тридесATOM царстве, в неведомом государстве соткали эту ткань, а может, даже в Бирмингеме, на родине моей.

— Пятнадцать франков, — прошептал бородатый торговец.

— Уйди с глаз моих долой, бродяга, — сказал Кроншоу. — Да обесчестят дикие ослы могилу твоей матери.

Невозмутимо, но уже больше не улыбаясь, левантинец перешел со своими товарами к другому столику. Кроншоу повернулся к Филипу:

— Вы бывали в музее Клюни? Там вы найдете персидские ковры прекраснейших тонов, с рисунком таким изысканным, что он поражает глаз. В этих коврах вся таинственная и чувственная прелесть Востока, розы Хафиза и чаша с вином Омара Хайяма. Но вскоре вы увидите в них не только это. Вот вы меня спрашивали, в чем смысл жизни. Ступайте поглядите на эти персидские ковры, и в один прекрасный день ответ придет к вам сам.

— Вы говорите загадками, — сказал Филип.

— Я просто пьян, — ответил Кроншоу.

ГЛАВА 46

Филип обнаружил, что жизнь в Париже стоит совсем не так дешево, как его уверяли: к февралю он истратил почти все деньги, которые привез с собой. Гордость не позволяла ему обратиться к опекуну, и он не хотел, чтобы тетя Луиза знала, как ему туго, понимая, что она непременно пошлет ему хоть небольшую сумму из своих денег, а у нее самой их осталось так немного. Через три месяца он достигнет совершеннолетия и сможет распоряжаться своим маленьким состоянием. А пока Филип старался свести концы с концами, продав золотые вещи, доставшиеся ему от отца.

Как раз в это время Лоусон предложил ему снять вместе небольшую мастерскую на одной из улиц возле бульвара Распай. Стоило это очень дешево. К мастерской примыкала комната, в которой они могли спать, а так как Филип проводил каждое утро в студии, Лоусон мог пользоваться в эти часы мастерской. Переменив несколько студий, Лоусон решил, что ему лучше всего работать самостоятельно, и предлагал нанять натурщика на три или четыре сеанса в неделю. Поначалу Филип колебался, боясь, что ему это будет не по средствам, но они подсчитали расходы, и оказалось (им очень хотелось иметь собственную мастерскую, и расчеты их были самыми приблизительными), что тратить им придется немногим больше, чем живя в гостинице. И, хотя платить за помещение и консьержке за уборку придется теперь чуть побольше, они сэкономят на завтраках,

которые смогут готовить себе сами. Года два назад Филип отказался бы жить в одной комнате с кем бы то ни было — так болезненно переживал он свое уродство, но теперь он стал куда менее чувствителен: в Париже все это казалось совсем не таким важным, и, хотя он сам никогда не забывал о своей хромоте, ему перестало казаться, что другие только о ней и думают.

Они переехали, купили две кровати, умывальник, несколько стульев и впервые испытали радость обладания собственностью. В первую ночь, проведенную «дома», они были так возбуждены, что никак не могли заснуть и проговорили до трех часов утра, а на следующий день, когда они затопили камин, сами сварили себе кофе и сели пить его в пижамах, им стало так весело, что Филип с трудом попал в «Амитрано» к одиннадцати часам. Настроение у него было отличное. Он кивнул Фанни Прайс:

— Как дела?

— А вам-то что? — услышал он в ответ.

Филип не мог удержаться от смеха.

— Зря вы на меня кидаетесь. Я просто старался быть вежливым.

— Не нужно мне вашей вежливости.

— Зачем вам ссориться и со мной? — добродушно спросил ее Филип. — Вы и так почти со всеми на ножах.

— И это вас не касается.

— Вы правы.

Филип принялся за работу, недоумевая, почему Фанни Прайс ведет себя так враждебно. Он почувствовал, что она ему глубоко антипатична. Как и всем остальным. Люди старались ее не задевать, опасаясь ее злого языка: и в лицо и за глаза она говорила обо всех ужасные гадости. Но у Филипа было такое хорошее настроение, что ему хотелось жить в мире даже с мисс Прайс. Он пустил в ход испытанное средство:

— Взгляните-ка, пожалуйста, на мой рисунок. Я что-то совсем запутался.

— Нет уж, спасибо. Не желаю я тратить на вас время.

Филип поглядел на нее с изумлением: единственное, на что она всегда охотно откликнулась, — это когда у нее просили совета. Она продолжала, захлебываясь, сдавленным от ярости голосом:

— Теперь, когда Лоусон ушел из школы, вы решили, что можно обратиться и ко мне за помощью? Нет уж,

спасибо! Ступайте и поищите себе советчика в другом месте, мне не нужны чужие объедки!

У Лоусона была врожденная склонность учить. Стоило ему что-нибудь узнать, как он тут же стремился поделиться с другими. И так как он делал это с удовольствием, его уроки всегда были полезны. Филип все чаще и чаще подсаживался к Лоусону; ему даже в голову не приходило, что Фанни Прайс с ума сходит от ревности и все больше распаляется, наблюдая за тем, как его обучает другой.

— Прежде вам небось и меня хватало, когда вы еще никого здесь не знали, — попрекала она его с горечью, — но стоило вам обзавестись друзьями, и вы вышвырнули меня, как старую тряпку... — И она со сладострастием повторила это истасканное сравнение: — Как старую тряпку... Ну и пусть, наплевать, но дуру из меня делать я вам больше не позволю.

В ее словах была доля истины, поэтому Филип обозлился и ответил ей первое, что пришло ему в голову.

— Да, черт возьми, я же обращался к вам только потому, что это явно доставляло вам удовольствие!

Она вдруг задохнулась и бросила на него взгляд, полный муки. По ее щекам медленно покатались слезы. Вид у нее был крайне жалкий и карикатурный. Филип, не понимая, что должна означать эта новая смена настроения, вернулся к своей работе. Ему было неловко и совестно, однако, боясь нарваться на грубость, он не решался подойти к ней и попросить прощения. Две или три недели она с ним не разговаривала, и, когда Филип по привычке к тому, что его не замечают, он даже почувствовал некоторое облегчение, избавившись от этой тягостной дружбы: его стал смущать тот хозяйский тон, который она с ним усвоила. Мисс Прайс была все-таки удивительная женщина! Она появлялась в студии каждое утро ровно в восемь и была наготове, как только натурщица занимала свое место; рисовала она, не отрываясь, ни с кем не разговаривая, и, пока часы не били двенадцать, упорно боролась с трудностями, которых так и не могла преодолеть. Работа ее была безнадежно плоха. Она не приближалась даже к тому среднему уровню, которого достигало большинство молодежи, проучившись в студии несколько месяцев. На ней неизменно было наде-то все то же безобразное коричневое платье с забрызганным вчерашней грязью подолом, с теми же дырами, которые Филип заметил, увидев ее впервые.

Но в один прекрасный день она сама к нему подошла и спросила, багровая от стыда, не может ли она с ним поговорить после занятий.

— Да ради Бога, — улыбнулся ей Филип. — Я вас подожду.

Когда занятия кончились, он к ней подошел.

— Давайте выйдем вместе, ладно? — спросила она, смущенно отвернув лицо.

— С удовольствием.

Несколько минут они шли молча.

— Помните, что вы мне тогда сказали? — вдруг спросила она.

— Давайте не будем ссориться, — попросил Филип. — Право же, не стоит.

Она судорожно глотнула воздух.

— Я не хочу с вами ссориться. Вы ведь в Париже мой единственный друг. Мне казалось, что и вы ко мне неплохо относитесь. У меня было такое чувство, будто между нами что-то есть. Меня привлекало... Ну, вы же понимаете, что я хочу сказать... Ваша хромота...

Филип покраснел, он инстинктивно выпрямился, чтобы поменьше хромать. Он не любил, когда ему напоминали о его уродстве. Ему было понятно, что имела в виду Фанни Прайс. Она сама была некрасива, нескладна, и оттого, что он был калекой, между ними возникало какое-то родство душ. Филип страшно на нее разозлился, но заставил себя промолчать.

— Вы сказали, что обращались ко мне за советом только потому, что мне это доставляет удовольствие. Значит, вы думаете, что мои работы никуда не годятся?

— Я видел только ваши рисунки в «Амитрано». По ним трудно судить...

— Хотите посмотреть другие мои работы? Я никогда никому их не показывала. Но вам мне бы хотелось показать.

— Большое спасибо. Мне это будет очень интересно.

— Я живу совсем близко, — сказала она извиняющимся тоном. — У вас это отнимет минут десять.

— Я никуда не тороплюсь, — сказал он.

Они пошли по бульвару и свернули сначала в одну боковую улочку, а потом в другую, еще более нищую, с маленькими лавчонками в нижних этажах. У одного из домов они остановились и стали подниматься по лестнице, этаж

за этажом. Мисс Прайс отперла дверь, и они вошли в крошечную мансарду с покатым потолком и небольшим окошком. Воздух в комнате был спертый. Хотя погода стояла холодная, печь не топилась, и было не похоже, что она топится вообще. Кровать так и осталась незастеленной. Обстановка состояла из комода, служившего и умывальником, стула и дешевенького мольберта. Жилище было и без того очень убогим, а беспорядок и неопрятность придавали ему совсем жалкий вид. На камине среди тюбиков с красками и кистей стояли немытая чашка, тарелка и чайник.

— Если вы отойдете в угол, я поставлю их на стул, чтобы было виднее.

Она показала ему двадцать небольших полотен, примерно восемнадцать дюймов на двенадцать, ставя их одно за другим на стул и вглядываясь в его лицо. Он только молча кивал в ответ.

— Вам нравится, да? — спросила она, не вытерпев.

— Я сначала хочу рассмотреть их все, — ответил он. — А потом скажу.

Ему нужно было прийти в себя. Его взяла оторопь. Он не знал, что сказать. Дело было не только в том, что рисунок был из рук вон плох и краски положены неумелой рукой человека, лишенного чувства цвета, — в картинах не чувствовалось даже попытки соразмерять пропорции, а перспектива была просто смехотворной. Ее мазня была похожа на упражнения пятилетнего ребенка, но у ребенка есть хоть непосредственность, и он по крайней мере пытается изобразить то, что видит; здесь же действовала пошлая фантазия, насквозь отравленная воспоминаниями о пошлых картинах. Филип вспомнил, с каким восторгом она говорила ему о Моне и импрессионистах; однако собственные ее вещи следовали самым дурным традициям Королевской академии.

— Вот все, что у меня есть, — сказала она.

Филип не был таким уж отчаянным правдолюбом, однако ему трудно было произнести откровенную, умышленную ложь, и он покраснел до корней волос.

— Мне кажется, что все это очень здорово, — выдавил он с трудом.

Ее одутловатое лицо слегка порозовело, она даже улыбнулась.

— Не надо кривить душой, если вы этого не думаете. Я хочу, чтобы вы мне сказали правду.

— Да я и не кривлю душой...

— Неужели у вас нет никаких замечаний? Не может быть, чтобы все картины вам нравились одинаково.

Филип беспомощно огляделся вокруг. Он заметил пейзаж — типичное упражнение любителя: старый мост, увитый виноградом домик, заросший берег.

— Конечно, я не так уж хорошо разбираюсь в живописи, — промямлил он. — Однако меня немножко смущают вот эти пропорции.

Она густо покраснела и поспешно повернула полотно лицом к стене.

— Не понимаю, почему вам нужно было говорить гадости именно об этой вещи. Она — лучшее, что я написала. И я уверена, что пропорции тут безупречны. Правильность пропорций — это то, чему нельзя выучиться, вы их либо чувствуете от природы, либо нет.

— Мне кажется, что все это очень здорово, — повторил Филип.

Она поглядела на свои картины с самодовольным видом.

— Да, их не стыдно показать кому угодно.

Филип посмотрел на часы.

— А ведь уже поздно. Хотите, я угощу вас обедом?

— Мой обед готов и меня ждет.

Филип не видел никаких признаков еды, но предположил, что, когда он уйдет, обед ей принесет консьержка. Ему хотелось поскорее уйти. От спертого воздуха у него разболелась голова.

ГЛАВА 47

В марте стали волноваться по поводу посылки картин на выставку в Салон. У Клаттона, как всегда, ничего не было готово, и он издевался над двумя портретами, посланными Лоусоном: они были явно ученической работой, эти две головы натурщиков, но в них ощущалась какая-то сила. Клаттон добивался совершенства и терпеть не мог опытов, в которых сквозила неуверенность; пожав плечами, он заявил Лоусону, что считает нахальством желание выставить работы, которые не имеют права выходить за стены студии; он ничуть не изменил своей презрительной мины и тогда, когда портреты Лоусона были приняты. Фланаган тоже решил попытать счастья, но его картину отвергли. Миссис

Оттер послала аккуратненький «Portrait de ma mère»¹, написанный умело, но без таланта; его повесили на видном месте.

Хейуорд, которого Филипп не видел со дня своего отъезда из Гейдельберга, приехал на несколько дней в Париж, как раз вовремя, чтобы попасть на вечеринку, устроенную в мастерской по поводу того, что Салон принял картины Лоусона. Филиппу не терпелось снова увидеться с Хейуордом, но, когда они наконец встретились, Филипп почувствовал разочарование. Хейуорд изменился внешне: его пышные волосы поредели; как бывает со светлыми блондинами, он быстро поблек, у него появились морщины; голубые глаза выцвели, лицо стало слегка одутловатым. Зато внутренне Хейуорд не изменился совсем, и начитанность, которая поражала восемнадцатилетнего Филиппа, казалась ему теперь, в двадцать один год, чуть-чуть смешной. Сам-то он изменился разительно и глубоко презирал свои прежние взгляды на искусство, на жизнь и литературу; его теперь раздражали люди, придерживающиеся этих взглядов. Филипп не отдавал себе отчета в том, как ему хочется порисоваться перед Хейуордом, но, когда он повел своего друга по картинным галереям, он выложил ему все те революционные воззрения, которые сам усвоил лишь недавно. Подводя Хейуорда к «Олимпии» Мане, он произнес с пафосом:

— Я отдал бы за эту картину всех старых мастеров, за исключением Веласкеса, Рембрандта и Вермеера!

— Кто такой Вермеер? — спросил Хейуорд.

— Дорогой, неужели ты не знаешь Вермеера? Какая дикость! Этого нельзя себе позволить. Вермеер — единственный из старых мастеров, писавший, как пишут сейчас.

Филипп быстро потащил Хейуорда из Люксембурга в Лувр.

— Но разве здесь больше нечего смотреть? — запротестовал Хейуорд с любознательностью добросовестного туриста.

— Ничего примечательного. Посмотришь все это потом, с помощью твоего путеводителя.

Придя в Лувр, Филипп повел приятеля по Большой галерее.

— Я хотел бы посмотреть «Джоконду», — попросил Хейуорд.

— Ну, милый, это литературщина! — возмутился Филипп.

¹ «Портрет матери» (фр.).

Наконец в маленьком зале Филип остановился возле «Кружевницы» Вермеера Дельфтского.

— Вот лучшая картина Лувра. Совсем как Мане.

И при помощи красноречиво выгнутого большого пальца Филип описал приятелю все прелести этой картины. Он пользовался жаргоном студий с покоряющей убедительностью.

— Знаешь, а я вот не вижу в ней ничего замечательного, — сказал Хейуорд.

— Ну, конечно, это ведь картина для художников, — сказал Филип. — Профан в ней ничего и не увидит.

— Кто не увидит? — переспросил Хейуорд.

— Профан.

Как и большинство людей, хвастающих интересом к искусству, Хейуорд страшно боялся попасть впросак. Он был догматиком с теми, кто не решался настаивать на своем мнении, и мягок как воск — с людьми убежденными. Уверенность Филипа его смутила, и он смиренно выслушал его сентенцию, что только художник может быть истинным ценителем живописи, хотя она и свидетельствовала лишь о нахальстве того, кто ее высказывал.

Дня через два Филип и Лоусон устроили свою вечеринку. Кроншоу, сделав для них исключение, согласился прийти поужинать, а мисс Чэлис вызвалась приготовить угощение. Молодую художницу несколько не интересовали особы одного с ней пола, и она отклонила предложение пригласить других девушек себе в помощь. Гостями были Клаттон, Фланеган, Поттер и еще двое. Мебели не хватало, поэтому помост для натурщицы служил столом, а гости могли сидеть либо на чемоданах, либо на полу. Пиршество состояло из *rot-au-feu*¹, приготовленного мисс Чэлис, и зажаренной в ресторанчике по соседству бараньей ноги, — когда ее подали на стол, она была еще горячая и вкусно пахла. (Мисс Чэлис отварила к ней картошку; вся мастерская пропиталась запахом тушеной моркови — тушеная морковь была любимым блюдом мисс Чэлис.) За этим последовали *poires flambées* — груши в горящем коньяке, которые приготовил сам Кроншоу. Пир завершался огромным *fromage de Brie*², который стоял на окне и забивал все другие ароматы,

¹ Мясного супа (фр.).

² Сыр бри (фр.).

наполнявшие мастерскую. Кроншоу восседал на почетном месте, на большом саквояже, поджав под себя ноги, словно турецкий паша, и благодушно улыбался окружавшей его молодежи. По привычке он не расстался со своей шубой, хотя в маленькой мастерской жарко топилась печь. Воротник, как всегда, был поднят, на лоб надвинута неизменная шляпа; Кроншоу с удовольствием поглядывал на четыре большие фляги кьянти, которые выстроились перед ним в ряд, с бутылкой виски посредине; он сказал, что это напоминает ему тоненькую красавицу черкешенку под охраной четырех пузатых евнухов. Для того чтобы не смущать остальных гостей, Хейуорд нарядился в костюм из домотканой шерсти и надел галстук, какой носят студенты Кембриджа. Вид у него был до неприличия английский. Все были с ним изысканно вежливы, и за супом разговор шел только о погоде и о политике. Пока они дожидались бараньей ноги, наступило молчание, и мисс Чэлис закурила сигарету.

— «Рапунцель, Рапунцель, распусти свои волосы!»¹ — сказала она ни с того ни с сего. Изящным движением она развязала ленту — и волосы рассыпались по плечам. Потом она встряхнула головой. — С распущенными волосами я чувствую себя куда лучше.

Большие карие глаза, тонкие, аскетические черты, белая кожа, широкий лоб — она точно сошла с картины Берн-Джонса. У нее были узкие, красивые руки с пальцами, пожелтевшими от никотина. Носила она свободно задрапированные туники, лиловые и зеленые. Весь ее романтический облик живо напоминал о Кенсингтоне. Мисс Чэлис была отъявленной эстеткой, но существом благородным, добрым и очень сердечным, а вся ее претенциозность была только внешней. Послышался стук, встреченный восторженными возгласами; мисс Чэлис отворила дверь, взяла у посыльного баранью ногу и подняла блюдо высоко над головой, словно на нем лежала голова Иоанна Крестителя; не выпуская сигареты изо рта, она приблизилась к столу торжественной и плавной походкой.

— Слава тебе, дочь Иродиады! — воскликнул Кроншоу.

Баранину ели со вкусом; приятно было смотреть, с каким отменным аппетитом жует эта бледнолицая дама. По

¹ Слова из сказки братьев Грим «Рапунцель», обращение к героине — молодой девушке с длинными косами.

обе стороны от нее сидели Клаттон и Поттер; ни для кого не было тайной, что ни тот, ни другой не имели оснований считать ее недотрогой. Большинство мужчин надоедало ей месяца через полтора, но она и потом отлично умела ладить с молодыми людьми, которые отдали ей свое сердце. Хотя она и переставала их любить, но относилась к ним по-прежнему доброжелательно; близости больше не было, но дружба оставалась. Теперь она меланхолически поглядывала на Лоусона.

Груши пользовались большим успехом как из-за коньяка, так и потому, что мисс Чэлис настояла на том, чтобы их ели с сыром.

— Не могу понять, так ли это на самом деле вкусно или же меня сейчас стошнит, — сказала она, наевшись груш.

Но тут подали кофе с коньяком, чтобы предупредить последствия неосторожного гурманства, и все блаженно закурили. Рут Чэлис не могла не принять артистической позы: она изящно прислонилась к Кроншоу и опустила свою прелестную голову ему на плечо. Она вглядывалась в туманную даль времен своими трагическими глазами и лишь изредка, бросая на Лоусона долгий испытующий взгляд, тяжело вздыхала.

Настало лето, и молодых людей обуяла тяга к перемене мест. Синее небо влекло их к морскому простору, а мягкий ветерок, шелестевший листьями платанов на бульваре, манил на лоно природы. Все подумывали об отъезде из Парижа; обсуждали, какого размера холсты удобнее всего брать с собой; запасались акварелью для этюдов; спорили о преимуществах того или иного местечка в Бретани. Фланеган и Поттер отправились в Конкарно; миссис Оттер, взяв мать, с врожденной тягой к тривиальности, поехала в Понт-Авен; Филип и Лоусон решили побродить по лесу Фонтенбло. Мисс Чэлис знала в Морэ отличную гостиницу, где кругом было что рисовать; место это находилось совсем недалеко от Парижа, а Филип и Лоусон рады были сэкономить на железнодорожных билетах. К тому же там будет Рут Чэлис. Лоусон собирался писать ее портрет на открытом воздухе. В то время Салон был заполнен портретами людей в саду, на солнце, с зажмуренными от яркого света глазами, с зелеными бликами на лице от освещенных лучами листьев. Молодые люди приглашали поехать с ними и Клаттона,

но тот предпочел провести лето в одиночестве. Он только что открыл Сезанна и стремился в Прованс; он тосковал по тяжелому, плотному небу, откуда синева словно сочилась, широким, белесым от зноя дорогам, бледным крышам, с которых солнце выжгло все краски, и серым от пыли оливам.

В день, когда все они, кончив утренний урок, собирались в путь, Филип, складывая рисовальные принадлежности, заговорил с Фанни Прайс.

— Завтра я уезжаю, — сообщил он ей весело.

— Куда? — быстро спросила она. — Неужели совсем? — Лицо ее вытянулось.

— На все лето. А вы никуда не едете?

— Нет. Я остаюсь в Париже. Думала, что останетесь и вы. И что мы...

Она замолчала и передернула плечами.

— Но ведь здесь будет такая жарница! Вам это страшно вредно.

— Больно вас интересует, что мне вредно! А вы куда едете?

— В Морэ.

— Туда едет Чэлис. Вы едете с ней?

— Мы едем с Лоусоном. И она едет туда тоже. Я даже не уверен, что мы едем вместе...

Из ее горла вырвался сдавленный хриплый звук, а широкое лицо залилось темной краской.

— Вот безобразие! А я-то думала, вы человек порядочный. Чуть не единственный здесь порядочный человек. Она жила с Клаттоном, с Поттером, с Фланаганом и даже со стариком Фуане — вот почему он с ней так возится, — а теперь дошел черед и до вас с Лоусоном. Ох, прямо тошно!

— Какая ерунда! Она очень хорошая девушка. С ней чувствуешь себя просто как с мужчиной.

— Не смейте со мной разговаривать! Не желаю я, чтобы вы со мной разговаривали!

— Но вам-то что до этого? — спросил Филип. — Вас-то уж и вовсе не касается, где я буду проводить лето.

— Я так долго об этом мечтала, — дрожащим голосом сказала она, словно разговаривая сама с собой. — Мне казалось, у вас нет денег, чтобы куда-нибудь поехать, а здесь, кроме меня, никого не останется и мы сможем вместе работать и повсюду ходить... — И тут она снова вспомнила о Рут

Чэлис. — Подлая тварь! — закричала она. — Она не стоит того, чтобы с ней здоровались!

У Филипа замерло сердце. Он был не из тех, кому кажется, что все девушки в него влюбляются; он слишком хорошо помнил, что он калека, и чувствовал себя с женщинами неловко, однако эта вспышка могла иметь только одно объяснение. Перед ним стояла неопрятная, замызганная женщина в грязном коричневом платье, с растрепанными космами, и по щекам ее катились злые слезы. Вид у нее был отталкивающий. Филип кинул испуганный взгляд на дверь, от души надеясь, что кто-нибудь войдет и положит конец этой сцене.

— Мне очень жалко... — начал он.

— Вы ничем не лучше их всех. Пользуетесь людьми и даже спасибо не скажете. Я вас научила всему, что вы знаете. Никто не стал бы так с вами возиться. Разве Фуане захочет тратить на вас время? И вот что я вам скажу, если вы проучитесь тысячу лет, и то из вас не будет толку! У вас нет таланта. Нет самобытности. Это говорю не только я, так говорят о вас все. Никогда из вас не выйдет художника!

— И это вас тоже не касается! — покраснев, сказал Филип.

— Ну да, вы думаете, что во мне говорит только злость. Спросите Клаттона, спросите Лоусона, спросите Чэлис. Никогда! У вас нету того, без чего не бывает художника.

Филип пожал плечами и пошел. Она кричала ему вслед:

— Никогда из вас не выйдет художника! Никогда!

Морэ был маленьким старинным городком на опушке леса Фонтенбло. На его единственной улице стояла гостиница «Экю д'ор», которая всем своим древним видом напоминала об эпохе, когда Францией правили короли. Фасад ее выходил на петлявшую между деревьев речку; с небольшой террасы в комнате мисс Чэлис был прелестный вид на старый мост и укрепленный въезд на него. По вечерам после ужина они пили на этой террасе кофе, курили и спорили об искусстве. Немного поодаль в речку впадал узкий канал, окаймленный тополями, по берегам которого они часто бродили после трудового дня. Весь день они писали этюды. Как и большинство художников их поколения, их больше всего пугала красота, и, презрев живописные виды городка, они искали натуру, в которой не было бы ненавистой

им сладости. Сислей и Моне писали канал с тополями, и молодым людям тоже хотелось попробовать руку на пейзаже, столь типичном для Франции, но их пугала его правильная красота, и они намеренно старались от нее уйти. Мисс Чэлис, хорошо владевшая живописной техникой, что вызывало восхищение Лоусона, как он ни презирал «дамское рукоделие», задумала писать пейзаж, в котором тривиальность преодолевалась тем, что деревья были изображены без своих крон. Самого же Лоусона осенила блестящая идея поместить на переднем плане большую синюю рекламу «Chocolat Menier»¹, чтобы подчеркнуть свое отвращение к хорошему пейзажику с шоколадных коробок.

Филип стал писать маслом. Впервые освоив эту выразительную технику, он испытывал полное наслаждение. По утрам он брал ящик с красками, усаживался рядом с Лоусоном и писал свой этюд; радость, которую он ощущал, заставляла его забывать, что он всего-навсего копирует работу Лоусона; он всецело находился под влиянием товарища и все видел его глазами. Лоусон писал приглушенными тонами, и обоем изумрудная зелень травы казалась темным бархатом, а яркое сияние утреннего неба превращалось под их кистью в тревожную синеву. Весь июль стояли ясные дни, была жара, горячее дыхание земли обжигало насквозь и наполняло истомой; Филип не мог работать, в уме его теснились тысячи мыслей. Нередко он проводил утро в тени тополей, на берегу канала; прочитав несколько строк, он предавался мечтам. Иногда он брал напрокат старенький велосипед, отправлялся по пыльной дороге в лес, чтобы поваляться где-нибудь на полянке. Голова его была полна романтических образов. Веселые и беззаботные дамы с картин Ватто, казалось ему, бродят со своими кавалерами между могучими стволами деревьев, шепчут друг другу безрассудные, шутливые признания, чувствуя, однако, какой-то тайный, неосознанный страх.

Во всей гостинице жили они одни, не считая толстой пожилой француженки раблезианского склада с громким, раскатистым и похабным смехом. Все дни она проводила с удочкой у реки, так никогда и не поймав ни одной рыбки, и Филип часто приходил к ней поболтать. Он скоро узнал, что она принадлежала к той же профессии, что и

¹ «Шоколад Менье» (фр.).

прославленная миссис Уоррен¹, но, сколотив кое-какое состояние, стала почтенной дамой и вела буколическую жизнь. Она рассказывала Филипу множество непристойных историй.

— Вам надо съездить в Севилью, — уговаривала она его на ломаном английском языке, который немножко знала. — Там самые красивые женщины на свете.

Она широко осклабилась и покачала головой. Ее тройной подбородок и мягкий живот затряслись от беззвучного смеха.

Настал такой зной, что спать по ночам было почти невозможно. Жара, казалось, сделалась осязаемой и плотно залегла под деревьями. Им не хотелось расставаться со звездной ночью, и они молча час за часом просиживали втроем на веранде у Рут Чэлис, слишком усталые, чтобы разговаривать, но всем своим существом наслаждаясь покоем. Они прислушивались к журчанию реки. Часы на колокольне били час, два, а иногда и три, прежде чем они принуждали себя отправиться спать. Как-то невзначай Филип понял, что Рут Чэлис и Лоусон — любовники. Он угадал это по взгляду, каким девушка смотрела на молодого художника, по его виду собственника, и, сидя с ними, Филип чувствовал, что их окружает какая-то особая атмосфера, словно воздух вокруг них насыщен дурманом. Открытие это его потрясло. Для него мисс Чэлис была просто хорошим товарищем, с которым он любил поговорить, — более близкие отношения с ней казались ему невыносимыми. В воскресенье они взяли еду и отправились в лес; дойдя до полянки, которая, на ее взгляд, была достаточно уединенной, мисс Чэлис заявила, что тут надо вести себя, как положено на лоне природы, и разулась. Все было бы прелестно, если бы ноги у нее не оказались слишком велики и на пальцах не росли большие мозоли. Поэтому поведение ее выглядело немножко смешным. Однако теперь Филип смотрел на нее уже совсем по-другому; в ее больших глазах и смуглой коже было что-то мягкое, женственное; он ругал себя за то, что не почувствовал ее обаяния. Да и она, кажется, его чуть-чуть презирала за то, что он ее сразу не оценил, а Лоусон с трудом скрывал самодовольство. Филип завидовал Лоусо-

¹ Героиня пьесы Б. Шоу «Профессия миссис Уоррен» — содержательница публичных домов.

ну; он ревновал его, но не к этой женщине, а к его любви. Ему хотелось быть на месте Лоусона и чувствовать то, что чувствует он. Филип был встревожен, он боялся, что любовь обойдет его стороной. Ему хотелось, чтобы им завладела страсть, захватила его целиком и повлекла, как могучий поток, неведомо куда. Мисс Чэлис и Лоусон казались ему теперь другими людьми, и постоянное общение с ними его удручало. Он был недоволен собой. Жизнь не давала ему того, чего он хотел, и у него было беспокойное ощущение, что он зря теряет время.

Толстая француженка быстро догадалась, в каких отношениях находится парочка, и сообщила об этом Филипу с грубой откровенностью.

— А у вас, — спросила она с добродушной улыбкой человека, разжившегося на вожделинии своих ближних, есть *petite amie*?¹

— Нет, — краснея признался Филип.

— Почему же? *C'est de votre âge*?²

Он пожал плечами. В руке у него был томик Верлена, с ним он и пошел бродить в одиночестве. Он пытался читать, но желания, которые томили, не давали ему покоя. На память ему приходили случайные связи, на которые его толкал Фланаган, тайные посещения домов в *cul-de-sac*³ с обитой плюшем мебелью и продажными прелестями размалеванных девиц. Его охватила дрожь. Бросившись на траву, потянувшись, как только что проснувшееся молодое животное, он почувствовал, что журчащие струи, тихо дрожащие от ветерка тополя, голубое небо над головой — все это невыносимо прекрасно. Он был влюблен в любовь. Закрыв глаза, он почувствовал прикосновение теплых губ к своим губам, касание нежных рук, обвивших его шею. Он представлял себя в объятиях Рут Чэлис, ему чудились ее темные глаза и удивительная нежность кожи; он был безумцем, позволив уйти из-под рук такому увлекательному приключению. Чем он хуже Лоусона? Но мысли эти приходили к нему только тогда, когда он не видел Рут Чэлис — лежал ночью без сна или забывался в мечтах на берегу канала; когда же она была перед ним, чувство пропадало — ему

¹ Подружка (*фр.*).

² Вам уже по годам полагалось бы (*фр.*).

³ Тупике (*фр.*).

больше не хотелось ее обнять, он не мог себе представить, что целует ее. Он ничего не понимал. Вдали она казалась ему прекрасной, он помнил только ее необыкновенные глаза и матовую бледность щек; но стоило ему увидеть ее — и он замечал, что у нее плоская грудь и уже гнилые зубы; он не мог забыть мозолей у нее на ногах. Как странно! Неужели он всегда будет любить только издали и не сможет ничем насладиться из-за какой-то ущербности зрения, которое, как в кривом зеркале, преувеличивало все гадкое и уродливое?

И он несколько не огорчился, когда перемена погоды, предвещавшая конец этого долгого лета, прогнала их обратно в Париж.

ГЛАВА 48

Когда Филип вернулся в «Амитрано», он узнал, что Фанни Прайс там больше не занимается. Она сдала ключ от своего шкафчика. Филип спросил у миссис Оттер, известна ли ей дальнейшая судьба Фанни, и та, пожав плечами, ответила, что мисс Прайс, по-видимому, вернулась в Англию. У Филипа отлегло от сердца. Ему страшно надоел ее сварливый характер. К тому же она навязчиво давала ему советы, считала личным оскорблением, когда он им не следовал, и никак не могла примириться с тем, что он уже не чувствует себя таким олухом, как вначале. Скоро он совсем о ней позабыл. Теперь он работал маслом, испытывая от этого огромное удовольствие. Он надеялся, что сумеет сделать что-нибудь стоящее и послать на будущий год в Салон. Лоусон писал портрет мисс Чэлис. Она была очень живописна, и все молодые художники, которые в нее влюблялись, писали с нее портреты. Природная лень в соединении со страстью принимать красивые позы делали ее отличной натурщицей; к тому же она достаточно хорошо разбиралась в технике, чтобы дать дельный совет.

Так как любовь к искусству была у нее главным образом любовью к жизни, которую ведут художники, она охотно поступалась собственной работой. Ей нравилось сидеть в хорошо натопленной мастерской и курить сигарету за сигаретой; при этом она говорила грудным, нежным голосом о любви к искусству или об искусстве любить. Ей трудно было понять разницу между тем и другим.

Лоусон работал над портретом в поте лица; он простаивал возле мольберта целыми днями, покуда его держали ноги, а потом счищал все, что написал. Он истощил бы терпение любой натурщицы, кроме Рут Чэлис. В конце концов он совсем запутался.

— Единственное, что мне остается, — это взять новый холст и начать сначала, — сказал он. — Теперь я точно знаю, чего хочу, и дело у меня пойдет быстро.

Филип присутствовал при этой сцене, и мисс Чэлис его спросила:

— А почему вы меня не пишете? Вы могли бы многому научиться, глядя, как работает мистер Лоусон.

Мисс Чэлис была женщиной деликатной и всегда называла своих любовников по фамилии.

— Я был бы очень рад. Если Лоусон не возражает...

— А мне-то что! — сказал Лоусон.

Филип первый раз в жизни брался за портрет, и начал он с трепетом, но и с гордостью. Сев рядом с товарищем, он писал так, как писал тот. Ему помогали и пример, и советы, на которые не скупились ни Лоусон, ни мисс Чэлис. Наконец Лоусон кончил портрет и решил показать его Клаттону. Клаттон только что вернулся в Париж. Из Прованса он как-то незаметно перебрался в Испанию — ему очень хотелось посмотреть Веласкеса в Мадриде, — а потом поехал в Толедо. Там он пробыл три месяца и вернулся, твердя незнакомое товарищам имя: он рассказывал удивительные вещи о художнике, которого звали Эль Греко. Но изучить его, оказывается, можно только в Толедо.

— Я о нем давно слышал, — сказал Лоусон. — Это старый мастер, который отличался тем, что писал так же плохо, как современные художники.

Клаттон, еще более молчаливый, чем всегда, ничего не ответил и язвительно поглядел на Лоусона.

— Вы покажете нам работы, которые привезли из Испании? — спросил Филип.

— Я ничего не писал в Испании. Мне было некогда.

— А что же вы там делали?

— Думал. С импрессионистами я, кажется, покончил; через несколько лет они будут казаться мелкими и поверхностными. Мне хочется перечеркнуть все, чему я учился, и начать сызнова. Когда я вернулся, я уничтожил все мои картины. У меня в мастерской теперь нет ничего, кроме мольберта, красок и чистых холстов.

— Что вы намерены делать?

— Не знаю. Мне еще не очень ясно, чего мне хочется. Говорил он медленно, как-то чудно, словно прислушивался к чему-то невятному. В нем бродили странные силы, в которых он сам не отдавал себе отчета, хотя они мучительно искали выхода. Это душевное напряжение ощущали все. Лоусон боялся его критики, хотя и напросился на нее сам, и хотел смягчить удар, делая вид, будто ему безразлично мнение Клаттона, однако Филипп знал, как он будет счастлив, если Клаттон его похвалит. А тот молча вглядывался в портрет, потом мельком посмотрел на стоявшую на мольберте картину Филиппа.

— А это что? — спросил он.

— Да я вот тоже пытался написать портрет.

— Усердная обезьяна, — пробормотал Клаттон.

Он снова повернулся к холсту Лоусона. Филипп покраснел, но смолчал.

— Ну, как по-вашему? — не выдержал Лоусон.

— Хорошая лепка лица, — сказал Клаттон. — И, помоему, очень хороший рисунок.

— Как вы думаете, пропорции правильные?

— Вполне.

Лоусон радостно заулыбался. Он встряхнулся, как вымокший под дождем пес.

— Знаете, мне ужасно приятно, что вещь вам нравится.

— Она мне не нравится. Я считаю, что она никому не нужна.

Лицо Лоусона вытянулось, и он с изумлением воззрился на Клаттона, не понимая, что тот хочет сказать. Клаттон не умел выражать своих мыслей, говорил он будто через силу. То, что он наконец произнес, было сказано путано, сбивчиво, многословно, но Филипп знал заповедь, которая легла в основу его бессвязной речи. Клаттон, который никогда ничего не читал, услышал ее как-то от Кроншоу, и, хотя она сперва и не произвела на него большого впечатления, слова ее запали ему в память, а потом показались собственным открытием: хороший художник должен рисовать два объекта сразу — человека и его душевное устремление. Импрессионистов поглощали другие задачи: они великолепно изображали человека, но их так же мало, как и английских портретистов XVIII века, занимало, к чему стремится человеческая душа.

— Но, когда вы пытаетесь это передать, вы впадаете в литературщину, — возразил Лоусон. — Эх, если бы я умел писать человека, как делает Мане! И ну их тогда к черту, все ваши душевные устремления!

— Да, если бы вы могли переплюнуть Мане в том, чем он силен, но вам до него далеко. Нельзя жить позавчерашним днем, почва там уже истощена. Надо вернуться к прошлому. Вот когда я увидел Эль Греко, я понял, что портрет может дать больше, чем мы думали.

— Но это означает возврат к Рескину! — закричал Лоусон.

— Нет... Понимаете, Рескина занимала мораль; мне же в высокой степени наплевать на мораль — ни дидактика, ни этика, ни все прочее не имеют отношения к искусству; важны страсть, чувство. Величайшие портретисты — Рембрандт и Эль Греко — изображали одновременно и самого человека и устремление его души; только второсортные живописцы писали одного человека. Ландыш прелестен, даже если бы он не пах, но он еще прекраснее оттого, что у него есть аромат. Ну а ваша картина, — и он показал на портрет, написанный Лоусоном, — что ж, рисунок тут в порядке, и лепка лица в порядке, все это пристойно и обыденно, а вам полагалось ее так нарисовать, чтобы всякий понял: какая дрянная потаскуха! Точность очень хороша, но Эль Греко делал свои фигуры высотой в восемь футов, потому что ему надо было выразить нечто такое, чего другим способом он выразить не мог.

— Плевал я на вашего Эль Греко! — возмутился Лоусон. — Что вы нам тычете его в нос, раз мы не можем посмотреть то, что он написал?

Клаттон пожал плечами, молча выкурил сигарету и ушел. Филипп и Лоусон поглядели друг на друга.

— В том, что он говорит, что-то есть, — сказал Филипп. Лоусон злобно уставился на свою картину.

— А как же, черт побери, передать душевное устремление, если не писать человека таким, каким ты его видишь?

Примерно в это время у Филиппа появился новый приятель. По понедельникам с утра в студии собирались натурщи — одного из них приглашали позировать ближайшую неделю. Как-то раз выбор пал на молодого человека, который явно не был профессиональным натурщиком.

Филипа привлекала его манера держаться: взойдя на помост, он крепко встал на обе ноги, расправив плечи, сжав руки и вызывающе выставив вперед голову; эта поза подчеркивала красоту его тела, на котором не было ни капли жира, а мускулы выпирали, словно стальные канаты. У него была коротко стриженная голова правильной формы, большие темные глаза, густые брови и маленькая бородка. Натурщик сохранял свою позу несколько часов подряд без малейших признаков усталости. Лицо его в одно и то же время выражало и стыд и решимость. Весь он был точно сгусток энергии и сразу же зажег романтическое воображение Филипа; когда сеанс окончился и натурщик оделся, Филипу показалось, что он носит свое платье, как переодетый в лохмотья король. Юноша был молчалив, но дня через два миссис Отгер рассказала Филипу, что натурщик — испанец и позирует впервые.

— Он, наверно, голодал, — сказал Филип.

— Вы заметили, как он одет? Костюм на нем чистый и очень приличный.

Случилось так, что один из учившихся в студии американцев, Поттер, собрался поехать на несколько месяцев в Италию и предложил свою мастерскую Филипу. Филипа это очень обрадовало. Его начинал раздражать авторитетный тон Лоусона, ему хотелось побыть одному. Решившись, он в конце недели подошел к натурщику, объяснил, что не успел кончить рисунок, и спросил, не согласится ли тот позировать ему хотя бы денек дома.

— Я не натурщик, — заявил испанец. — На той неделе у меня будут другие дела.

— Давайте вместе закусим и обсудим этот вопрос, — предложил Филип, а так как собеседник его колебался, добавил с улыбкой: — Ей-Богу же, оттого что вы со мной пообедаете, вас не убудет.

Пожав плечами, натурщик согласился, и они отправились в *cadémie*¹. Испанец говорил на ломаном французском языке бегло, хотя и не очень понятно, и Филипу удалось с ним поладить. Выяснилось, что испанец — писатель. Он приехал в Париж писать романы и кормился всеми способами, доступными человеку без гроша в кармане: давал уроки, брал, когда перепали, переводы — главным

¹ Кафе-молочную (фр.).

образом деловых бумаг — и наконец был вынужден зарабатывать деньги, позируя художникам. За это хорошо платили, и того, что он заработал за прошлую неделю, ему хватит еще на полмесяца; он сообщил удивленному Филипу, что свободно может прожить на два франка в день; однако ему было стыдно, что он вынужден обнажать свое тело за деньги, и считал профессию натурщика унижением, которое можно снести, только когда тебе грозит голодная смерть. Филип объяснил ему, что намерен писать не тело, а только голову; ему хочется сделать с него портрет для выставки в Салоне будущего года.

— Но почему вам захотелось писать портрет именно с меня? — спросил испанец.

Филип ответил, что его лицо показалось ему интересным; он надеется, что портрет может выйти удачным.

— У меня нет свободного времени. Мне жаль каждой минуты, которую я отрываю от работы.

— Но вы нужны мне только под вечер. По утрам я работаю в студии. И в конце концов лучше позировать мне, чем переводить деловые письма.

В Латинском квартале еще ходили легенды о тех временах, когда студенты из разных стран жили в тесной дружбе друг с другом; однако времена эти давно миновали, и различные национальности были тут так же разъединены, как в каком-нибудь городе на Востоке. У «Жюльена» и в «Beaux Arts»¹ на француза-студента, который якшался с иностранцами, его соотечественники смотрели косо. Англичанину трудно было близко познакомиться с обитателями города, в котором он жил. Многие студенты, проводя в Париже лет пять, знали французский лишь настолько, чтобы суметь объясниться в магазинах, и жили совсем как в Англии, словно и не выезжали из Южного Кенсингтона.

Филип со своим пристрастием ко всему романтическому радовался возможности сойтись поближе с испанцем; он проявил всю свою настойчивость, чтобы сломить его упрямство.

— Знаете, что я сделаю? — сдался наконец испанец. — Я буду вам позировать, но не за деньги, а для собственного удовольствия.

Филип воспротивился. Но тот был непреклонен, и после долгих споров они уговорились, что испанец придет к нему

¹ Академия изящных искусств (фр.).

в следующий понедельник в час дня. Он дал Филипу свою карточку, на которой было напечатано его имя — Мигель Ахурия.

Мигель позировал аккуратно и, хотя он отказывался брать плату, время от времени занимал у Филипа франков по пятидесяти; сеансы обходились дороже, чем если бы Филип платил за них как положено, но зато создавали испанцу приятную иллюзию, что он не зарабатывает на жизнь унизительным трудом. Национальность Мигеля делала его в глазах Филипа олицетворением всяческой романтики, он расспрашивал его о Севилье и Гренаде, о Веласкесе и Кальдероне. Но Мигеля раздражали разговоры о величии его родины. Для испанца, как и для многих его соотечественников, Франция была единственной страной, где мог жить интеллигентный человек, а Париж — столицей мира.

— Испания — это труп! — кричал он. — У нее нет писателей, у нее нет искусства, у нее ничего нет!

Мало-помалу с безудержным красноречием своей нации он открыл Филипу душу. Испанец писал роман, который, он надеялся, создаст ему имя. Находясь под влиянием Золя, местом действия он избрал Париж. Он рассказал подробно сюжет. Филипу этот сюжет показался примитивным и глупым; его наивная эротика («C'est la vie, mon cher, c'est la vie!»¹ — кричал испанец) только подчеркивала тривиальность фабулы. Писал он уже два года, преодолевая невероятные лишения, отказывая себе в тех удовольствиях, которые влекли его в Париж, борясь с нищетой ради своего искусства, решив, что ничто не собьет его с намеченного пути. Усилия, которые он затрачивал, были поистине героическими.

— Почему вы не пишете об Испании? — возмутился Филип. — Ведь это было бы куда интереснее. Вы знаете тамошнюю жизнь.

— Но Париж — единственное место, о котором стоит писать. Вот Париж — это жизнь.

Как-то раз он принес часть своей рукописи и на плохом французском языке, взволнованно переводя фразу за фразой, так что Филип едва его понимал, прочел несколько отрывков из романа. Впечатление было самое жалкое. Филип в растерянности смотрел на портрет, который он

¹ «Это ведь жизнь, мой милый, сама жизнь!» (фр.).

писал: за этим широким лбом скрывался самый заурядный ум, а горящие страстью глаза не видели в жизни ничего, кроме пошлости. Филипп был недоволен портретом и к концу сеанса почти всегда счищал с холста то, что успел сделать. Конечно, надо выразить душевные устремления, но кто знает, каковы они, если человек — это сгусток противоречий? Ему нравился Мигель, и его огорчало сознание, что героическая борьба, которую вел испанец, бесцельна; для того чтобы стать большим писателем, у него было все, кроме таланта. Филипп смотрел на свою собственную работу. Как узнать, есть ли в ней что-нибудь настоящее или он попусту тратит время? Ему было ясно, что для достижения какой-нибудь цели мало одной только воли, а уверенность в своих силах еще ничего не доказывает. Филипп подумал о Фанни Прайс: она страстно верила в свой талант и у нее была железная воля.

«Если бы я понял, что из меня никогда не выйдет настоящего художника, я бросил бы живопись, — сказал себе Филипп. — Быть посредственным художником бессмысленно».

Однажды утром, когда он выходил из дому, привратница крикнула ему, что для него есть письмо. Никто не писал ему, кроме тети Луизы и время от времени — Хейворда, а почерк на конверте был незнакомый. Он прочитал:

«Прошу вас прийти сразу же, как только вы получите это письмо. Больше я не могла терпеть. Пожалуйста, придите сами. Мысль о том, что кто-нибудь, кроме вас, коснется меня, невыносима. Я хочу, чтобы все мои вещи достались вам.

Ф. Прайс

Я ничего не ела уже три дня»

Филиппу стало вдруг душно от страха. Он кинулся бежать к дому, в котором она жила. Его поразило, что она еще в Париже. Он не видел Фанни уже несколько месяцев и решил, что она давно возвратилась в Англию. Войдя в подъезд, он спросил привратника, дома ли мисс Прайс.

— Да. Она, по-моему, не выходила уже дня два.

Филипп взбежал наверх и постучал. Ответа не было. Он позвал ее по имени. Дверь была заперта, и, заглянув в скважину, он увидел, что ключ торчит в замке.

— Господи, неужели она что-нибудь с собой сделала? — воскликнул он вслух.

Он побежал вниз и сказал привратнику, что мисс Прайс, несомненно, у себя в комнате. Он получил от нее письмо и боится, не случилось ли какого-нибудь несчастья. Филип предложил взломать дверь. Угрюмый привратник, который едва слушал его, перепугался; он заявил, что не может взять на себя такую ответственность и вломиться в комнату, надо сходить за commissaire de police¹. Они вдвоем отправились в bureau², а потом вызвали слесаря. Филип узнал, что мисс Прайс не платила за квартиру последние три месяца; на Новый год она не сделала привратнику положенного по традиции подарка. Вчетвером они снова поднялись наверх и опять постучали в дверь. Ответа по-прежнему не было. Слесарь принялся за дело, и наконец они вошли в комнату. Филип вскрикнул и инстинктивно закрыл лицо руками. Несчастная женщина висела на веревке, которую она прикрепила к крюку в потолке, ввинченному кем-то из прежних обитателей, для того чтобы подвесить полог. Она сдвинула в сторону свою узенькую кровать и встала на стул, который потом оттолкнула ногой. Стул лежал на боку посреди комнаты. Веревку перерезали. Тело уже давно остыло.

ГЛАВА 49

История, которая постепенно открылась Филипу, была ужасна. Женщин, учившихся с Фанни Прайс в «Амитрано», обижало, что она никогда не участвовала в их веселых пирушках в ресторане, однако причина тут была самая простая: Фанни страдала от жесточайшей нужды. Филип вспомнил их совместный обед вскоре после того, как он приехал в Париж, и ее зверский аппетит, который вызывал у него тогда отвращение; теперь он понимал, что ела она с такой жадностью потому, что была смертельно голодна. Привратник рассказал ему, как она питалась. Ей каждый день оставляли бутылку молока, и она сама покупала себе булку; съев половину хлеба и выпив полбутылки молока в обед, она, вернувшись из школы, доедала остальное на ужин. И так день за днем. Филип с болью думал о том, что ей приходилось выносить. Она ни разу

¹ Участковым полицейским (фр.).

² Полицейский участок (фр.).

никому не призналась в том, что беднее других, но ее гроши явно подходили к концу, и последнее время она уже больше не могла посещать студию. В ее каморке почти не было мебели и, кроме потрепанного коричневого платья, которое она всегда носила, не нашлось никакой одежды. Филип порывлся в ее вещах в поисках адреса кого-нибудь из ее друзей, с кем он мог бы снестись. Он нашел клочок бумаги, на котором раз десять было написано его имя. Эта бумажка его потрясла. По-видимому, она и в самом деле его любила; он подумал об иссохшем теле, которое висело на крюке, вбитом в потолок, и его охватила дрожь. Но, если она его любила, почему она не позволила ему ей помочь? Он с радостью сделал бы все, что мог. Его мучила совесть — ведь он не пожелал заметить, что она относится к нему с каким-то особенным чувством, и теперь слова в ее письме: «Мысль о том, что кто-нибудь, кроме вас, коснется меня, невыносима» — звучали так трагически. Она умерла с голоду.

В конце концов Филип нашел письмо, подписанное «твой любящий брат Альберт». Письмо это было почти трехнедельной давности, откуда-то из Сербитона, и в нем этот брат отказывал в займе пяти фунтов стерлингов. У него жена и дети, о которых он должен заботиться, он не считает себя вправе бросаться деньгами и советует Фанни вернуться в Лондон и поискать место. Филип дал телеграмму Альберту Прайсу и через некоторое время получил ответ:

«Глубоко опечален, крайне затруднительно бросить дело. Неужели мое присутствие необходимо.

Прайс»

Филип сухо подтвердил, что его присутствие необходимо. Наутро в мастерской появился незнакомый ему человек.

— Моя фамилия Прайс, — объявил он Филипу.

Это был плебейского вида мужчина в черном костюме и котелке, перевязанном лентой из черного крепа; в его внешности было что-то нескладное, как и у Фанни; на лице топорщились щетинистые усы, и разговаривал он с простонародным лондонским акцентом. Филип пригласил его войти, и, покуда он рассказывал подробности трагического происшествия, мистер Прайс исподтишка разглядывал мастерскую.

— Мне ведь необязательно ее видеть, правда? — спросил Альберт Прайс. — Нервы у меня не слишком крепкие, и любая ерунда меня расстраивает.

Он разговорился. Мистер Прайс торговал резиновыми изделиями; у него была жена и трое детей. Фанни служила гувернанткой, и он никак не мог взять в толк, зачем ей понадобилось бросить работу и отправиться в Париж.

— И я, и миссис Прайс говорили ей, что Париж — не место для молодой девушки. И художеством денег не зарабатываешь, прибыли от него что от козла молока.

Мистер Прайс явно не ладил с сестрой и рассматривал ее самоубийство как последнюю гадость, которую она ему устроила. Ему не хотелось признавать, что на самоубийство ее толкнула нищета, — это как-никак бросало тень на семью. У него возникла мысль, что ее поступок мог быть вызван более уважительной причиной.

— А может, тут какие-нибудь неприятности по женской части? Понятно, что я имею в виду, а? Ведь это же Париж и все такое. Могла наложить на себя руки, чтобы скрыть позор.

Филип почувствовал, что краснеет, и мысленно выругал себя за отсутствие самообладания. Острые, как буравчики, глаза Прайса, казалось, подозревали его в нечистой игре.

— А я уверен, что ваша сестра была абсолютно добродетельна, — ответил он колючим тоном. — Он покончила с собой потому, что умирала с голоду.

— Ну что ж, это нехорошо по отношению к ее родным, мистер Кэри. Стоило ей мне написать... Разве я позволил бы сестре нуждаться?

Филип узнал его адрес из письма, в котором Прайс отказывал дать сестре займы; однако он только пожал плечами — какой теперь толк его попрекать? Филипу был отвратителен это человек, и он хотел поскорее с ним распрощаться. Да и Альберт Прайс предпочитал побыстрее покончить со всеми формальностями и вернуться в Лондон. Они пошли в комнатушку, где жила Фанни. Альберт Прайс поглядел на картины и на обстановку.

— Я не говорю, что разбираюсь в искусстве, — сказал он. — Но за эти картины все-таки можно будет что-нибудь получить, как вы думаете?

— Ничего, — сказал Филип.

— Мебель не стоит и десяти шиллингов.

Альберт Прайс не говорил по-французски, и Филипу пришлось взять все хлопоты на себя. Казалось, так никогда и не удастся предать земле и успокоить это бедное тело: надо было получать в одном присутственном месте какие-то бумаги и подписывать их в другом; обойти множество всяких должностных лиц. Три дня Филип бегал с утра до ночи. Наконец они с Альбертом Прайсом проводили катафалк на кладбище Монпарнас.

— Я хочу, чтобы все было как у людей, — заявил Альберт Прайс, — но зря деньги переводить не стоит.

Краткая церемония казалась особенно гнетущей в это холодное серенькое утро. На похороны пришло несколько человек, которые были знакомы с Фанни Прайс по студии; миссис Оттер (потому что она была *massière* и считала это своим долгом), Рут Чэлис (потому что у нее было доброе сердце), Лоусон, Клаттон и Фланаган. Все они недолюбливали покойную, когда она была жива. Филип, озираясь, увидел, как тесно стоят повсюду памятники (одни — простые и бедные, другие — безвкусные, аляповатые и безобразные), и почувствовал отвращение: все вокруг было невыносимо убогим. Когда похороны кончились, Альберт Прайс пригласил Филипа пообедать. Филип уже видеть его не мог, к тому же он смертельно устал; последние дни его мучила бессонница, ему без конца мерещилась Фанни Прайс в своем рваном коричневом платье — она висела на крюке, вбитом в потолок... Однако он не мог придумать предлога для отказа.

— Вы меня сведите куда-нибудь, пусть нас с вами накормят по-барски. А то мои нервы от всей этой истории совсем разъехались

— Тут поблизости, пожалуй, лучшее место — «Лавеню», — ответил Филип.

Альберт Прайс со вздохом облегчения уселся на бархатный диванчик. Он заказал сытный обед и бутылку вина.

— Ну, слава Богу, кончено, — сказал он.

Он задал Филипу обиняком несколько вопросов, и тот понял, что мистера Прайса интересует, как живут в Париже художники. Жизнь эта казалась ему предосудительной, но он умирал от любопытства, желая поподробнее разузнать о тех оргиях, которые рисовало ему воображение. Воровато подмигивая и подхихикивая, он намекал, что его не проведешь: пусть ему Филип голову не морочит, он ведь

человек бывалый, понимает, что к чему. Мистер Прайс спросил Филипа, знает ли он те местечки на Монмартре, о которых идет такая слава от самого Темпль-бара до биржи? Эх, хотелось бы и ему побывать в «Мулен Руж». Обед был превосходный, а вино и того лучше. Хорошее пищеварение настраивало Альберта Прайса на все более игривый лад.

— А ну-ка, возьмем немножко коньячку, — сказал он, когда им подали кофе. — Где наша не пропадала!

Он потирал руки.

— Знаете, а я ведь подумываю, не остаться ли мне здесь на ночь. Поеду завтра. Как насчет того, чтобы провести вечерок вместе?

— Черта с два я соглашусь водить вас сегодня по Монмартру!

— Да, наверно, это не очень прилично.

Он сказал это так серьезно, что Филип усмехнулся.

— К тому же такая прогулка может пагубно отразиться на ваших нервах, — произнес он внушительно.

Альберт Прайс решил, что тогда ему лучше выехать в Лондон поездом в четыре часа, и распрощался с Филипом.

— Ну что ж, пока, старина. Знаете что? Я постараюсь как-нибудь опять приехать в Париж и непременно дам вам знать. А тогда уж мы с вами кутнем вовсю!

В этот день Филип был слишком взвинчен, чтобы работать; он сел в автобус и переехал на ту сторону реки поглядеть, не выставлены ли новые картины у Дюран-Рюэля. Потом пошел бродить по бульварам. День был студеный и ветреный. Мимо него спешили прохожие, поплотнее запахнув пальто и съевшись от холода; лица у них были озябшие и озабоченные. Ну и ледяной же, наверно, холод там, в могиле на кладбище Монпарнас, среди всех этих белых надгробий. Филип почувствовал себя одиноким и вдруг затосковал по дому. Ему захотелось к людям. В этот час Кроншоу работает, а Клаттон не любит незваных гостей; Лоусон пишет новый портрет Рут Чэлис и рассердится, если ему помешают. Филип решил сходить к Фланагану. Тот рисовал, но обрадовался случаю бросить кисти и поболтать. В мастерской у него было уютно — американец был богаче своих товарищей — и тепло; Фланаган стал готовить чай. Филип поглядел на два портрета, которые тот собирался выставить в Салоне.

— Это, конечно, нахальство, что я посылаю туда свою мазню, — сказал Фланаган, — но мне наплевать. Пошлю, и все. Вы считаете, что это дерьмо?

— Не такое дерьмо, как я думал, — сказал Филип.

Портреты, к его удивлению, были написаны с настоящим мастерством. Все трудности умело обойдены и мазки положены с неожиданной и даже привлекательной смелостью. Фланаган, не имея школы и не зная техники, писал свободно, словно всю жизнь отдал искусству.

— Если бы картину было запрещено рассматривать дольше чем тридцать секунд, вас бы считали великим мастером, — пошутил Филип.

У молодых людей не было принято портить друг друга чрезмерными комплиментами.

— У нас в Америке ни у кого нет больше тридцати секунд, чтобы смотреть на картину, — засмеялся американец.

Фланаган, хотя и был самым легкомысленным существом на свете, обладал той обаятельной душевной мягкостью, которую в нем трудно было заподозрить. Стоило кому-нибудь заболеть — и он превращался в усердную сиделку. Его веселый нрав действовал лучше любого лекарства. Как и многие его соотечественники, он был лишен свойственного англичанам страха перед сентиментальностью, который держит их в узде; не боясь проявления чувств, он позволял себе выказывать горячее участие к попавшему в беду приятелю. Он сразу заметил, как Филип угнетен тем, что ему пришлось пережить, и с искренней теплотой принялся его забавлять. Нарочно злоупотребляя американизмами, которые, как он знал, всегда смешат англичан, Фланаган, не умолкая, остроумно и весело болтал. Через некоторое время они отправились обедать, а потом в «Гэте Монпарнас» — место, где Фланаган особенно любил развлекаться. К концу вечера он был уже безудержно весел. Он много выпил, но куда больше опьянел от собственной жизнерадостности, чем от алкоголя. Потом Фланаган предложил отправиться в «Баль Бюлье», и Филип, чувствуя себя слишком усталым, чтобы лечь спать, охотно согласился. Они уселись за столик на возвышении сбоку — это был небольшой помост, откуда можно было наблюдать за танцами, — и заказали пиво. Вдруг Фланаган заметил какую-то приятельницу и с воплем перепрыгнул через загородку вниз. Филип разглядывал танцующих. В «Бюлье» не ходила

великосветская публика. Был четверг, но в зале царила теснота. Тут были и студенты различных факультетов, но в основном служащие или приказчики, одетые в будничные костюмы спортивного покроя из магазина готового платья или нескладно сшитые визитки. Танцевали в шляпах: их никто не снимал, так как положить их было некуда. Женщины были, видимо, служанки или размалеванные потаскушки, однако в большинстве своем — продавщицы, наряженные бедно, с дешевой претензией на моду, царящую по ту сторону реки. Проститутки старались походить на знаменитых артисток варьете или на танцовщиц; ресницы их были густо намазаны тушью, а щеки вызывающе алели. Зал освещался большими белыми, низко подвешенными фонарями, которые бросали резкие тени на лица; линии при этом освещении становились жестче, а краски грубее. Зрелище было до крайности убогое. Филипп перегнулся через перила, вглядываясь в лица; музыки он уже не слушал. Танцевали самозабвенно. Кружились по залу медленно, почти не разговаривая, поглощенные танцем. В помещении было жарко, и кожа блестела от пота. Филиппу казалось, что все эти люди перестали следить за выражением своих лиц, перестали отдавать дань условностям и выглядели теперь такими, какими были на самом деле. В этот миг забытья в них было что-то удивительно животное: в одних — лисье, в других — волчье, у третьих вместо лиц были вытянутые, глупые овечьи морды. Кожа была серая — и от нездоровой жизни, которую они вели, и от плохой пищи. Черты заглубели от низменных желаний, бегающие глазки были лживы. Во всем облике этих людей не было ни тени благородства; чувствовалось, что для каждого из них жизнь — это длинная цепь мелочных забот и подленьких мыслей. Воздух был насыщен запахом человеческого тела. Но танцевали здесь неистово, словно людей этих что-то подстегивало изнутри; Филиппу казалось, что они осатанели в погоне за удовольствиями. Они отчаянно рвались прочь из своего страшного мира. Жажда наслаждения, которая, по словам Кроншоу, была единственной движущей силой человека, толкала их вперед, но она была такой лихорадочной, что лишала их всякого удовольствия. Их несло неизвестно почему и неизвестно куда. Казалось, над ними навис рок, и они танцевали так, словно под ногами у них вот-вот развернется бездна. Их молчание было каким-то

жутким. Жизнь, видимо, так их запугала, что отняла даже дар речи, крик сердца застревал у них в глотке. Взгляд был мрачный, и, несмотря на животную похотливость, которая их обезображивала, на жестокость и глупость, — мука, застывшая в этих глазах, вызывала у Филипа ужас и сострадание. Он ненавидел этих людей, но сердце у него разрывалось от беспредельной жалости.

Взяв в раздевалке пальто, он вышел в пронизывающую, холодную темноту.

ГЛАВА 50

Злосчастное происшествие никак не выходило у Филипа из головы. Больше всего его мучило, что подвижничество Фанни было таким бессмысленным. Никто не мог бы работать упорнее, чем она, и с таким жаром; она верила в себя всем сердцем; однако эта вера, очевидно, еще ничего не доказывала: она была у всех его друзей, в том числе у Мигеля Ахурии, а Филипа поражало несоответствие между героическими усилиями испанца и банальностью того, что он создает. Несчастливые школьные годы пробудили у Филипа страсть к самоанализу; этот порок, введливый, как наркомания, завладел им, и он стал беспощаден в оценке собственных чувств. Он не мог не видеть, что искусство воздействует на него не так, как на других. Хорошая картина вызвала у Лоусона мгновенную реакцию. Его восприятие было инстинктивным. Даже Фланаган чувствовал то, до чего Филипу приходилось додумываться. Его восприятие было чисто интеллектуальным. Он признавался себе, что, если бы у него был художественный темперамент (ненавидя это выражение, он никак не мог подыскать более подходящее), он ощущал бы прекрасное так же непосредственно, не рассуждая, как ощущали его другие. Филип стал задумываться, есть ли в нем что-нибудь, кроме незамысловатой ловкости рук, позволяющей хорошо копировать. Но ведь это ничего не стоит. Он научился презирать техническую сноровку. Важно было живописное ощущение мира. Лоусон пишет по-своему потому, что этого требует его натура, и сквозь ученическое подражание и податливость чужим влияниям в его вещах видна индивидуальность. Филип поглядел на свой портрет Рут Чэлис и теперь, когда прошло три месяца, понял, что это всего лишь рабская копия работы Лоусона.

Он чувствовал свое бесплодие. Он писал рассудком, а между тем отлично знал, что всякая мало-мальски хорошая картина пишется сердцем.

У него было очень мало денег, меньше тысячи шестисот фунтов, и ему придется жестоко экономить. Он не может рассчитывать на какие бы то ни было заработки еще лет десять. История живописи знает множество биографий художников, которые вообще ничего не зарабатывали. Он должен обречь себя на нищету; игра стоит свеч, если он создаст бессмертные произведения; но его мучил страх, что он всю жизнь останется посредственностью. А если так, стоит ли жертвовать молодостью, радостями жизни, всем ее бесконечным разнообразием? Он видел, как прозябают иностранные художники в Париже: их жизнь была ограниченной, провинциальной. Он знал, что многие из них по двадцать лет гоняются за неуловимой славой и погрязают в конце концов в пьянстве и нищете. Самоубийство Фанни напомнило немало подобных же историй, а Филип наслушался страшных рассказов о том, как люди спасаются от отчаяния. Он вспомнил издевательский совет, который мэтр дал бедной Фанни; как было бы хорошо, если бы она им воспользовалась и перестала добиваться того, что для нее было недостижимо.

Филип кончил портрет Мигеля Ахурини и решил выставить его в Салоне. Фланаган посылал туда две свои картины, а Филипу казалось, что он пишет не хуже Фланагана. Он так упорно работал над портретом, что не мог не поверить в его достоинства. Правда, когда Филип всматривался в портрет, ему казалось, что чего-то в нем недостает, хотя и не понимал, чего именно; но, когда картины не было у него перед глазами, он приободрялся и даже чувствовал какое-то удовлетворение. Он отправил портрет в Салон и получил отказ. Его это не очень огорчило: он ведь всячески убеждал себя наперед, что его работа вряд ли будет принята. Но вот прошло несколько дней, к ним в мастерскую ворвался Фланаган и сообщил, что одна из его картин одобрена жюри. Филип с каменным лицом поздравил его, а Фланаган был поглощен тем, что поздравлял самого себя, и не услышал иронической нотки в его голове. Более наблюдательный Лоусон сразу ее уловил и искоса поглядел на Филипа. Его собственная картина была одобрена, он знал об этом уже дня два, и насмешка Филипа неприятно его кольнула.

Но его удивил неожиданный вопрос, который Филип ему задал, как только американец вышел:

— На моем месте вы небось бросили бы все к черту?

— То есть как это?

— Да вот я все думаю, стоит ли быть посредственным художником. В другой профессии — если вы, например, врач или коммерсант — там не так важно, есть ли у вас талант или нет. Зарабатываете деньги, и ладно. Но стоит ли писать посредственные картины?

Лоусон был очень привязан к Филипу и, поняв, что друг всерьез опечален отказом жюри, принялся его утешать. Кто же не знает, что Салон отказывался от картин, которые потом становились знаменитыми; ведь Филип послал туда свою вещь в первый раз и должен был ожидать неудачи; в успехе Фланагана нет ничего удивительного: его картина эффектна, хоть и очень поверхностна, — это как раз то, что должно нравиться пресыщенным судьям. Филип стал злиться: его обидело, что Лоусон считает его способным всерьез огорчаться из-за такой ерунды и не понимает, что уныние его объясняется неверием в свои силы.

Клаттон в последнее время отдалился от компании, обещавшей у «Гравье», и жил сам по себе. Фланаган уверял, будто он влюблен в какую-то девушку, но суровая внешность Клаттона как-то не вязалась со словом «страсть», и Филип считал куда более вероятным, что он отгородился от друзей для того, чтобы получше продумать те новые идеи, которые у него зародились. Однажды, когда его товарищи сразу же после ужина ушли из ресторана, чтобы попасть в театр, и Филип остался за столиком один, к нему подсел Клаттон и заказал ужин. Они разговорились, и, увидев, что Клаттон сегодня общительнее и добродушнее обычного, Филип решил воспользоваться его хорошим настроением.

— Я бы хотел, чтобы вы поглядели на мою картину, — сказал он. — Мне важно знать, что вы о ней думаете.

— Нет, не стану я глядеть.

— Почему? — краснея, спросил Филип.

Просьба была обычная в их кругу, и никто не подумал бы ответить на нее отказом. Клаттон пожал плечами.

— Люди просят высказать мнение, а ждут только похвалы. Да и какой смысл давать чему-нибудь оценку? Что за важность — хороша или плоха ваша картина?

— Это важно знать мне.

— Неправда. Картины пишут только потому, что не могут не писать. Это такая же функция организма, как и всякая другая, только она присуща далеко не всем людям. Картины пишут для себя; в противном случае надо кончать самоубийством. Вы только вдумайтесь: тратишь Бог знает сколько времени, чтобы выразить что-то на холсте, вкладываешь в это все силы своей души, а чем все это кончается? В девяти случаях из десяти картину не примут в Салон, а если ее и возьмут, посетитель взглянет на нее мимоходом — и только; если вам повезет, ее купит какой-нибудь безграмотный болван, повесит на стенку и перестанет замечать, как свой обеденный стол. Критика не имеет к художнику никакого отношения. Она рассматривает явления искусства объективно, а объективность художника не интересует.

Клаттон прикрыл руками глаза, словно для того, чтобы получше сосредоточиться на том, что он хочет сказать.

— Художник получает свое особое ощущение от видимого мира и не может не выразить его; он сам не понимает, почему это ощущение он выражает при помощи линий и красок. С музыкантом происходит то же самое: стоит ему прочесть несколько строк, как в голове у него возникает комбинация звуков; он не знает, почему те или иные слова вызывают в его воображении те или иные звуки, но это так. И я могу привести вам еще один довод в пользу того, что всякая критика бессмысленна: великий художник заставляет людей видеть природу так, как видит ее он; но приходит следующее поколение, и другой великий художник видит мир уже по-иному, современники же судят о нем не по его законам, а сравнивая его с предшественником. Так, например, барбизонцы¹ учили наших отцов смотреть на деревья определенным образом, а когда появился Моне и стал писать иначе, люди сказали: «Но ведь деревья совсем не такие!» Им было невдомек, что деревья всегда такие, какими предпочел увидеть их художник. Мы рисуем, изнутри приближаясь к внешнему миру; если нам удастся навязать свое видение другим, нас зовут великими художниками; если не удастся, нас не признают, но мы-то сами остаемся такими, как есть. Величие или ничтожество не играет для

¹ Художественное направление во Франции, названное по имени городка, где жили художники Руссо, Милле, Коро и др.

нас никакой роли. Неважно, какая судьба постигнет нашу работу: мы получили от нее все, что она могла нам дать, покуда мы ее делали.

Наступило молчание; Клаттон с волчьим аппетитом поглощал пищу; Филип, куря дешевую сигару, пристально его разглядывал. Грубо высеченная голова, словно из камня, который плохо поддается резцу ваятеля, непокорная копна темных волос, огромный нос и тяжелая линия нижней челюсти — все говорило о силе, и тем не менее Филипу казалось, что за этой внешностью скрывается тайная слабость. Отказ Клаттона показывать свои работы мог быть вызван одним тщеславием: он не терпел и тени критики и не желал подвергать себя риску получить отказ Салона; ему хотелось быть признанным мастером, и он боялся сравнения с другими художниками, которое может нанести удар его самолюбию. За те полтора года, которые Филип его знал, Клаттон стал жестче и злее; отказываясь идти на открытое соревнование со своими товарищами, он тем не менее негодовал, видя легкий успех тех, кто на это решался. Его раздражал Лоусон, и они уже не были в таких близких отношениях, как тогда, когда Филип с ними познакомился.

— За Лоусона нечего бояться, — говорил Клаттон презрительно, — вернется в Англию, станет модным портретистом, будет зарабатывать десять тысяч в год; его выберут в Академию, прежде чем ему стукнет сорок. Оригинальные портреты для знати.

Филипу тоже захотелось заглянуть в будущее, и он увидел Клаттона через двадцать лет — желчного, одинокого, одичавшего и никому не известного; он по-прежнему живет в Париже, потому что это существование стало для него привычным, командует маленьким *sépâcle*¹, который боится его беспощадного, как бич, языка, враждует с самим собой и со всем миром, почти ничего не делает из-за всевозрастающего требования совершенства, которого не может достичь, и в конце концов спивается. Последнее время Филипа грызла мысль, что, раз человеку дана только одна жизнь, ему нужно добиться в ней успеха; но под успехом он подразумевал не деньги, не славу; он еще не очень отчетливо понимал, что это такое — может быть, богатство переживаний или наиболее полное проявление своих способностей.

¹ Кружок последователей одного художественного направления (фр.).

Ему было ясно, что Клаттону суждена жизнь неудачника. Единственным оправданием были бы нетленные шедевры. Он вспомнил причудливое сравнение жизни с персидским ковром, которое как-то привел Кроншоу (Филип часто о нем раздумывал); Кроншоу тогда только улыбнулся своей улыбкой сатира и отказался раскрыть смысл этой метафоры; он сказал, что каждый должен сам понять ее значение, не то она теряет всякий смысл... Вот это желание преуспеть в жизни и рождало у Филипа неуверенность в том, что он должен продолжать свою карьеру художника. Но тут Клаттон заговорил снова:

— Помните, я вам рассказывал о художнике, которого встретил в Бретани? Я видел его на днях здесь... Он собирался ехать на Таити. Ни гроша за душой. Был прежде *brasseur d'affaires*¹, биржевым маклером. Отец семейства, много зарабатывал. Все бросил, чтобы стать художником. Ушел из дома, поселился в Бретани, стал писать. Денег у него не бы-ло, чуть не подох с голоду.

— А что стало с женой и детьми? — спросил Филип.

— Ну, их он тоже бросил. Предоставил подыхать с голоду самостоятельно.

— По-моему, это все-таки подлость.

— Ну, знаете, милый, ежели вы хотите быть рыцарем, вам нельзя быть художником. Одно с другим никак не вяжется. Когда вам рассказывают о человеке, малюющем всякую халтуру, чтобы прокормить престарелую мать, вы понимаете, что он — отличный сын, но это отнюдь не оправдание тому, что он пишет дрянь. Такие люди — торгаши, а не художники. А вот художник предпочтет отправить мать в богадельню. Я знаю одного писателя, он мне рассказывал, как его жена умирала во время родов. Он любил ее и чуть не обезумел от горя, но, когда сидел у ее постели — а она была уже при смерти, — поймал себя на том, что старается запомнить, как жена выглядит и что она говорит и что чувствует он сам. Не очень-то по-рыцарски, а?

— А этот ваш друг — хороший художник? — спросил Филип.

— Нет, пока нет, он пишет совсем как Писарро. Он еще себя не нашел, но у него есть чувство цвета и декоративное чутье. Но дело совсем не в этом. Все дело в художественном

¹ Делягой (фр.).

темпераменте, а он у него настоящий. Он вел себя как последний подлец по отношению к жене и детям, он со всеми ведет себя как подлец; вы бы видели, как он обращается с людьми, которые ему помогают — а ведь иногда только добрые друзья и не давали ему умереть с голоду, — просто ужасно! И тем не менее он великий художник.

Филип раздумывал о человеке, который охотно пожертвовал всем — покоем, домашним очагом, деньгами, любовью, честью, долгом, — ради того, чтобы запечатлеть на холсте красками те ощущения, которые порождал в нем мир. В этом было величие, но у него самого на такой подвиг не хватало отваги.

Вспомнив о Кроншоу, Филип подумал, что не видел его уже целую неделю, и, расставшись с Клаттоном, побрел в кафе, где постоянно бывал писатель. В первые месяцы своего пребывания в Париже он принимал как откровение все, что говорил Кроншоу, но у Филипа был практический склад ума, и ему надоели теории, которые не претворялись в действие. Тоненькая тетрадка стихов Кроншоу не казалась Филипу достойным результатом убого прожитой жизни. Филип не мог избавиться от мещанских представлений того класса, из которого вышел, а нужда, поденщина, которой приходилось заниматься Кроншоу ради того, чтобы как-то существовать, унылая череда дней, проведенных между грязной мансардой и столиком в кафе, казались ему малопочтенными. Кроншоу был достаточно проницателен и понимал, что молодой человек его осуждает; он накидывался на мещанские представления Филипа с иронией, которая порой была шутиливой, но часто ранила не на шутку.

— Вы — по натуре торгаш, — говорил он Филипу, — вы желаете поместить вашу жизнь в ценные бумаги, которые принесут вам верных три процента дохода. Я же расточитель, я трачу основной капитал. И спущу последний пенс вместе с последним дыханием.

Метафора возмутила Филипа, потому что позволяла его собеседнику принять романтическую позу и порочила его собственное отношение к жизни, а Филип интуитивно понимал, что оно вернее, хоть и не мог объяснить его словами.

Но в этот вечер Филипа одолевали сомнения, и ему хотелось поговорить о себе. К счастью, было уже поздно и стопка блюдец возле Кроншоу, обозначававшая число

выпитых рюмок, позволяла надеяться, что писатель готов непредвзято подойти к любому вопросу.

— Интересно, сможете ли вы дать мне один совет? — внезапно спросил его Филип.

— Вы же его все равно не примете.

Филип раздраженно повел плечами:

— Мне кажется, что из меня никогда не выйдет хорошего художника. А посредственностью быть бессмысленно. Вот я и подумываю все это бросить.

— И что же вас останавливает?

Филип секунду поколебался.

— Наверно, мне нравится эта жизнь.

Безучастное круглое лицо Кроншоу вдруг искривилось. Углы рта трагически сжались, глаза помутнели и глубоко ушли в глазницы; он как-то сразу сгорбился и постарел.

— Эта жизнь? — закричал он, оглядывая кафе, где они сидели. Голос его слегка дрожал. — Если вы можете из нее выбраться, спешите, пока не поздно.

Филип смотрел на него с изумлением, но всякое проявление чувств его стесняло, и он опустил глаза. Перед ним была олицетворенная трагедия неудачника. Наступило молчание. Филип понимал, что Кроншоу оглядывает сейчас свою собственную жизнь — молодость с ее радужными надеждами и длинную вереницу разочарований, от которых поблекли все краски, жалкое однообразие наслаждений, беспросветное будущее. Глаза Филипа были прикованы к стопке блюдец, и он знал, что Кроншоу тоже не сводит с нее глаз.

ГЛАВА 51

Прошло два месяца. Филип все еще ломал себе голову над тем же вопросом, и ему казалось, что в душе настоящего художника, писателя, музыканта живет какая-то сила, которая заставляет их целиком погрузиться в творчество и тем самым подчинить жизнь искусству. Покоряясь этой силе, они даже не отдают себе отчета в том, что ими движет слепой инстинкт, а жизнь течет мимо, проходит у них между пальцев. Но у Филипа было такое чувство, что жизнь куда лучше прожить, чем отобразить; ему хотелось пройти через самые различные испытания и прочувствовать каждый миг бытия. Наконец он отважился на решительный

шаг, дав себе слово потом уж не отступать, а приняв решение, немедленно стал проводить его в жизнь. На другое утро в школе были занятия Фуане, и Филип решил спросить его напрямик, стоит ли ему заниматься живописью. Филип на всю жизнь запомнил безжалостный совет, который мэтр дал Фанни Прайс. Совет был правильный. Филип никак не мог забыть Фанни. В студии без нее чего-то не хватало, и по временам жест какой-нибудь из женщин или чья-то интонация заставляли Филипа вздрогнуть, напомнив покойную; ее присутствие куда больше чувствовалось теперь, когда она умерла, чем при жизни; она часто снилась ему по ночам, и он просыпался с криком. Ужасно было подумать, сколько ей пришлось выстрадать.

Филип знал, что в те дни, когда Фуане дает урок в студии, он обедает в маленьком ресторанчике на рю d'Odessa, и поэтому, быстро проглотив свой обед, побежал к этому ресторанчику, чтобы дожидаться художника у входа. Шагая взад-вперед по людной улице, Филип наконец увидел месье Фуане, который шел ему на встречу, понуриив голову. Филип страшно нервничал, но заставил себя к нему подойти.

— Pardon, monsieur¹, мне нужно с вами поговорить.

Фуане кинул на него быстрый взгляд, узнал его, но и не подумал улыбнуться в ответ.

— Говорите, — сказал он.

— Я у вас занимаюсь почти два года. Мне хотелось, чтобы вы мне откровенно сказали, стоит ли мне продолжать учиться.

Голос Филипа чуть-чуть дрожал. Фуане продолжал идти, не поднимая глаз. Филип вглядывался в его лицо, но оно было по-прежнему бесстрастно.

— Не понимаю.

— Я очень беден. Если у меня нет таланта, лучше мне заняться чем-нибудь другим.

— А вы сами разве не знаете, есть ли у вас талант?

— Все мои друзья уверены, что у них есть талант, но я убежден, что кое-кто из них ошибается.

На жестких губах Фуане появилось нечто вроде улыбки. Он спросил:

— Вы живете недалеко?

Филип сказал, где находится его мастерская. Фуане повернул обратно.

¹ Извините, месье (фр.).

— Пойдемте к вам. Покажете мне свои работы.

— Сейчас? — воскликнул Филип.

— А зачем откладывать?

Филипу нечего было ответить. Он молча шел рядом с мэтром. На душе у него скребли кошки. Ему и в голову не приходило, что Фуане сразу же захочет посмотреть его вещи; он рассчитывал, что сумеет подготовиться, попросит мэтра зайти как-нибудь в свободное время или разрешить принести работы к нему в мастерскую. Он дрожал от волнения. В глубине души Филип все-таки надеялся, что Фуане взглянет на его картины, сумрачное лицо его просветлеет, он пожмет Филипу руку и скажет: «*Pas mal!*¹ Продолжайте, молодой человек. У вас есть талант, настоящий талант!» Фу! Вот бы отлегло от сердца. Он бы ног не чуял от радости. Тогда у него хватит отваги, тогда ему не страшны любые трудности, любые лишения, неудачи. Ведь в конце-то концов он своего добьется. Он работает с таким упорством, было бы жестоко, если бы все эти усилия пропали даром. И вдруг, похолодев, он вспомнил, что Фанни Прайс говорила ему буквально то же самое. Они подошли к дому, и Филипа охватил панический страх. Если бы он посмел, он тут же попросил бы Фуане уйти. Он не хотел знать правду. Они вошли в парадное, и консьержка протянула ему письмо. Взглянув на конверт, он узнал почерк дяди. Фуане поднялся в мастерскую. Филип никак не мог выдавить из себя ни слова; Фуане тоже словно онемел, и это молчание еще больше действовало Филипу на нервы. Профессор сел, и Филип, не говоря ни слова, поставил перед ним картину, отвергнутую Салоном; Фуане кивнул, ничего не сказав; тогда Филип показал ему два портрета, которые он написал с Рут Чэлис, два или три пейзажа, привезенных из Морэ, и несколько набросков.

— Вот и все, — сказал он наконец с нервным смешком.

Мосье Фуане свернул сигарету и закурил.

— У вас нет средств?

— Очень небольшие, — ответил Филип, чувствуя, как у него леденеет сердце. — На них не проживешь.

— До чего же унизительно вечно думать о том, как прожить! Мне противны люди, которые презирают деньги. Это либо лицемеры, либо дураки. Деньги — это шестое

¹ Неплохо! (фр.).

чувство, без него вы не можете как следует пользоваться остальными пятью. Не имея приличного заработка, вы лишены половины того, что дает жизнь. Единственное, чего нельзя себе позволять, — это тратить больше, чем зарабатываешь. Люди говорят, будто нужда — это шпора, которая подгоняет художника. Тот, кто так говорит, никогда не чувствовал, как острое железо впивается в тело. Он не знает, как нужда растлевает душу... Она подвергает бесчисленным унижениям, подрезает крылья, как язва, въедается в сердце. Не нужно богатства, но дайте же человеку столько, чтобы он мог сохранить свое достоинство, творить без помехи, быть щедрым, великодушным и независимым. Я от души жалею художника — пишет ли он книги или картины, — если его существование целиком зависит от его творчества.

Филип молча убрал свои работы.

— Если я вас понял, вы хотите сказать, что мне не стоит рассчитывать на успех?

Мосье Фуане чуть приметно пожал плечами.

— У вас есть сноровка. Упорный труд и настойчивость, надо думать, сделают вас аккуратным и в меру умелым художником. На свете были сотни художников, писавших хуже вас, и сотни художников ничем вас не лучше. Во всем, что вы мне показали, я не вижу таланта. В вашей работе видны ум и прилежание. Вы всегда останетесь только посредственностью.

Филип заставил себя ответить твердым голосом:

— Большое вам спасибо за то, что вы уделили мне столько внимания. Я вам страшно благодарен!

Мосье Фуане встал и собрался было уйти, но передумал и, остановившись, положил руку Филипу на плечо.

— Если бы вы спросили моего совета, я бы вам сказал: соберитесь с духом и попытайте счастья на другом поприще. То, что я говорю, звучит жестоко, но, поверьте, я отдал бы все на свете, если бы кто-нибудь дал мне такой совет, когда мне было столько лет, сколько вам, и я бы этот совет принял.

Филип взглянул на него с изумлением. Мэтр через силу улыбнулся, но глаза его по-прежнему были грустными.

— Больно убедиться в своей посредственности, когда уже слишком поздно. Характер от этого лучше не становится.

Он произнес эти слова со смешком и быстро вышел из комнаты.

Филип машинально взял письмо дяди. Видя, что конверт надписан его рукой, он встревожился: ему всегда писала тетка. Она хворала уже три месяца, и Филип собирался поехать в Англию ее навестить, но она, боясь помешать его занятиям, ему запретила. Ей не хотелось доставлять ему лишние хлопоты; она писала, что подождет его приезда в августе, и тогда, она надеется, Филип сможет погостить у них недели три. Если, не дай Бог, ей станет хуже, она тут же даст ему знать — разве она может умереть, не повидав его напоследок! Письмо дяди могло означать только одно: тетя Луиза была слишком больна, чтобы держать перо в руках. Филип распечатал письмо и прочел:

«Дорогой Филип!

С прискорбием извещаю тебя, что сегодня рано утром твоя дорогая тетя покинула сей мир. Умерла она внезапно, но без всяких страданий. Ухудшение в ее здоровье произошло так быстро, что мы не успели за тобою послать. Она была подготовлена к кончине и отошла в иной мир с глубокой уверенностью, что ее ждет радостное воскресение, и покорным упованием на божественный промысел Господа нашего Иисуса Христа. Твоя тетя очень бы хотела, чтобы ты присутствовал при ее погребении, и я надеюсь, что ты сразу же приедешь. На мои плечи, как ты сам понимаешь, свалилось много забот, и я очень расстроен. Рассчитываю, что ты сможешь мне помочь.

Твой любящий дядя *Уильям Кэри*»

ГЛАВА 52

На следующий день Филип приехал в Блэкстебл. Со смерти матери он не терял никого из близких; кончина тетки потрясла его и наполнила душу каким-то страхом — он впервые почувствовал неизбежность смерти. Ему трудно было себе представить, каково теперь дяде, потерявшему верного друга, который любил и холил его сорок лет. Он ждал, что найдет священника в безысходном горе. Филипа пугала их встреча: он знал, что ему нечего сказать в утешение. Всю дорогу он придумывал подходящую к случаю речь.

Филип вошел в дом священника с черного хода и отворил дверь в столовую. Дядя Уильям читал газету.

— Поезд опоздал? — спросил он, поднимая голову.

Филип ожидал излияния чувств, и такой деловой тон его поразил. Подавленный, но спокойный, дядя протянул ему газету.

— Тут о ней помещена очень маленькая заметка. Это «Блэкстебл таймс», — сказал он.

Филип машинально прочел заметку.

— Хочешь поглядеть на нее?

Филип кивнул, и они вместе отправились наверх. Тетя Луиза лежала на двуспальной кровати, со всех сторон окруженная цветами.

— Хочешь немножко помолиться? — опять спросил священник.

Он опустился на колени, и Филип, понимая, что должен последовать его примеру, сделал то же. Он глядел на маленькое, сморщенное личико. Голову его сверлила мысль: какая зря загубленная жизнь! Минуту спустя мистер Кэри кашлянул и поднялся. Он показал Филипу венок в ногах у покойницы.

— Это от нашего помещика. — Говорил он приглушенным голосом, как в церкви, но, так как был священником, это его ничуть не стесняло. — Чай, наверно, готов.

Они снова пошли в столовую. Спущенные шторы придавали комнате траурный вид. Священник сел у того конца стола, где раньше сидела его жена, и стал церемонно разливать чай. Филипу казалось, что ни ему, ни дяде кусок не полезет в горло, но, когда увидел, с каким аппетитом закусывает священник, и сам охотно принялся за еду. Некоторое время оба молчали. Филип с убитым видом, которого требовали приличия, жевал кусок отличного кекса.

— Сколько произошло перемен с тех пор, как я был помощником священника, — сказал дядя Уильям. — В прежние дни участникам погребения выдавали пару черных перчаток и кусок черного крепа на шляпу. Бедняжка Луиза всегда шила из этого шелка платья. Она говорила, что двенадцати похорон ей хватит на платье.

Потом он перечислил, кто прислал венки, — их получено уже двадцать четыре! Когда умерла миссис Роулингсон — жена священника из Ферна, — у нее было тридцать два венка; но, вероятно, многие еще пришлют венки завтра; похороны назначены на одиннадцать часов, вынос тела отсюда, из дома священника, и они без труда переплюнут миссис Роулингсон. Луиза всегда недолюбливала эту миссис Роулингсон.

— Я сам отслужу погребальную службу. Я обещал Луизе, что не дам никому другому ее хоронить.

Когда дядя взял второй кусок кекса, Филип посмотрел на него неодобрительно: в нынешних обстоятельствах это было просто обжорством.

— Мэри-Энн все-таки отлично печет пироги! Боюсь, что новой служанке с ней не сравниться.

— Новой? А разве Мэри-Энн уходит? — с изумлением воскликнул Филип.

Мэри-Энн жила в доме священника с тех пор, как Филип себя помнил. Она никогда не забывала его дня рождения и посылала ему подарки — пустяковые, но трогательные. Филип был к ней по-настоящему привязан.

— Да, — ответил мистер Кэри. — Я считаю неприличным держать в доме незамужнюю женщину.

— Но, Господи прости, ей уже, наверно, за сорок!

— Не меньше. Последнее время мне с ней было тяжело, она зазналась, взяла слишком большую власть. Мне кажется, что это удобный случай дать ей расчет.

— Да, такой случай больше не подвернется, — сказал Филип.

Он вынул сигарету, но дядя не позволил ему закурить.

— Прощу тебя, после похорон, Филип, — сказал дядя мягко.

— Ладно.

— Нехорошо курить, пока наверху лежит твоя бедная тетя.

После похорон священник пригласил на обед церковного старосту и директора местного банка Джозию Грейвса. Шторы были подняты, и, помимо своей воли, Филип почувствовал какое-то облегчение. Присутствие покойницы в доме его угнетало; пока она жила, бедняжка была олицетворением доброты и кротости; но там, наверху, она лежала такой неживой и застывшей, что казалось, будто от нее исходит какой-то тлетворный дух.

Эта мысль ужаснула Филипа.

На несколько минут он остался вдвоем с церковным старостой.

— Надеюсь, вы сумеете немножко побыть с вашим дядей, — сказал тот. — Его пока не следует оставлять одного.

— Мне самому еще неясно, что я буду делать дальше, — сказал Филип. — Если он захочет, я с радостью останусь.

За обедом, желая развлечь безутешного вдовца, церковный староста рассказал о недавнем пожаре в Блэкстебле, от которого сильно пострадала методистская церковь.

— Говорят, она не была застрахована, — с довольной улыбкой заметил староста.

— Им все равно, — сказал священник. — Достанут денег и отстроятся. Методистская паства охотно дает деньги.

— Я заметил, что Холден послал венок.

Холден был неконформистский священник, и, хотя, памятуя о Господе нашем Иисусе Христе, распятом за них обоих, мистер Кэри и кивал ему на улице, никогда еще он не обмолвился с ним ни единым словом.

— Я считаю его поступок бестактным, — заявил он. — Нам прислали сорок один венок. Ваш был очень красивый. Нам с Филипом он чрезвычайно понравился.

— Рад, что угодил, — скромно заметил директор банка.

Он с удовлетворением отметил, что его венок был больше других. И весьма эффектно выглядел. Потом разговор зашел о людях, пришедших на похороны. Во время погребения магазины были закрыты, и церковный староста достал из кармана специально напечатанное объявление: «По случаю похорон миссис Кэри торговля будет производиться после часу дня».

— Это я придумал, — сказал староста.

— С их стороны было очень любезно закрыть лавки, — сказал священник. — Бедняжка Луиза была бы крайне тронута.

Филип молча ел. Мэри-Энн приравняла этот день к воскресному, и на обед были поданы жареная курица и пирог с крыжовником.

— Вы еще не решили насчет памятника? — спросил церковный староста.

— Как же! Я склоняюсь к простому кресту из камня. Луиза не любила ничего кричащего.

— Да, крест — это, пожалуй, лучше всего. А вот как ваше мнение насчет такой надписи: «В лоне Христовом — где же лучше?»

Священник поджал губы. Ну прямо Бисмарк, так и норовит все решить сам. Текст ему не нравился: он явно бросал тень на него как на супруга.

— Нет, не думаю, чтобы я сделал такую надпись. Мне куда больше нравится: «Господь дал, Господь и взял».

— Неужели? В этих словах я всегда чувствую какую-то черствость.

Грейвс возразил, как показалось мистеру Кэри, с неподобающей самоуверенностью. Да, видно, дело зашло далеко, если он не может сам выбрать надпись на могиле собственной жены. Воцарилось молчание, потом заговорили о приходских делах. Филипп вышел в сад, чтобы выкурить трубку. Он сел на скамью и вдруг истерически захохотал.

Дня через два дядя выразил надежду, что Филипп проведет с ним несколько недель в Блэкстебле.

— С удовольствием, — ответил Филипп.

— Не беда, если ты вернешься в Париж в сентябре.

Филипп промолчал. Он все время раздумывал над тем, что ему сказал Фуане, но, ничего еще не решив, не хотел говорить о будущем. Если он пожертвует искусством потому, что не верит в свою способность достичь в нем совершенства, в этом будет даже нечто благородное, но — увы! — это понимает он один; другие же сочтут его поступок признанием неудачи, а ему не хотелось расписываться в своем поражении. Он был упрям, и всякий разговор о том, что у него к чему-то нет таланта, толкал его идти наперекор и упорствовать именно в том, от чего его предостерегали. Ему было нестерпимо думать, что друзья будут над ним смеяться. Это могло бы помешать ему сделать решительный шаг и бросить учиться живописи, однако новая обстановка заставила его по-новому взглянуть на вещи. Стоило ему, как и многим другим, пересечь Ла-Манш, и обстоятельства, казавшиеся крайне важными, вдруг начинали выглядеть пустяковыми. Жизнь, которая там казалась ему такой заманчивой, вдруг перестала его тешить; его охватило отвращение к кафе, к ресторанам с их тошнотворной едой, ко всему непрезентабельному парижскому существованию. Его больше не заботило, что подумают о нем друзья — резонерствующий Кроншоу, благопристойная миссис Оттер, ломака Рут Чэлис, грызущиеся друг с другом Лоусон и Клаттон — все они вдруг стали ему противны. Он написал Лоусону и попросил прислать все его вещи. Через неделю они прибыли. Когда Филипп распаковал свои холсты, он поглядел на них уже без всякого волнения. Такое равнодушие его даже удивило. Дяде не терпелось взглянуть на картины племянника. Хотя вначале он и порицал желание Филиппа поехать в Париж, теперь он стал отно-

ситься к этому терпимо. Его интересовало, как живут студенты, и он постоянно расспрашивал о них Филипа. По правде говоря, он чуточку гордился тем, что его племянник — художник, и в присутствии посторонних всегда заводил об этом разговор. Он жадно рассматривал этюды, которые Филип писал с натурщиц. Филип показал ему портрет Мигеля Ахурии.

— А зачем ты его рисовал? — спросил дядя.

— Мне нужно было писать с натуры, а лицо его мне показалось интересным.

— Тебе все равно здесь делать нечего, почему бы тебе не написать мой портрет?

— Да тебе же будет скучно позировать.

— Нисколько. Наоборот.

— Ладно, посмотрим.

Филипа забавляло его тщеславие. Дядя не мог скрыть, что ему до смерти хочется, чтобы с него писали портрет. Получить что-нибудь даром — от такой возможности не отказываются. Дня два он ограничивался туманными намеками. Он журил Филипа за лень, допытывался, когда же он начнет работать, а потом стал рассказывать всем и каждому, что Филип собирается его рисовать. Наконец в первый же дождливый день мистер Кэри после завтрака заявил племяннику:

— А что, если тебе сегодня с утра начать мой портрет?

Филип отложил книгу, которую читал, и откинулся в кресле.

— Я бросил живопись, — сказал он.

— То есть как? — спросил дядя, не веря своим ушам.

— Не вижу смысла быть посредственным художником, а выходит, что на большее мне рассчитывать нечего.

— Вот тебе раз! А ведь, отправляясь в Париж, ты был твердо уверен, что ты гений.

— Я ошибался.

— Мне лично кажется, что, когда человек выбирает профессию, ему должно быть стыдно ее бросать! По-моему, тебе просто не хватает упорства.

Филипа даже обидело, что дядя не замечает, сколько героизма в его отречении!

— Кто за все берется, тому ничего не удастся, — продолжал наставлять его священник. Филип ненавидел эту поговорку: она казалась ему бессмысленной. Дядя не раз ее

повторял, когда у них шли разговоры о том, что он хочет бросить бухгалтерию. Вот и сейчас пословица напомнила опекуну о тех временах.

— Ты уже не мальчик, пора бы и уюмониться. Сначала выдумал, что хочешь стать присяжным бухгалтером, потом тебе это надоело, и ты захотел стать художником. А теперь вот, пожалуйста, опять передумал. Все это указывает на...

Он запнулся, решая, о каких недостатках это в самом деле свидетельствует, но Филип за него dokonчил фразу.

— ...отсутствие силы воли и способностей, недостаток предусмотрительности и мягкотелость.

Священник быстро взглянул на Филипа, чтобы проверить, не смеется ли тот над ним. Лицо у племянника было серьезное, однако в глазах пряталась какая-то подозрительная усмешка. Право же, Филипу не мешает стать чуть-чуть солиднее. Мистер Кэри решил, что неплохо было бы слегка отрезвить молодого человека.

— Твои денежные дела больше меня не касаются. Ты теперь сам себе хозяин; однако имей в виду, что на весь век денег твоих не хватит, а физическое убожество, с которым ты, к несчастью, родился, отнюдь не поможет тебе зарабатывать на жизнь.

Филип уже знал, что, когда люди на него сердятся, они прежде всего напоминают ему о его хромоте. И неприязнь его к человечеству основывалась на том, что почти никто не мог устоять перед этим искушением. Но он приучил себя не показывать виду, что такой разговор причиняет ему боль. Теперь он умел бороться даже со своей привычкой густо краснеть, которая доставляла ему такие огорчения в детстве.

— Как ты справедливо заметил, — ответил он, — мои денежные дела не имеют к тебе никакого касательства — я сам себе хозяин.

— Но ты должен признать, что я был прав, когда всячески сопротивлялся твоей затее учиться живописи.

— Да как сказать! Человек куда больше учится на ошибках, которые он делает по собственной воле, чем на правильных поступках, совершенных по чужой указке. Но теперь я пожил всласть и могу взяться за настоящее дело.

— И что же ты намерен делать?

Филип не знал, что ответить: ведь он еще сам как следует ничего не решил. На ум ему приходили десятки профессий.

— Самое подходящее для тебя — это пойти по стопам отца и стать врачом.

— Как ни странно, но именно так я и намерен поступить.

В числе других профессий он подумывал и о медицине, главным образом потому, что это занятие давало человеку свободу, а посидев в конторе, он решил никогда и ни под каким видом не повторять этого опыта; ответил же он священнику просто сгоряча. Однако ему чем-то понравилось, что он вот так, с маху принял решение, и он тут же сказал себе, что осенью поступит в институт, где учился его отец.

— Итак, два года, проведенные в Париже, можно сказать, пошли прахом?

— Не думаю. Я славно прожил эти два года и научился кое-каким полезным вещам.

— Чему?

Филип задумался. Ему захотелось поддразнить дядю.

— Научился смотреть человеку на руки, чего никогда раньше не делал. Стал видеть не просто дома и деревья, а замечать, как они выглядят на фоне неба. И еще научился тому, что тени — не черные, а цветные.

— Думаешь, это остроумно? Я нахожу твое легкомыслие совершенно идиотским!

ГЛАВА 53

Захватив газету, мистер Кэри удалился в свой кабинет. Филип пересел в кресло дяди (единственное удобное в комнате) и посмотрел в окно на завесу проливного дождя. Даже в эту унылую погоду зеленые поля, тянувшиеся до горизонта, дышали покоем. Во всей природе была какая-то душевность, очарование, которых он прежде не замечал. Два года, проведенные во Франции, открыли ему глаза на красоту родного пейзажа.

Филип с улыбкой подумал о негодовании дяди. Какое счастье, что он родился с ироническим складом ума. Он уже стал понимать, чего он лишился из-за того, что смерть так рано унесла его отца с матерью. Это несчастье раз и навсегда исковеркало его отношение к жизни. Родительская любовь — единственное бескорыстное чувство на свете. Он вырос среди чужих и редко встречал сердечное и чуткое к себе отношение. Он стал рано гордиться своим самооблада-

нием. Оно было воспитано издевательствами одноклассников. И они же потом называли его черствым и бессердечным. Он научился сохранять внешнее спокойствие, владеть собой при любых обстоятельствах, не выставлять напоказ своих переживаний. Люди считали его бесчувственным, но он-то знал, что целиком находится во власти своих чувств: малейшее внимание, которое ему оказывали, так его трогало, что порой он не решался заговорить, боясь, что голос у него задрожит. Он вспоминал горечь своих школьных лет, унижения, которым подвергался, злые насмешки товарищей, внушившие ему болезненную мнительность; он вспоминал щемящее чувство одиночества, которое испытал потом, разочарования, отчаяние — мир, в который он вошел, сулил его богатой фантазии одно, а на деле получалось совсем другое. И все-таки он умел смотреть на себя со стороны с иронической улыбкой.

«Ей-Богу, если бы не мое легкомыслие, я бы повесился», — весело подумал он.

Он вспомнил ответ, который дал дяде на вопрос, чему он научился в Париже. Он научился там куда большему, чем сказал. В памяти его сохранились разговор с Кроншоу и брошенная им фраза, хоть и не блиставшая новизной, но заставившая Филипа задуматься.

— Милый друг, — заметил Кроншоу, — такой штуки, как абстрактная мораль, вообще не существует.

Когда Филип перестал верить в Бога, он почувствовал, что скинул с плеч тяжелое бремя; избавившись от чувства ответственности, которое отягощало каждый его поступок — ибо теперь от этого поступка не зависело спасение его бессмертной души, — он испытал блаженное чувство свободы. Но он понял, что это — только иллюзия. Отринув веру, в которой он был воспитан, он сохранил нетронутой ее неотъемлемую часть — мораль. Отныне он решил додумываться до всего сам. Он больше не будет рабом предрассудков. Долой узаконенные представления о добродетели и пороке, о добре и зле — он сам установит для себя жизненные правила. Да и нужны ли какие-нибудь правила вообще? Это еще следовало выяснить. Многое, что он почитал, явно имело цену только потому, что было привито ему с детства. Он прочел немало книг, но и они ему не помогли: ведь книги тоже основывались на христианской морали; даже те писатели, которые твердили, будто не верят в Бога,

не успокаивались, пока не выдумывали своей этической системы, во всем согласной с нагорной проповедью. Вряд ли стоило одолевать толстый фолиант, чтобы узнать в конце простую истину: поступай так, как поступают другие. Филипу нужно было знать, как себя вести, и он надеялся это выяснить, не поддаваясь чужим влияниям. Но жизнь шла своим чередом, и пока он не установил собственных правил поведения, он дал себе совет: «Следуй своим естественным наклонностям, но с должной оглядкой на полицейского за углом».

Самым ценным своим парижским приобретением он считал полную свободу духа; он чувствовал наконец, что с него спали все оковы. Без всякой системы он прочел много книг по философии и теперь с удовольствием думал о том, что ему предстоит несколько месяцев досуга. Он принимался читать, все, что попадалось под руку. За каждое новое философское учение он брался с жадностью, надеясь найти в нем руководство в жизни; он чувствовал себя путником в неведомой стране, и чем дальше он продвигался вперед, тем больше захватывало его путешествие; он читал труды философов с таким же волнением, с каким другие читают романы: сердце его билось, когда в этих стройных формулах он находил подтверждение своим смутным догадкам. У него был практический ум, и он с трудом разбирался в отвлеченных вопросах, но, даже когда он не мог уследить за рассуждениями автора, ему доставляло удовольствие следить за сложным ходом мысли, ловко балансирующей на самой грани постижимого. Иногда и великие философы не могли ответить ему на то, что его мучило, а к некоторым из них он чувствовал духовную близость. Он сравнивал себя с исследователем Африки, который неожиданно попал на обширное плоскогорье, покрытое высокими деревьями и зелеными лужайками, и вообразил, что находится в английском парке. Его восхищала здравая рассудительность Томаса Гоббса; Спиноза приводил его в восторг: никогда еще он не встречал такого благородного, возвышенного и строгого ума, он напоминал Филипу статую Родена «L'Age d'airain»¹, которой он всегда восхищался; познакомился он и с Юмом: его изящный скептицизм был близок Филипу, особенно же наслаждался он прозрачным слогом, таким размеренным

¹ «Бронзовый век» (фр.).

и музыкальным; самые сложные понятия были выражены простыми словами. Филип читал его труд как роман, улыбаясь от удовольствия. Но ни у одного из них он не находил того, что искал. Где-то он прочел, что каждый человек рождается платоником, последователем Аристотеля, стоиком или эпикурейцем; история философии Джорджа-Генри Льюиса (если пренебречь его утверждением, что всякая философия — это бред) показывает, что образ мыслей философа неотделим от его характера. Зная человека, можно в какой-то мере представить себе и его философию. Итак, не поступки — следствие образа мыслей, а образ мыслей — следствие характера. Истина тут ни при чем. Истина вообще не существует. Каждый человек сам себе философ, и сложные системы, придуманные знаменитыми философами прошлого, годятся разве что для писателей.

Задача заключается, следовательно, в том, чтобы изучить себя, и тогда философская система возникнет сама собой. Филипу казалось важным уяснить себе три вопроса; отношение человека к миру, в котором он живет, и, наконец, отношение человека к самому себе. Он составил подробный план занятий.

Преимущество жизни за границей заключается в том, что, соприкасаясь с обычаями и нравами чужого народа, ты наблюдаешь их со стороны и видишь, что они вовсе не так уж непреложны, как думают те, кто их придерживается. Трудно не заметить, что многие представления, которые вошли в твою плоть и кровь, иностранцам кажутся бессмысленными. Год в Германии и долгое пребывание в Париже подготовили Филипа к восприятию той философии скептицизма, которую он усвоил с огромным облегчением. Он понял, что добро и зло — понятия относительные, и люди просто приспособливают эти понятия к своим целям. Он прочел «Происхождение видов» Дарвина. Этот труд дал ему ответ на многие волновавшие его вопросы. Он чувствовал себя теперь как путешественник, который, рассчитывая встретить на своем пути тот или иной ландшафт, плывет вверх по большой реке и находит все, что он ожидал: тут — приток, там — плодородную долину, а за нею — горы. Когда великое открытие уже сделано, мир удивляется, как его не признали сразу, но даже на тех, кто поверил в новую истину, она поначалу не оказывает существенного влияния. Первые читатели «Происхождения видов» умом

признали этот труд, но их чувства, определяющие человеческие поступки, не были затронуты. Филип родился на несколько десятилетий позднее, чем вышла в свет эта замечательная книга; многое из того, что ужасало в ней современников, постепенно вошло в сознание, и он уже мог принять ее с легким сердцем.

Великая эпопея борьбы за существование произвела на него глубочайшее впечатление, а обусловленные этой борьбой законы морали совпадали с его собственными взглядами. Он говорил себе, что право всегда на стороне сильного. По одну сторону стояло общество со своими законами развития и самосохранения, по другую — человеческая личность. Поступки, которые шли на пользу обществу, назывались добродетельными, действия, которые шли ему во вред, именовались порочными. Вот к этому и сводились понятия добра и зла. Грех — пустой предрассудок, от которого свободному человеку пора избавиться. В борьбе с человеческой личностью общество пускает в ход три оружия: закон, общественное мнение и совесть; закон и общественное мнение можно перехитрить (ведь только хитростью слабый и одолеет сильного, недаром людская молва считает: не пойман — не вор), но совесть — предатель в собственном стане. Она сражается в человеческой душе на стороне общества и заставляет личность приносить себя в жертву на алтарь противника. Ибо этих недругов — государство и осознавшего себя человека — примирить невозможно. Государство пользуется человеческой личностью для своих целей; если личность восстает против него, государство ее растаптывает; если же она добросовестно служит, — награждает медалями, пенсией и почестями. Личность, сильная только верой в свою независимость, прокладывает себе дорогу в государстве, потому что ей это удобно, и расплачивается деньгами или службой за предоставляемые ей блага, но отнюдь не чувствует себя обязанной за это; равнодушная к наградам, она требует одного: чтобы ее оставили в покое. Это тот путешественник, который, избегая лишних хлопот, пользуется услугами агентства Кука, но с иронией относится к его экскурсиям. Свободный человек не может никому причинять вреда. Он делает, что хочет... если может. Его сила — вот единственное мерило его нравственности. Признавая законы современного государства, он нарушает их, не считая, что совершил грех,

зато и положенную кару принимает как нечто должное. Ведь настоящая сила на стороне государства.

Но, если для человеческой личности понятия добра и зла не существуют, тогда, подумал Филип, теряет власть над ней и совесть. С торжеством схватил он этого мошенника и выгнал из своего сердца. Однако в чем смысл жизни, он понимал теперь не больше, чем раньше. Зачем создан мир, для чего живут люди на земле, было для него так же неясно, как и прежде. Есть же во всем этом какой-то смысл! Филип вспомнил притчу Кроншоу о персидском ковре. Тот предложил ее как разгадку смысла жизни, но тут же таинственно заявил, что каждый должен распутать этот узел сам.

— Черт его знает, что он хотел сказать, — улыбнулся Филип.

И вот в последний день сентября, горя желанием поскорее проверить на деле свои новые теории, Филип с тысячью шестьюстами фунтами стерлингов в кармане и хромой ногой вторично отправился в Лондон, чтобы в третий раз начать жизнь сначала.

ГЛАВА 54

Экзамены, которые Филип сдал, собираясь стать присяжным бухгалтером, зачили ему при поступлении в медицинский институт. Он выбрал институт при больнице Святого Луки — когда-то здесь учился его отец — и еще до конца летней сессии приехал на день в Лондон для переговоров с секретарем института. От него же он получил список квартир, сдаваемых студентам, и снял себе жилье в ветхом доме, имевшем лишь то преимущество, что от него было две минуты ходьбы до больницы.

— Вам надо договориться о том, какую часть тела вы начнете анатомировать, — сказал секретарь. — Лучше начать с ноги. С нее обычно все начинают, считается, что так легче.

Первая лекция — по анатомии — была назначена в одиннадцать; в половине одиннадцатого Филип заковылял через дорогу и с волнением вошел в институт. В вестибюле были развешаны объявления: расписание лекций, таблица футбольных матчей и другие; он стал их читать, стараясь принять независимый вид. Молодые люди и совсем еще мальчики появлялись в дверях, рылись в письмах на полке

и, болтая друг с другом, спускались вниз в подвальный этаж, где помещалась студенческая читальня. Несколько парнишек с робким видом топтались на месте, и Филип понял, что это такие же новички, как и он. Изучив все объявления, он заметил стеклянную дверь, которая вела в музейный зал, и заглянул туда. Он увидел коллекцию патологоанатомических препаратов. К нему подошел юноша лет восемнадцати.

— Вы что, новичок? — спросил он.

— Да, — ответил Филип.

— Не знаете, где здесь лекционный зал? Скоро одиннадцать.

— Давайте поищем.

Они вошли в длинный темный коридор, стены которого были покрашены в красный цвет двух оттенков, и спросили дорогу. Надпись на одной из дверей гласила: «Анатомический театр». Там уже собралось много народу. Сиденья были расположены амфитеатром; вошел служитель и поставил стакан воды на кафедру внизу, посреди аудитории; потом он принес человеческий таз и две большие берцовые кости — левую и правую. Подошли еще студенты, расселись — к одиннадцати зал был почти полон. Собралось около шестидесяти человек. В большинстве своем студенты были много моложе Филипа — безбородые восемнадцатилетние юноши, но пришли люди и постарше; он заметил высокого человека с ярко-рыжими усами, которому можно было дать лет тридцать; другой — маленький, черноволосый — выглядел чуть моложе его; был тут и человек в очках, с седой бородой.

Вошел лектор — мистер Камерон, красивый, с правильными чертами лица и совершенно белой головой. Он сделал переключку и произнес небольшую речь. Говорил он складно, звучным голосом — казалось, ему доставляет удовольствие нанизывать одно слово на другое. Он посоветовал студентам приобрести несколько книг и купить скелет. Об анатомии он говорил восторженно: это важнейший предмет при изучении хирургии, к тому же знакомство с ней помогает понимать живопись. Филип наострил уши. Позднее он узнал, что мистер Камерон читает лекции студентам Королевской академии художеств. Он прожил много лет в Японии, преподавал в Токийском университете и гордился своим художественным вкусом.

— Вам придется заучивать множество скучных вещей, — закончил он со снисходительной улыбкой, — вы забудете их в тот день, когда сдадите выпускные экзамены, но в анатомии лучше выучить и позабыть, чем не учить вовсе.

Взяв со стола тазовую кость, он приступил к ее описанию. Объяснял он живо и понятно.

После лекции молодой человек, заговоривший с Филипом в музее, предложил ему пойти посмотреть анатомичку. Они снова стали плутать по коридорам, пока один из служителей не показал им дорогу. Как только они вошли, Филип понял, откуда идет острый запах, который он почувствовал еще снаружи. Он закурил трубку.

— Ничего, скоро привыкнете к вони, — коротко рассмеялся служитель. — Я уже вовсе не замечаю.

Он спросил у Филипа его фамилию и посмотрел висевший на доске список.

— У вас нога, номер четвертый.

Филип увидел под тем же номером еще одну фамилию.

— А это что? — спросил он.

— У нас сейчас маловато трупов. Пришлось расписать по два человека на каждую часть тела.

Анатомичка — большая комната, выкрашенная, как и коридор, в два цвета (верхняя часть в густо-палевый, панель — в темно-кирпичный), была во всю длину через равные промежутки уставлена железными столами с ложбинками посередине; на каждом лежал труп. В основном это были мужчины. Они сильно потемнели от формалина, в котором хранились, кожа была как дубленая. Все мертвецы были очень тощие. Служитель подвел Филипа к одному из столов. Возле него уже стоял какой-то юноша.

— Вас зовут Кэри? — спросил он.

— Да.

— Ну, значит, вот наша с вами нога. Нам повезло — это мужчина.

— Почему повезло? — спросил Филип.

— Все предпочитают мужчин, — вставил служитель. — Женщины чересчур обрастают жиром.

Филип поглядел на труп. Руки и ноги были как плети, а ребра туго обтянуты кожей. Это был мужчина лет сорока пяти с жидкой седой бородкой и редкими бесцветными волосами; глаза были закрыты, нижняя челюсть запала. Филип не мог себе представить, что когда-то этот труп

был живым человеком, и ряды мертвых тел показались ему страшными и отвратительными.

— Я собирался начать в два часа, — сказал юноша.

— Ладно, — согласился Филип, — к этому времени я вернусь.

Накануне он купил ящик с инструментами, и теперь ему отвели для них шкафчик. Он поглядел на юношу, с которым пришел в анатомичку, — тот был бледен как полотно.

— Вам нехорошо? — спросил Филип.

— Я никогда еще не видел мертвых.

Они пошли по коридору к выходу. Филип подумал о Фанни Прайс. Она была первым мертвецом, которого он увидел; он вспомнил, какое странное это произвело на него впечатление. Живого отделяет от мертвого непроходимая пропасть: они словно особи двух враждебных видов; чудовищно подумать, что мертвец совсем недавно говорил, двигался, ел, смеялся. В мертвеце есть что-то жуткое: кажется, что он может наслать порчу на живых.

— Не пойти ли нам поесть? — спросил его новый знакомый.

Они спустились в подвал, где в темной комнате помещалась столовая; здесь студенты получали такую же еду, как в любой закусочной. Филип заказал булочку с маслом и чашку шоколада; во время еды он выяснил, что его спутника зовут Дансфорд. У этого румяного парня с веселыми голубыми глазами были темные кудрявые волосы и крупные руки и ноги, движения и речь его были неторопливы. Дансфорд совсем недавно приехал из Клифтона.

— Вы хотите пройти общий курс? — спросил он Филипа.

— Да, мне нужно получить диплом как можно скорее.

— Мне тоже, но потом я собираюсь поступить в Королевский хирургический институт. Хочу стать хирургом.

Большинство студентов проходило общий курс хирургического и терапевтического факультетов; самые честолобивые и усердные продолжали учение, чтобы получить диплом Лондонского университета. Незадолго до поступления Филипа правила были заменены и курс обучения продлен до пяти лет вместо четырех, как это было до осени 1829 года. Дансфорд все это объяснил Филипу. Сперва предстояли экзамены по биологии, анатомии и химии; каждый предмет

можно было сдавать в отдельности, и большинство студентов сдавало биологию через три месяца после начала занятий. Эту науку лишь недавно включили в программу обучения, и требования были небольшие.

Когда Филип вернулся в анатомичку — он опоздал на несколько минут, позабыв заранее обзавестись нарукавниками, — он застал многих студентов уже за работой. Его партнер начал минута в минуту и был занят препарированием подкожных нервов. Двое других хлопотали у второй ноги и еще несколько человек — у рук.

— Ничего, что я уже начал?

— Пожалуйста, продолжайте, — отозвался Филип.

Он взял учебник, отыскал там схему анатомического препарирования ноги и посмотрел, что им надо было найти.

— Вы, оказывается, в этом деле мастак, — сказал Филип.

— Да, я уже резал животных на подготовительных курсах.

За анатомическим столом шла оживленная беседа — об анатомии, о перспективах футбольного сезона, о демонстраторах, о лекциях. Филип чувствовал себя значительно старше других. Это были совсем еще школьники. Но возраст определяется скорее знаниями, чем годами, а Ньюсон, его усердный партнер, отлично знал свое дело. Ему явно хотелось порисоваться своими знаниями, и он давал Филипу подробные объяснения. А тот, забыв, что он человек, умудренный годами, покорно его слушал. Потом Филип вооружился скальпелем и пинцетом и в свою очередь приступил к работе, а партнер его следил за тем, что он делает.

— Вот здорово, что он такой худой, — сказал Ньюсон, вытирая руки. — Бедняга, видно, не ел целый месяц.

— Интересно, от чего он умер, — пробормотал Филип.

— Мало ли от чего, вернее всего — от голода... Осторожно, не перережьте этой артерии.

— Легко сказать: «Не перережьте артерии», — заметил один из студентов, занятых другой ногой. — У этого старого идиота артерии не на месте.

— Артерии никогда не бывают на месте, — возразил Ньюсон. — Нормы вы никогда не встретите. Поэтому ее, очевидно, и зовут нормой.

— Не смешите, а то я порежусь, — сказал Филип.

— Если порежетесь, — ответил этот кладезь премудрости, — немедленно промойте ранку антисептическим составом: тут приходится быть осторожным. Был здесь в прошлом году один парень — он укололся и не обратил на это внимания, вот и получил заражение крови.

— Выздоровел?

— Нет, через неделю умер. Я ходил в морг поглядеть на него.

Когда пришла пора пить чай, у Филипа ломило поясницу; он так легко перекусил днем, что очень проголодался. От его рук шел тот особенный запах, который он утром почуял в коридоре. Ему показалось, что и его сдобная булочка пахнет так же.

— Ничего, привыкнете, — заметил Ньюсон. — Потом даже будете тосковать по этой привычной вони нашей доброй старой анатомички.

— Ну, аппетита она мне не испортит, — сказал Филип и вслед за булочкой заказал кусок сладкого пирога.

ГЛАВА 55

Представления Филипа о жизни студентов-медиков, как и представления о них широкой публики, основывались на описаниях Чарльза Диккенса, относившихся к середине девятнадцатого века. Но Филип вскоре обнаружил, что если Боб Соьер и существовал, он вовсе не походил на современных студентов.

Медицинская профессия привлекает самых разных людей; естественно, что среди них есть ленивые и ветреные. Они воображают, что их ждет легкая жизнь, года два бездельничают, а потом, когда деньги приходят к концу и разгневанные родители отказываются их содержать, бросают институт. Другие не могут выдержать экзаменов: провалившись несколько раз, они забывают и то, что знали назубок, как только вступают в грозный экзаменационный зал. Из года в год они остаются на одном и том же курсе и превращаются в мишень для добродушных насмешек молодежи; некоторым из них в конце концов удастся проскочить через экзамен по фармакологии и стать фармацевтами, другие работают ассистентами без диплома — ненадежное положение, при котором всецело зависишь от милости наставителя; удел этих неудачников — нищета, пьянство и

смерть под забором. Но в большинстве своем студенты-медики — трудолюбивый народ; это главным образом выходцы из среднего сословия, которые обладают кое-каким достатком и могут жить прилично. Многие из них — сыновья врачей и уже приобрели профессиональные навыки; их карьера предопределена: получив диплом, они рассчитывают остаться при больнице, после чего (а иной раз еще и съездив на Дальний Восток корабельным врачом) будут работать с отцом и проведут всю жизнь, практикуя где-нибудь в деревне. Человека два на курсе обладают блестящими способностями: им достанутся награды и стипендии, они пройдут ординатуру в больнице и получают в ней должность, потом заведут кабинет на Гарлей-стрит¹ и, специализируясь в той или иной области, приобретут капитал, имя и титул.

Профессия врача — единственная, которой можно начать заниматься в любом возрасте, не теряя надежды, что обеспечишь себе средства к существованию. Среди однокурсников Филипа трое или четверо уже вышли из юношеского возраста. Один из них отслужил во флоте, откуда, по слухам, его уволили за пьянство; это был краснолицый мужчина лет тридцати, с грубыми манерами и зычным голосом. Другой — человек женатый, отец двоих детей, потерял состояние из-за банкротства своего поверенного; вид у него был убитый, словно весь свет ему опостылел; работал он сосредоточенно — в его возрасте запомнить трудно, да и соображал он туго. Тягостно было смотреть, как он выбивается из сил.

В своих комнатухах Филип устроился по-домашнему. Он расставил книги, развесил картины и рисунки. Над ним жил студент пятого курса по фамилии Гриффитс, но Филип редко его встречал: тот почти все время проводил в больнице, где проходил практику, и, кроме того, учился в Оксфорде, а студенты, окончившие университет, держались особняком. Они не упускали случая, как и водится среди молодежи, унижить своих менее удачливых коллег, а тех раздражало их олимпийское величие. Гриффитс был высокий юноша с копной вьющихся рыжих волос, синими глазами, очень белой кожей и ярко-красными губами. Неизменно благодушный и веселый, Гриффитс был из тех счастливчиков, которые всем нравятся. Он немножко брэнчал на рояле и лихо пел куплеты; каждый вечер, в оди-

¹ Улица в Лондоне, где находятся приемные известных врачей.

ночестве читая у себя в комнате, Филип слышал доносившиеся сверху крики и взрывы хохота приятелей Гриффитса и вспоминал Париж, чудесные вечера у себя в мастерской, когда они — Лоусон, он, Фланаган и Клаттон — спорили об искусстве, о морали, о вчерашних похождениях и о славе, которая придет к ним завтра. На сердце у Филипа было тяжело. Оказалось, что куда легче сделать героический жест, чем терпеть его последствия. Самое худшее заключалось в том, что занятия медициной казались ему совсем неинтересными. Он давно отвык отвечать на вопросы преподавателя. Лекции он слушал невнимательно. Анатомия была скучнейшим предметом — все сводилось к тому, чтобы вызубрить огромное количество всяких сведений; вскрытия нагоняли на него тоску; какая бессмыслица тщательно выделять нервы и артерии — куда проще найти их в учебнике или посмотреть препараты в музее.

Он заводил случайные знакомства, но друзей не имел: ему нечего было рассказать своим собеседникам. Когда же он пробовал поинтересоваться их делами, его тон казался им покровительственным. Он не умел, как другие, разговаривать о том, что его волновало, ничуть не заботясь, интересно ли это собеседнику. Один из студентов, считавший себя тонким ценителем искусства, узнал, что Филип учился в Париже живописи, и попытался завязать о ней разговор, но Филип был нетерпим к чужим мнениям и, сразу же поняв, что собеседник придерживался общепринятых взглядов, стал отвечать односложно. Филипу хотелось нравиться людям, но он не мог себя заставить быть предупредительным. Боясь показаться навязчивым, он не позволял себе заговаривать первым и скрывал свою мучительную застенчивость под маской замкнутости. Повторялось то же, что он пережил в школе; но теперь вольное житие студента-медика давало ему возможность чаще оставаться одному.

С Дансфордом он подружился без особого труда; это был тот румяный плотный парень, с которым он познакомился в начале семестра. Дансфорд привязался к Филипу просто потому, что тот был первым, с кем он заговорил в больнице Святого Луки. В Лондоне у него не было друзей, и в субботние вечера они с Филипом стали ходить вдвоем на галерку в мюзик-холл или театр. Недалекий, но добродушный Дансфорд никогда не обижался; он постоянно изрекал ходячие истины, и, когда Филип над ним потешался,

отвечал на это улыбкой. Улыбка у него была прелестная. И, хотя Филип вечно подсмеивался над Дансфордом, он его любил: его забавляло простодушие и привлекал ровный характер юноши. В Дансфорде было то обаяние, которого ему самому не хватало.

Они часто пили чай в кафе на Парламент-стрит — Дансфорду понравилась там одна из официанток. Филип вовсе не находил ее привлекательной. Она была высокая, худая, с узкими бедрами и плоской грудью,

— В Париже никто на нее и глядеть бы не стал, — пренебрежительно заметил Филип.

— А какое у нее хорошенькое личико! — сказал Дансфорд.

— Кому нужно это личико?

У официантки были мелкие, правильные черты лица, голубые глаза и широкий низкий лоб; художники Викторианской эпохи — лорд Лейтон, Альма-Тадема и множество других — заставили своих современников поверить, будто это образец греческой красоты. Ее густые, старательно уложенные волосы спускались челкой на лоб. Она явно страдала худосочием: тонкие губы были бескровны, а нежная кожа — чуть-чуть зеленоватого оттенка, даже в щеках у нее не было ни кровинки. Зубы, правда, были очень белые. Она тщательно берегла руки, чтобы они не загрибели от работы, и кисти были маленькие, узкие и нежные. Свои обязанности она выполняла со скучающим видом.

Робевшему перед женщинами Дансфорду никак не удавалось завязать с ней разговор, он пристал, чтобы Филип ему помог.

— Ты только начни, — говорил он, — потом я справлюсь и сам.

Филип попробовал обменяться с ней несколькими фразами, чтобы доставить приятелю удовольствие, но девушка отвечала односложно. Она ведь знала цену таким молокососам; скорее всего это — студенты, больно они ей нужны. Дансфорд заметил, что официантка оказывает внимание мужчине с волосами соломенного цвета и щетинистыми усами, похожему на немца; стоило ему появиться в кафе, и ее приходилось подзывать по два или по три раза, прежде чем она примет заказ. С незнакомыми посетителями она обходилась с ледяной надменностью и, когда бывала увлечена разговором, не обращала никакого внимания на

оклики тех, кто спешил. Она умела поставить на место посетительниц кафе с той долей наглости, которая выводила их из себя, не давая в то же время основания пожаловаться заведующей. Однажды Дансфорд сообщил Филипу, что ее имя — Милдред — он слышал, что ее так назвала другая официантка.

— Какое противное имя, — сказал Филип.

— Почему? — спросил Дансфорд. — А мне нравится.

— Очень уж претенциозное.

Немца в тот день не было, и, когда она принесла чай, Филип заметил с улыбкой:

— Что-то сегодня не видно вашего дружка.

— Не знаю, кого вы имеете в виду, — холодно ответила она.

— Я имею в виду вашего рыцаря с рыжими усами. Видно, променял вас на другую?

— А я посоветовала бы кое-кому не совать нос в чужие дела, — отрезала она.

С этими словами она их оставила и, так как других посетителей пока не было, села и стала просматривать вечернюю газету, забытую одним из клиентов.

— Какая глупость, зачем ты ее зришь? Видишь, она нервничает? — сказал Дансфорд.

— А мне плевать на ее нервы, — ответил Филип.

Но он был задет. Его раздосадовало, что девушка обиделась, хотя он просто пытался с ней полюбезничать. Спросив счет, он снова попробовал завязать беседу.

— Вы больше не хотите с нами разговаривать? — улыбнулся он.

— Я здесь для того, чтобы принимать заказы и обслуживать клиентов. Мне не о чем с ними разговаривать.

Она положила перед ними листок, на котором был написан счет, и вернулась на свое место. Филип покраснел от досады.

— Ловко она тебя отбрила, — сказал Дансфорд, когда они вышли на улицу.

— Наглая девка, — сказал Филип. — Ноги моей здесь больше не будет.

Ему нетрудно было убедить Дансфорда переменить кафе, и тот скоро увлекся другой девушкой. Но Филип не забыл обиды, которую нанесла ему официантка. Обойдись она с ним вежливо, Филип остался бы к ней совершенно

равнодушен, но она откровенно дала ему понять свою неприязнь, и это его задело. Он не мог подавить в себе желания отплатить ей. Его злило, что им овладело такое мелкое чувство, и дня четыре он выдерживал характер, но это не помогло, и Филип решил, что лучше всего ее пови-
дать. После этого Филип, конечно, перестанет о ней думать. Стыдясь своей слабости, он сослался на деловую встречу и, улизнув от Дансфорда, отправился прямо в кафе, куда поклялся больше не ходить. Он сразу же увидел официантку и сел к одному из ее столиков. Филип ожидал, что она как-нибудь вспомнит о том, что его не было целую неделю, но она приняла заказ, не сказав ни слова. А ему не раз приходилось слышать, как она говорила другим клиентам:

— Куда же это вы пропали?

Теперь же она сделала вид, будто никогда его прежде не видала. Ему захотелось проверить, действительно ли она его забыла, и, когда она принесла чай, он спросил:

— Вы сегодня не видели моего приятеля?

— Нет. Он не приходит уже несколько дней.

Он хотел воспользоваться этим, чтобы начать разговор, но почувствовал странное смущение и не нашелся что сказать. Она не дала ему собраться с мыслями и сразу же отошла. Пришлось подождать, пока она не принесла счет.

— Какая дрянная погода, правда? — сказал он.

Стыдно, что ему не пришло в голову ничего, кроме такой банальности. Он не мог понять, почему так робеет перед ней.

— Меня это мало трогает, раз я все равно должна торчать здесь целый день, — гласил ее ответ.

Тон у нее был нагловатый, и это его ужасно разозлило. У него чуть было не вырвалось ехидное замечание, но он заставил себя промолчать.

«Ей-Богу, жаль, что она не позволяет себе какую-нибудь явную грубость, — в бешенстве подумал он. — Я бы на нее пожаловался, и ее выгнали бы вон. Так этой дряни и надо!»

ГЛАВА 56

Ему никак не удавалось выбросить ее из головы. Он издевался над своей глупостью: нелепо было принимать близко к сердцу слова какой-то официантки, этой бледной немочи; но странное чувство унижения не проходило. Пусть никто

не знал об этой обиде, кроме Дансфорда — да и тот, конечно, давно позабыл, — Филип чувствовал, что не успокоится, пока ей не оплатит. Он стал раздумывать, как это сделать. Надо каждый день ходить в кафе; он явно произвел на нее неприятное впечатление, но сумеет ее задобрить, теперь уж он не скажет ничего, что могло бы задеть даже самого придирчивого человека. Так он и поступил, но потерпел неудачу. Когда, входя в кафе, он с ней здоровался, она отвечала ему, но как-то раз он промолчал, чтобы посмотреть, не поздоровается ли она первая, и она не проронила ни слова. Филип в душе выругал ее словом, которое порой и можно применить к представительницам женского пола, но в обществе лучше не употреблять, однако чай он заказал с невозмутимым видом. Решив не произносить ни звука, он вышел из кафе не попрощавшись. Он дал себе слово больше туда не ходить, но на следующий день в положенный час не мог найти себе места. Он старался думать о чем-нибудь другом, но рассудок ему не подчинялся. Наконец он воскликнул в отчаянии:

— Ну а в общем-то, почему бы и не пойти туда, если мне так этого хочется!

Борьба с самим собой отняла много времени, и, когда он вошел в кафе, было уже около семи часов.

— А я думала, что вы уже не придете, — сказала Милдред, когда он сел за столик.

Сердце его екнуло, и он почувствовал, что краснеет.

— Не мог раньше прийти. Задержался.

— Небось людей на части резали?

— Не такой уж я живодер.

— Вы ведь студент?

— Да.

По-видимому, ее любопытство было удовлетворено. Она отошла; в этот поздний час никого за ее столиками не было, и она погрузилась в чтение дешевого романа. В то время книжный рынок был завален макулатурой, изготовляемой литературными поденщиками на потребу малограмотному читателю. Филип был окрылен — она сама с ним заговорила; он уже предвкушал тот день, когда сможет отыгаться и выложить ей все, что о ней думает. Ну и приятно же будет сказать, как он ее презирает. Он посмотрел на нее. У нее и в самом деле красивый профиль; удивительно: у английских девушек из простонародья часто бывают

такие тонкие лица, что просто дух захватывает; но от ее лица веяло ледяным холодом, а зеленоватый оттенок кожи придавал ему нездоровый вид. Все официантки были одеты одинаково: простые черные платья с белым передником, нарукавниками и наколкой. Пока она сидела, склонившись над книгой (и шевелила губами, читая), Филип сделал с нее карандашный набросок на листке бумаги, который нашел в кармане; уходя, он оставил его на столе. Это была удачная мысль: когда он пришел на следующий день, она ему улыбнулась.

— Вот не думала, что вы умеете рисовать, — сказала она.

— Я два года учился живописи в Париже.

— Я показала картинку, которую вы вчера оставили, нашей заведующей, — она прямо рот разинула. Это вы меня срисовали?

— Вас, — сказал Филип.

Когда она отправилась за чаем, к нему подошла другая официантка.

— Я видела, — сказала она, — какую вы нарисовали картинку с мисс Роджерс. Как живая, точь-в-точь!

Так он узнал ее фамилию; когда пришло время спросить счет, он ее окликнул.

— Оказывается, вы знаете, как моя фамилия, — сказала она подойдя.

— Мне ее назвала ваша подружка, когда говорила со мной насчет рисунка.

— Она хочет, чтобы вы и ее нарисовали. И даже не думайте. А то как станут все приставать, конца этому не будет. — Она добавила без всякой паузы, с какой-то странной непоследовательностью: — Где этот парень, который ходил сюда с вами? Он что, уехал?

— Оказывается, вы его запомнили, — сказал Филип.

— Что ж, он симпатичный молодой человек.

Филип вдруг поймал себя на каком-то непривычном ощущении. У Дансфорда были красивые вьющиеся волосы, свежий цвет лица и великолепная улыбка. Филип с завистью подумал об этих его преимуществах.

— Мой приятель влюбился, — сказал он со смешком.

Медленно прихрамывая по дороге домой, Филип мысленно повторял весь их разговор. Теперь она с ним стала очень мила. Как-нибудь, когда представится случай, он

предложит нарисовать ее получше; это должно ей понравиться: у нее необыкновенное лицо и прелестный профиль, даже зеленоватый цвет кожи казался ему привлекательным. Он попытался с чем-нибудь его сравнить; сперва ему пришел на память гороховый суп, но он с негодованием отбросил подобное сравнение, потом он подумал о лепестках чайной розы — такой цвет у ее бутона, если его раскрыть, пока он еще не распустился. Он уже не чувствовал к ней вражды.

«А она довольно мила», — сказал он себе.

С его стороны глупо на нее обижаться — наверно, он сам виноват: она не хотела грубить, ему давно пора привыкнуть, что он с первого взгляда производит на людей дурное впечатление. Успех рисунка ему льстил; теперь, когда она знала за ним этот маленький талант, она смотрела на него с большим интересом. На следующий день он места себе не находил. Ему даже пришла в голову мысль пойти в кафе позавтракать, но он знал, что в это время там полно народу и Милдред все равно не сумеет с ним поговорить. Он уже давно прекратил чаепития с Дансфордом и ровно в половине пятого (раз десять посмотрев на часы) отправился в кафе.

Милдред сидела к нему спиной. Она разговаривала с тем самым немцем, которого Филип раньше видел здесь ежедневно. Две недели назад он пропал и больше не показывался. Она смеялась, слушая, что он говорит. Смех у нее был резкий, вульгарный, Филипа даже передернуло. Он ее окликнул, но она не обратила внимания; он позвал ее снова; наконец рассердившись — Филип был не слишком терпелив, — он постучал тростью по столу. Она подошла с недовольным видом.

— Здравствуйте, — сказал он. — Вам очень некогда?

Она смотрела на него сверху вниз тем наглым взглядом, который был ему уже так хорошо знаком.

— Что это с вами? — спросил он.

— Будьте любезны, закажите, что вам угодно, я принесу. Некогда мне тут болтать с вами целый вечер.

— Пожалуйста, чаю и поджаренную булочку, — коротко ответил Филип.

Он был в бешенстве. У него с собой была вечерняя газета, и, когда она принесла чай, он читал ее и даже не поднял головы.

— Оставьте счет, чтобы мне больше вас не беспокоить, — холодно произнес он.

Она выписала счет, положила его на стол и вернулась к своему немцу. Минуту спустя они оживленно болтали. Это был мужчина среднего роста с круглой головой, характерной для тевтонской расы, и землистым лицом, на котором красовались пышные щетинистые усы; на немце был длинный сюртук и серые брюки, а на жилете болталась массивная золотая цепочка. Филипу показалось, что другие официантки посматривают то на него, то на эту парочку и обмениваются многозначительными взглядами. Он был уверен, что над ним смеются, и кровь его кипела. Он ненавидел Милдред всей душой. Самое лучшее было не ходить больше в это кафе, но он злился, что его оставили в дураках, и наконец придумал, как показать ей свое презрение. На следующий день он сел за столик другой официантки. Дружок Милдред был тут как тут, и она снова с ним болтала. На Филипа она не обратила ровно никакого внимания. Но, уходя, он выбрал момент, когда она шла ему навстречу; поравнявшись, он посмотрел на нее так, словно никогда раньше не видел. Он повторял этот маневр три или четыре дня подряд. Он ждал, что она с ним заговорит — может быть, спросит, почему он больше не садится за ее столики, — и даже подготовил оскорбительный ответ. Он знал, как все это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Она снова одержала верх. Немец внезапно исчез, но Филип продолжал садиться за другие столики. А она на него даже не глядела. Он вдруг понял, что все его ухищрения ей глубоко безразличны; он мог стараться сколько угодно — на нее это никак не действовало.

«Ну, это еще не конец», — сказал он себе.

На другой день он снова сел на старое место и, когда она подошла, поздоровался как ни в чем не бывало. Лицо его было спокойно, но сердце бешено билось. В то время публика вдруг увлеклась опереттой, и он не сомневался, что Милдред с радостью пошла бы в театр.

— Послушайте, — сказал он без всяких предисловий, — не хотите ли как-нибудь вечером со мной поужинать, а потом пойти на «Красавицу из Нью-Йорка»? Я возьму места в партере.

Последнюю фразу он добавил, чтобы усилить искушение. Он знал, что, когда девушки ее круга бывали в театре,

они брали билеты на галерку; даже когда их приглашал мужчина, им редко приходилось сидеть ниже последнего яруса. Бледное лицо Милдред оставалось невозмутимым.

— Ну что ж, пожалуй, — сказала она.

— Когда вам удобно?

— По четвергам я кончаю работу рано.

Они условились о встрече. Милдред жила у своей тетки в Херн-хилле. Спектакль начинался в восемь, так что поужинать надо было в семь. Она предложила встретиться на вокзале Виктории в зале ожидания второго класса. Никакого удовольствия она не выказала и приняла приглашение так, словно делала ему одолжение. Филип почувствовал досаду.

ГЛАВА 57

Филип пришел на вокзал Виктории почти за полчаса до назначенного Милдред времени и сел в зале ожидания второго класса. Он ждал, а ее все не было. Он заволновался, вышел на перрон и стал смотреть на подходившие пригородные поезда; времени уже было много, а она все не появлялась. Филип потерял терпение. Он побрел в зал ожидания первого класса и стал разглядывать сидящих там людей. Вдруг сердце его забилося.

— Ах, вот вы где! Я уж думал, что вы не придете, — сказал он.

— Хорошенькое дело! Заставили дожидаться целую вечность! Совсем было собралась вернуться домой!

— Но вы же сказали, что будете в зале ожидания второго класса.

— Ничего такого я не говорила. С чего бы это мне сидеть в зале второго класса, если я могу сидеть в первом?

Филип был уверен, что не ошибся, но смолчал, и они взяли извозчика.

— Где мы будем ужинать? — спросила она.

— Давайте в ресторане «Адельфи». Хорошо?

— Ну что ж, пожалуй. Мне все равно.

Тон у нее был сердитый. Ее разозлило, что пришлось ждать, и на все попытки Филипа завязать разговор она отвечала односложно. На ней была длинная накидка из темной грубой материи, а на голове вязаная шаль. Они приехали в «Адельфи» и сели за столик. Она огляделась с

удовлетворением. Красные абажуры, затенявшие свечи на столиках, позолота отделки, зеркала — все это придавало ресторану пышность.

— Я здесь ни разу не была.

Она улыбнулась Филипу. Накидку она сняла, и он увидел бледно-голубое платье с квадратным вырезом на шее; волосы были причесаны еще тщательнее, чем обычно. Он заказал шампанское, и когда вино принесли, глаза ее заблестели.

— Вы, видно, решили кутнуть? — сказала она.

— С чего вы взяли? Потому что я заказал шипучку? — небрежно спросил он, будто никогда не пил ничего другого.

— Ну и удивили же вы меня, когда позвали в театр.

Беседа не клеилась, — ей, видно, не о чем было с ним говорить, а Филип нервничал оттого, что не умеет ее развлечь. Она едва его слушала, не спуская глаз с обедающих за соседними столиками и даже не стараясь делать вид, будто он ее интересует. Он попробовал шутить, но она принимала шутки всерьез. Оживилась она лишь тогда, когда он заговорил о других официантках; она терпеть не могла заведующую и пространно жаловалась на ее злодеяния.

— Видеть ее не могу: уж очень она задается. Иногда язык так и чешется выложить ей все, что у меня на душе: она-то ведь и понятия не имеет, что я про нее знаю.

— Что же именно? — спросил Филип.

— Пусть из себя недотрогу не корчит. По воскресеньям ездит в Истборн с мужчиной. У одной здешней девушки есть замужняя сестра, она бывает там с мужем, в Истборне она нашу и видела. Жили в одном пансионе. Наша-то носила обручальное кольцо, а ведь факт, что она не замужем.

Филип наполнил бокал Милдред, надеясь, что шампанское сделает ее приветливее; ему до смерти хотелось, чтобы вечер прошел удачно. Он заметил, что она держит нож, как ручку с пером, а когда берет бокал, далеко отставляет мизинец. Он заводил речь о самых разных вещах, но так и не мог ничего от нее добиться; с досадой он вспоминал, как она весело болтает и смеется со своим немцем. Покончив с обедом, они пошли в театр. Филип был образованный молодой человек и смотрел на оперетту свысока. Шутки казались ему грубыми, а музыка — примитивной; с этим жанром у французов дела обстоят куда лучше. Но Милдред веселилась вовсю; она смеялась до колик, оборачиваясь к Филипу, когда что-нибудь ее особенно забавляло, и с упоением хлопала.

— Я это смотрю в седьмой раз, — сказала она, когда кончилось первое действие, — и не прочь прийти сюда еще раз семь.

Ее очень занимали женщины, сидевшие в партере. Она показывала Филипу тех, у кого были накрашенные щеки и подложены чужие волосы.

— Вот ужас-то, — говорила она. — А еще шикарные дамы! Понять не могу, как только у них совести хватает. — Она потрогала рукой свою прическу. — А у меня свои, все как есть, до единого волоска.

Никто ей не нравился, и, о ком бы ни зашла речь, во всех она видела одни недостатки. Филипу было не по себе. Он догадывался, что завтра в кафе она расскажет всем официанткам, что была с ним в театре и чуть не померла со скуки. Она ему не нравилась, но непонятно почему, ему трудно было с ней расстаться. По дороге домой он спросил:

— Надеюсь, вам было весело?

— Конечно.

— Пойдемте куда-нибудь со мной еще разок!

— Ну что ж, пожалуй.

Дальше этого дело не шло. Ее равнодушие приводило его в бешенство.

— Вам, видно, все равно, пойдете вы со мной или нет?

— Не с вами, так с другим. Всегда найдется мужчина, который пригласит меня в театр.

Филип замолчал. На вокзале он пошел к кассе.

— У меня сезонный билет, — сказала она.

— Уже поздно. Если не возражаете, я провожу вас домой.

— Ну что ж, пожалуй, если вам это нравится.

Он взял два билета первого класса и обратный для себя.

— Вы хотя бы не скряга, ничего не скажешь, — заметила она, когда он отворил дверцу купе.

Филип сам не знал, радоваться ему или огорчаться, когда в купе появились другие пассажиры и им пришлось прервать разговор. Они вышли на станции Херн-хилл, и он проводил ее до угла улицы, где она жила.

— Тут я с вами попрощаюсь, — сказала она, протягивая руку. — До дверей меня лучше не провожайте. Знаю я этих соседей: будут болтать Бог весть что.

Простившись с ним, она быстро ушла. В темноте мелькнула ее белая шаль. Он надеялся, что она обернется, но она не обернулась. Филип заметил дом, в который она вошла, и, немного обождав, прошел мимо, чтобы его рассмотреть.

Это был чистенький домик из желтого кирпича, в точности похожий на все остальные домики этой улицы. Филип постоял несколько минут и скоро увидел, как в окне второго этажа опустилась штора. Он медленно поплелся обратно на станцию. Вечер прошел неудачно. Его мучили досада, тревога и грусть.

Он лег в постель, но, казалось, все еще видел ее в углу вагона с белой вязаной шалью на голове. Филип считал часы и не мог дожждаться, когда встретит ее снова. Он дремал, и перед ним вставало ее узкое лицо с тонкими чертами и бледно-оливковой кожей. С ней он не был счастлив, но вдали от нее чувствовал себя совсем несчастным. Ему хотелось сидеть с ней рядом и смотреть на нее, хотелось до нее дотронуться, хотелось... не додумав до конца своей мысли, он стряхнул с себя сон... ему хотелось целовать этот маленький бледный рот, эти тонкие губы. Наконец-то он понял. Он был в нее влюблен. Это было непостижимо.

Он часто представлял себе, как он влюбится; перед ним снова и снова возникала одна и та же картина. Он входит в бальный зал, взгляд его падает на группу гостей, и какая-то женщина поворачивает к нему голову. Вот она его увидела, и он знает, что у нее перехватило дыхание. Он стоит, словно окаменев. Высокая, прекрасная, с черными, как ночь, глазами, она одета во все белое; в ее темных волосах сверкают бриллианты. Они не сводят друг с друга глаз, забыв об окружающих. Он идет прямо к ней, и она тоже делает несколько шагов ему навстречу. Оба чувствуют, что формальности первого знакомства неуместны. Он говорит:

— Я искал вас всю жизнь.

— Наконец-то вы пришли, — шепчет она.

— Хотите потанцевать со мной?

Он протягивает к ней руки, она покорно подходит, и они уносятся в танце. (В мечтах Филип никогда не видел себя хромым.) Танцует она божественно.

— Я еще не встречала никого, кто танцевал бы так, как вы, — говорит она.

Она рвет бальную программу, где записаны имена тех, кто ее пригласил, и они танцуют друг с другом весь вечер.

— Как я благодарен судьбе, что дождался вас, — говорит он. — Я знал, что когда-нибудь вас встречу.

Люди в зале не сводят с них глаз. А им все равно. Они не желают скрывать своей страсти. Потом они выходят в сад.

Он набрасывает ей на плечи легкую накидку и помогает сесть в ожидающую их карету. Ночной поезд в Париж, и вот они уже мчатся в неведомую даль сквозь безмолвную звездную ночь.

...Он вспомнил эти свои мальчишеские мечты, и ему показалось невероятным, что он влюбился в Милдред Роджерс. Даже имя ее было уродливо. Он вовсе не считал ее красивой, ему не нравилась ее худоба — сегодня вечером он заметил, как торчат ключицы в вырезе ее вечернего платья, он перебрал в памяти одну за другой ее черты; у нее был неприятный рот и противный, болезненный цвет лица. Она была вульгарна. Ее речь, грубая и бедная, отражала скудость мысли; он вспомнил ее резкий смех в театре, претенциозно отставленный мизинец, когда она подносила ко рту бокал; ее манеры, так же как и слова, были полны отвратительного жеманства. Он вспомнил ее заносчивость — часто его так и подмывало отвесить ей пощечину; и вдруг — неизвестно почему, то ли при мысли о том, что ее можно ударить, то ли при воспоминании о ее крошечных красивых ушах — его охватило глубокое волнение. Он томился по ней. Он представлял себе, как обнимает это худенькое, хрупкое тело и целует бледный рот; ему хотелось провести пальцами по ее нежно-оливковым щекам. Он хотел ее.

Когда-то он представлял себе любовь как блаженство, которое охватывает вас и превращает весь мир в весенний сад; он ожидал несказанного счастья, но то, что он чувствовал сейчас, вовсе не было блаженством; его мучил душевный голод, неутолимая тоска, горечь, какой он еще не испытывал никогда. Он хотел вспомнить, с чего это началось, но не смог. Он только знал, что всякий раз, когда он приходил в кафе, у него сжималось сердце, а когда она заговаривала с ним, как-то странно перехватывало дыхание. Стоило ей от него уйти, и он был глубоко несчастен, но, когда он видел ее снова, им овладевало отчаяние.

Филип вытянулся в постели, как побитый пес. Он не знал, как он вынесет эту нескончаемую душевную муку.

ГЛАВА 58

Наутро Филип проснулся рано, и первая мысль его была о Милдред. Ему пришло в голову, что он может встретить ее на вокзале Виктории и проводить на работу. Он быстро

побрился, оделся на скорую руку и доехал до вокзала на автобусе. Он вбежал на перрон без двадцати минут восемь и стал следить за проходящими поездами. В этот ранний час из них высыпало множество народу: конторские служащие и приказчики сплошным потоком двигались по платформе и спешили в город, девушки шли парами или небольшими стайками, но чаще всего люди шагали в одиночку, думая о чем-то своем. Филип видел в утреннем свете их бледные, чаще всего некрасивые лица; молодые шли легко, словно им было весело ступать по цементной платформе, но люди постарше двигались как заводные, угрюмо и озабоченно.

Наконец Филип заметил Милдред и бросился навстречу.

— Доброе утро, — сказал он. — Я пришел узнать, как вы себя чувствуете после вчерашнего.

Она была в стареньком коричневом пальто и шляпке с прямыми полями. Выражение ее лица ясно давало ему понять, что она отнюдь не рада встрече с ним.

— Я ничего. Но мне некогда.

— Вы не возражаете, если я вас немножко провожу?

— Я опаздываю. Мне надо идти побыстрее, — ответила она, глядя на хромую ногу Филипа.

Лицо его побагровело.

— Простите. Не стану вас задерживать.

— А это уж как вам угодно.

Она пошла своей дорогой, а Филип уныло поплелся домой завтракать. Он ее ненавидел. Он ругал себя последними словами за то, что позволил ей так завладеть своими мыслями; Милдред была не из тех женщин, которым он хоть сколько-нибудь может понравиться, она всегда будет смотреть с отвращением на его уродство! Он решил, что вечером ни за что не пойдет в кафе, но, презирая себя, все-таки пошел. Она кивнула ему и улыбнулась.

— Кажется, я не слишком приветливо обошлась с вами утром, — сказала она. — Понимаете, я ведь вас не ждала, а вы свалились как снег на голову.

— Ничего, ничего.

На душе у Филипа сразу стало легко. Он был несказанно ей благодарен за каждое ласковое слово.

— Почему бы вам не подсесть к моему столику? — спросил он. — Никто вас сейчас не ждет.

— Ну что ж, пожалуй.

Он смотрел на нее, не зная, что сказать; мучительно придумывал какую-нибудь фразу, чтобы задержать ее подле себя; ему хотелось высказать ей, как много она для него значит. Но, полюбив всерьез, он потерял способность говорить любовный вздор.

— Где же ваш приятель со светлыми усами? — спросил он. — Я давно его не видел.

— Вернулся в Бирмингем. Он там работает по торговой части. В Лондоне бывает только наездами.

— Он в вас влюблен?

— А вы у него спросите, — ответила она со смехом. — Ну, а если даже влюблен, вам какое дело?

На языке у него вертелся резкий ответ, но он учился сдерживать себя.

— Не знаю, почему вы так со мной разговариваете, — вот и все, что он позволил себе сказать.

Она посмотрела на него своим равнодушным взглядом.

— Я вам как будто совсем ни к чему, — добавил он.

— А что мне до вас?

— И в самом деле, ничего.

Он потянулся за газетой.

— Уж очень вы горячий, — сказала она, заметив его движение. — Ни с того ни с сего обижаетесь.

Он улыбнулся и посмотрел на нее с мольбой.

— Хотите доставить мне удовольствие? — спросил он.

— Смотря какое.

— Позвольте проводить вас вечером на вокзал.

— Ну что ж, пожалуй.

Он ушел домой, но в восемь часов, когда закрылось кафе, уже поджидал ее на улице.

— Какой-то вы чудной, — сказала она, выйдя из кафе. — Я вас не пойму.

— По-моему, понять меня вовсе не трудно, — ответил он с горечью.

— Кто-нибудь из наших девушек видел, что вы меня дожидаетесь?

— Не знаю, мне все равно.

— А они над вами смеются. Говорят, что вы в меня врезались по уши.

— Вам-то ведь это безразлично, — сказал он сквозь зубы.

— Ну-ну, опять раскипятились!

На вокзале он взял билет и сказал, что проводит ее до дому.

— Вам, видно, время девать некуда, — сказала она.

— Я могу проводить время как мне заблагорассудится, верно?

Между ними все время назревала ссора. Ведь он ненавидел себя за то, что ее любит. А ей словно доставляло удовольствие его унижать, и с каждой новой обидой в нем все больше накапливалась злоба. Но в этот вечер она была настроена дружелюбно и даже разговорчиво, рассказала ему, что родители ее умерли, и дала понять, что служит не для заработка, а ради собственного удовольствия.

— Тете не нравится, что я служу. Дома у нас всего доволь. Вы, пожалуйста, не думайте, будто мне непременно надо зарабатывать себе на жизнь.

Филип знал, что она говорит неправду. Эту ложь подсказало ей нелепое тщеславие мещанской среды, считавшей труд ради заработка позорным для женщины.

— У нас очень хорошие знакомства, — добавила она.

Филип не мог скрыть улыбку, и она это заметила.

— Чего вы смеетесь? — вспыхнула она. — Вы что, не верите?

— Разумеется, верю, — ответил он.

Она поглядела на него с подозрением, но тут же не смогла удержаться от соблазна поразить его роскошью, в которой выросла.

— У моего отца был свой кабриолет, и мы держали трех слуг. Кухарку, горничную и дворника. А какие у нас росли розы! Люди даже останавливались у калитки и спрашивали, чей это дом, — такие у нас были шикарные розы. Конечно, не очень-то хорошо, что в кафе мне приходится знаться со всякой шушерой, я к такому обществу не приучена, иногда даже подумываю, не бросить ли мне должность. Не воображайте, работы я не боюсь, но противно водиться с кем попало, я же все-таки девушка из хорошей семьи.

Они сидели друг против друга в поезде, и Филип, слушая ее с сочувствием, был на седьмом небе. Его забавляла и немножко трогала ее наивность. Ее щеки чуть-чуть порозовели. Он думал о том, каким блаженством было бы поцеловать ее в подбородок.

— Как только вы пришли в кафе, я сразу подметила, что вы настоящий джентльмен в полном смысле слова. Чем занимался ваш отец?

— Он был врачом.

— Джентльмена сразу видно. В них что-то есть, сама не знаю что, но только их всегда узнаешь с первого взгляда.

Они шли вдвоем со станции.

— Сходим еще разок в театр? — сказал он.

— Ну что ж, пожалуй.

— Почему бы вам хоть раз не сказать: «С удовольствием»?

— С чего бы это?

— Ладно, все равно. Давайте условимся когда. В субботу вечером вас устраивает?

— Ну что ж, пожалуй.

Они договорились, где встретиться, и тут заметили, что подошли к ее углу. Она протянула руку, и он задержал ее в своей.

— Послушайте, мне ужасно хочется звать вас Милдред.

— Зовите, если хотите, мне все равно.

— А вы зовите меня Филипом, ладно?

— Хорошо, если запомню. Мне куда удобнее звать вас мистер Кэри.

Он слегка притянул ее к себе, но она отступила.

— Это еще что?

— Вы не поцелуете меня на прощание? — шепнул он.

— Бесстыдник!

Она выдернула руку и быстро пошла домой.

Филип купил билеты на субботу. В этот день она освободилась не раньше обычного, и ей некогда будет поехать домой переодеться, но она собиралась утром принести с собой платье и надеть его в кафе. Если у заведующей будет хорошее настроение, она отпустит ее ровно в семь. Филип согласился ждать ее на улице, начиная с четверти восьмого. Он не мог дожидаться этого вечера, надеясь, что она позволит ему поцеловать ее в пролетке на обратном пути из театра. В экипаже мужчине удобно обнять женщину за талию (в этом большое преимущество экипажа перед такси), а такое удовольствие с лихвой окупало все расходы.

Но, когда в субботу Филип пришел в кафе пить чай и заодно окончательно условиться с ней о свидании, он встретил на пороге мужчину со светлыми усами. Филип уже знал, что фамилия этого человека Мюллер. Он был натурализованный немец, в Англии жил уже много лет и писал

свою фамилию Миллер, на английский лад. Филипу доводилось слышать, как он разговаривает. Миллер говорил по-английски свободно, хотя и с легким акцентом. Зная, что немец ухаживает за Милдред, Филип жестоко ревновал. Он утешал себя только тем, что Милдред — женщина холодная, хотя отсутствие у нее темперамента очень его огорчало; считая, что она не способна к страсти, он думал, что сопернику повезет не больше, чем ему. Но сейчас у него упало сердце: он сразу же подумал, что неожиданное появление Миллера помешает свиданию, которого он так ждал. Он сел за столик, терзаясь дурными предчувствиями. Милдред подошла к нему, приняла заказ и принесла чай.

— Ужасно жаль, — сказала она с искренним огорчением. — Но мне не удастся пойти с вами сегодня вечером.

— Почему? — спросил Филип.

— Не смотрите на меня так сердито, — засмеялась она. — Я тут ни при чем. Вчера вечером заболела тетя, а служанка сегодня выходная, вот мне и придется посидеть с больной. Не могу же я оставить ее одну?

— Ну, что поделаешь. Я провожу вас домой.

— Но вы же купили билеты. Жалко, если они пропадут.

Он вынул билеты из кармана и хладнокровно их разорвал.

— Зачем вы это сделали?

— Не стану же я смотреть один какую-то дрянную оперетку. Я взял билеты только ради вас.

— Если вы собираетесь меня провожать, это все равно невозможно.

— Вы назначили свидание другому.

— Вот еще выдумали! Такой же эгоист, как все. Думаете только о себе. Разве я виновата, если тете нездоровится?

Она поспешно выписала ему счет и отошла. Филип был еще неопытен, не то он бы знал, что, имея дело с женщиной, куда лучше принимать за чистую монету даже самую явную ложь. Он решил подождать у кафе и проверить, пойдет ли Милдред на свидание с немцем. У него была пагубная страсть выяснять все до конца. В семь часов он занял наблюдательный пост на противоположной стороне улицы. Он искал глазами Миллера, но не видел его. Через десять минут появилась Милдред в накидке и шали, которые были на ней, когда они ходили в театр. Она явно не собиралась домой. Увидев его прежде, чем он успел

скрыться, она слегка вздрогнула, а затем направилась прямо к нему.

— Что вы тут делаете? — спросила она.

— Дышу свежим воздухом, — ответил Филип.

— Вы за мной шпионите, бесстыжие ваши глаза! А я-то думала, что вы джентльмен.

— Разве джентльмен стал бы с вами путаться? — про-
бормотал он сквозь зубы.

В нем сидел какой-то бес и еще больше портил все дело. Он хотел, чтобы ей было так же больно, как ему.

— Разве я не могу передумать? Я вовсе не подряжалась проводить все вечера с вами. Я же сказала, что еду домой, и не смейте ходить за мной по пятам и шпионить!

— Вы видели сегодня Миллера?

— Не ваше дело. Если хотите знать, я его вовсе и не ви-
дела, так что вы опять дали маху!

— А я его видел. Он столкнулся со мной в дверях.

— Ну и что с того? Не могу я, что-ли, куда-нибудь с ним пойти? Вам-то какое дело?

— Он, кажется, заставляет себя ждать?

— А мне приятнее ждать его, чем позволять вам ждать меня. Зарубите это себе на носу. А теперь идите-ка лучше домой и больше не суйте нос в чужие дела.

Гнев вдруг прошел, и его охватило отчаяние, голос у него задрожал:

— Послушайте, Милдред, не будьте такой жестокой. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Я вас люблю, понимаете? Ну что вам стоит пойти со мной? Я так ждал сегодняшнего вечера. Видите, Миллер не пришел, значит, ему на вас наплевать. Пойдемте пообедаем вместе. Я куплю другие билеты, куда вы захотите.

— Я же сказала, что не пойду. И нечего разговаривать. Как решила, так и будет, я своих намерений не меняю.

С минуту он смотрел на нее молча. Сердце его разрывалось от горя. Мимо них спешили люди, с шумом проносились экипажи и конки. Он заметил, что Милдред ищет кого-то взглядом. Она боялась пропустить в толпе Миллера.

— Так больше продолжаться не может, — простонал Филип. — Это слишком унижительно. Если я сейчас уйду, я больше никогда не вернусь. Если вы не пойдете со мной сегодня, вы меня больше не увидите.

— Ишь ты! Кажется, думаете меня напугать? А я вам вот что скажу: скатертью дорога.

— Тогда прощайте.

Он кивнул и медленно заковылял прочь: в душе он еще надеялся, что она позовет его обратно. У следующего фонарного столба он остановился и повернул голову. Стоило ей подать знак — и он бы позабыл все, пошел бы на любое унижение, но, оставшись одна, она тут же перестала о нем думать. Он понял, что она была рада от него избавиться.

ГЛАВА 59

Филип терзался весь вечер. Он предупредил хозяйку, что его не будет дома, она не приготовила ужина, и ему пришлось пойти в ресторан. Потом он вернулся к себе, но наверху у Гриффитса была вечеринка, и шум, который доносился оттуда, еще больше нагонял на него тоску. Он решил сходить в мюзик-холл, но в субботу можно было купить только стоячие места; проскучав полчаса, он почувствовал, что у него болят ноги, и пошел домой. Он попробовал читать, но не мог сосредоточиться; между тем ему надо было заниматься. Через две недели предстоял экзамен по биологии, и, хотя предмет был легкий, он его совсем не знал, так как в последнее время забросил лекции. Впрочем, экзамен был устный; он не сомневался, что за две недели сумеет подготовиться и как-нибудь сдаст. Он верил в свои способности. Отложив книгу, он задумался: одна и та же мысль не покидала его ни на минуту.

Он горько жалел о своем поведении. Почему он поставил ее перед выбором: либо пойти с ним обедать, либо расстаться навсегда? Конечно, она отказалась. У каждого человека есть гордость. Теперь он сжег за собой корабли. Мысль об этом не так бы его мучила, если бы Милдред была огорчена, но он знал ее слишком хорошо: она была к нему совершенно равнодушна. Не будь он дураком, он прикинулся бы, будто верит ее рассказу о больной тетке; надо было найти в себе силы и скрыть огорчение, надо было сдерживать свою вспыльчивость.

Странно, как он мог ее полюбить! Филип считал, что влюбленный смотрит на предмет своего увлечения сквозь розовые очки, но он-то видел ее такой, какой она была на самом деле. Она не казалась ему ни интересной, ни остро-

умной; все ее помыслы были пошлыми; ее житейская хитрость отвратительна, ей недоставало доброты, душевности. Как она признавалась сама, она думала только об одном — как бы получше устроить свою жизнь. Ее радовало, когда удавалось надуть ничего не подозревавшего простака; приятнее всего ей было кому-нибудь насолить. Филип горько посмеялся, вспомнив, как жеманно она держалась за столом. Милдред не выносила грубых слов; насколько позволял ее ограниченный словарь, она выражалась с претенциозной «изысканностью»; во всем ей чудилась непристойность; брюки она называла не иначе как «нижней частью туалета»; даже сморкаться она считала неприличным и делала это исподтишка. Она страдала острым малокровием, а поэтому и расстройством пищеварения. Филипу были противны ее плоская грудь и узкие бедра, он ненавидел ее мешанскую прическу. Он презирал и проклинал себя за то, что любит ее.

Но он был совершенно беспомощен. Он чувствовал себя так же, как когда-то в школе, попавшись в руки какому-нибудь рослому мучителю. Он отбивался изо всех сил, но потом его вдруг охватывало такое безразличие, что он до сих пор помнил ту томящую слабость, которая словно параличом сковывала ему руки и ноги. Он становился беспомощным, как мертвец. Вот и теперь он испытывал такую же слабость. Он любил эту женщину, он понимал, что до сих пор еще никого не любил. Он прощал ей все недостатки ее наружности и характера; может быть, он любил их тоже — во всяком случае, они ему не мешали. Казалось, он совсем потерял себя и находился во власти какой-то неведомой силы, которая толкает его против воли, против его интересов. И, больше всего на свете ценя свободу, он ненавидел опутавшие его цепи. Он смеялся над собой, вспоминая, как часто мечтал испытать всепоглощающую страсть. Он ругал себя за то, что поддался ей. Он старался припомнить, с чего это началось; как было бы все хорошо, не пойдя он тогда с Дансфордом в кафе. Он сам был во всем виноват. Если бы не его дурацкое самомнение, он никогда бы и думать не стал об этой наглой девке.

Но так или иначе то, что сегодня случилось, положило этому конец. Он больше не может к ней вернуться, если не совсем потерял всякий стыд и совесть. Он жаждал избавиться от этого рабского чувства: оно было недостойно и унижительно. Он больше не смеет думать о Милдред. Скоро

боль пойдет на убыль. Он подумал о прошлом. Неужели Эмили Уилкинсон и Фанни Прайс терпели из-за него такие же муки, какие он испытывает сейчас? В нем зашевелилась совесть.

«Но я ведь тогда не знал, что это такое», — говорил он себе.

Спал он прескверно. На следующий день было воскресенье, и он занимался биологией. Сидя за книгой, он беззвучно шевелил губами, повторяя каждую фразу, чтобы лучше сосредоточиться, но ничего не мог запомнить. Он по-минутно думал о Милдред, повторял слово в слово их последний разговор. Ему нужно было насильно заставлять себя вернуться к книге. Он пошел прогуляться. К югу от Темзы улицы были неказисты и в будние дни, но всю неделю там царили шум и движение, придававшие им, несмотря на убогость, оживленный вид; по воскресеньям же, когда лавки были закрыты и на мостовых не грохотали экипажи, эти улицы, погруженные в тишину и покой, становились неописуемо унылыми. Филипу казалось, что день никогда не кончится. Но он так устал, что вечером заснул тяжелым сном, а в понедельник утром проснулся с твердой решимостью зажить по-новому.

Приближалось Рождество, и многие студенты уезжали в деревню на зимние каникулы; Филип отклонил приглашение дяди приехать в Блэкстебл. Он сослался на предстоящие экзамены; на самом деле ему просто не хотелось оставить Лондон и Милдред. Он запустил занятия и теперь должен был за две недели пройти то, на что по программе полагалось три месяца. Он усердно принялся за дело. С каждым днем ему становилось все легче не думать о Милдред. Он уже поздравлял себя с тем, что у него такой твердый характер. Его страдания утратили остроту; боль притупилась; он был похож на человека, упавшего с лошади и хотя не поломавшего костей, но сильно избитого и еще напуганного. Филип почувствовал, что уже может с любопытством анализировать то состояние, в котором он находился последние недели. Он с интересом принялся исследовать свои чувства. Ему было даже чуть-чуть забавно. Больше всего его поражало, какую ничтожную роль играет в таких случаях рассудок; философская система, которую он для себя создавал с таким жаром, нисколько ему не помогла. Вот это ставило его в тупик.

Но стоило ему издать увидеть девушку, похожую на Милдред, как сердце его замирало. И, уже не в силах совладать с собой, он лихорадочно бросался ей вдогонку и только потом убеждался, что это совсем не она.

Студенты собрались после каникул, и как-то раз он зашел с Дансфордом выпить чаю в закусочную той же фирмы, которой принадлежало кафе, где служила Милдред. Хорошо знакомая форма официанток нагнала на него такую тоску, что он не мог разжать губ. Ему вдруг пришло в голову, что Милдред могли перевести в другое кафе и в один прекрасный день он внезапно столкнется с ней лицом к лицу. От одной этой мысли он побледнел и перепугался, как бы Дансфорд этого не заметил; Филип совсем онемел, он с трудом делал вид, будто слушает собеседника, болтовня Дансфорда выводила его из себя. С величайшим усилием он сдерживался, чтобы не прикрикнуть на приятеля и не попросить его ради Христа помолчать...

Но вот настал день экзаменов. Когда пришла его очередь, Филип уверенно подошел к столу экзаменатора. Он ответил на три или четыре вопроса. Потом экзаменатор стал показывать ему различные препараты; Филип так редко посещал лекции, что, как только его спросили о том, чего нельзя было найти в учебнике, его песенка была спета. Он попытался скрыть, что не очень хорошо подготовлен; экзаменатор был не слишком настойчив, и скоро положенные десять минут истекли. Филип был уверен, что выдержал экзамен; но на следующий день, придя узнать результаты, был поражен, не найдя своего номера в списке выдержавших. Не веря своим глазам, он просмотрел список трижды.

— Ужасно обидно, что ты провалился, — сказал ему Дансфорд.

Филип посмотрел на него и по его сияющему лицу догадался, что тот выдержал.

— Ерунда, — сказал Филип. — Хорошо, что у тебя все в порядке. А я сдам в июле.

Он делал вид, будто не придает своему провалу никакого значения, и на обратном пути упорно разговаривал о посторонних вещах. Дансфорд со свойственным ему добродушием хотел поговорить о том, что послужило причиной неудачи Филипа, но тот заупрямился. Он был страшно подавлен; а то, что Дансфорд, которого Филип считал очень славным, но недалеким малым, выдержал экзамен, делало

его провал еще более обидным. Он всегда гордился своим умом и теперь в отчаянии спрашивал, не переоценивал ли он себя. За три месяца зимней сессии студенты первого курса уже успели себя проявить: выяснилось, у кого из них блестящие способности, кто сообразителен или трудолюбив, а кто попросту «тупица». Филип почувствовал, что его провал никого не удивил, кроме разве его самого. Было около пяти часов дня, он знал, что большинство студентов отправится пить чай в институтскую столовую; выдержавшие экзамен будут торжествовать; те, кому он, Филип, не по душе, будут смотреть на него со злорадством, а неудачники станут сочувствовать, чтобы найти сочувствие и у него; Филипа так и подмывало отправиться домой и не ходить в институт целую неделю, пока все позабудется, но именно потому, что ему так этого не хотелось, он пошел пить чай со всеми; он решил наказать себя. На сей раз он, кажется, забыл свое жизненное правило — следовать естественным склонностям с должной оглядкой на полицейского за углом... Если же он не следовал этому правилу, значит, у него в характере была какая-то болезненная потребность себя мучить.

Но позже, выдержав пытку, к которой он себя приговорил, и выйдя в ночную тьму после шумных разговоров в курилке, он почувствовал невыразимое одиночество. Он казался себе смешным и никому не нужным. Ему мучительно хотелось, чтобы его утешили, и соблазн увидеть Милдред стал слишком силен. Правда, с горечью думал он, от нее вряд ли можно дожидаться утешения, но ему хотелось просто ее повидать; в конце концов она официантка и обязана прислуживать ему, как и всякому другому. Милдред была единственным дорогим ему человеком на свете. Бесплезно скрывать это от себя. Конечно, унижительно вернуться в кафе, словно ничего не случилось, но у него осталось не так уж много гордости. Не желая себе в этом признаться, он втайне надеялся получить от нее письмо: она ведь знала адрес института. Но она ему не написала: видно, ей было совсем безразлично, увидит она его снова или нет.

Он твердил себе: «Я должен, должен ее увидеть».

Желание было таким непреодолимым, что у него не хватило терпения дойти до кафе пешком, и он вскочил в пролетку; обычно он не делал этого из бережливости. Несколько мгновений он простоял на улице перед дверьми.

Вдруг ему пришло в голову, что она больше здесь не работает. В ужасе он вбежал в кафе и сразу же ее увидел. Он сел за ее столик, и она к нему подошла.

— Пожалуйста, чашку чаю и булочку, — заказал он.

Слова застревали у него в горле. Он боялся заплакать.

— А я-то уж думала, что вы умерли, — сказала она.

Она улыбалась. Улыбалась! По-видимому, она совсем забыла их ссору, которая не давала Филипу жить.

— Я решил, что вы мне напишете, если вам захочется меня видеть, — ответил он.

— Больше мне делать нечего, стану я письма писать!

Разве она могла сказать ему хоть одно ласковое слово?

Филип проклинал судьбу, которая приковала его к такой женщине. Милдред пошла за чаем.

— Хотите, я присяду к вам на минутку? — спросила она, когда вернулась.

— Да.

— Где же вы были все это время?

— В Лондоне.

— Я подумала, что вы уехали на каникулы. Отчего вы не приходили?

Филип смотрел на нее измученными и горящими глазами.

— Разве вы не помните, я ведь сказал, что мы никогда больше не увидимся?

— Тогда зачем вы пришли?

Казалось, Милдред хочет заставить его испытать чашу унижения до дна, но, зная ее, он понимал, что она говорит наобум; она мучила его без всякого злого умысла. Он ничего не ответил.

— Разве это не было подло шпионить за мной? А я-то верила, что вы джентльмен в полном смысле слова.

— Не будьте со мной такой жестокой, Милдред. Я этого не вынесу.

— От вас прямо помрешь, ей-Богу! Никак я вас не разберу.

— Да все очень просто: я, набитый дурак, полюбил вас без памяти, а вам, я знаю, на меня наплевать.

— Будь вы джентльменом, вы бы пришли на другой день и попросили у меня прощения.

Она была безжалостна. Филип взглянул на ее шею и подумал, как хорошо было бы полоснуть по ней ножом,

который Милдред ему подала. Он уже достаточно хорошо знал анатомию, чтобы сразу найти сонную артерию. И в то же время ему так хотелось покрыть поцелуями ее бледное узкое лицо.

— Если бы вы могли понять, как я вас люблю.

— Вы еще не попросили у меня прощения.

Он стал блее полотна. Она была уверена, что ни в чем не провинилась. Теперь она хотела видеть его унижение. А ведь он по натуре был человек гордый: на какой-то миг его охватило желание послать ее к черту, но он не посмел. Страсть делала его малодушным. Он готов был на что угодно, лишь бы ее видеть.

— Я очень жалею, что так случилось, Милдред. Пожалуйста, простите меня.

Он едва выдавил из себя эти слова. Они стоили ему невероятных усилий.

— Ну, теперь, когда вы попросили прощения, могу вам сказать: я пожалела, что не пошла с вами в тот вечер. Мне казалось, что Миллер — джентльмен, но я, видно, ошиблась. И мигом его прогнала.

У Филипа даже дух захватило от счастья.

— Милдред, пойдите со мной сегодня вечером! Давайте где-нибудь поужинаем,

— Ох, ей-Богу, не могу. Меня будет ждать тетя.

— Я пошлю ей телеграмму. А вы скажете, что вас задержали в кафе; она ничего не узнает. Ну пойдите, умоляю вас. Я так давно вас не видел, мне хочется с вами поговорить.

Она недовольно оглядела свое платье.

— Чепуха! Мы пойдем куда-нибудь, где никто и не заметит, как вы одеты. А потом сходим в мюзик-холл. Ну, пожалуйста, скажите да. Мне это доставит такое удовольствие!

Она немного поколебалась; он смотрел на нее жалким, умоляющим взглядом.

— Ну что ж, пожалуй. Сто лет никуда не ходила.

Он едва удержался, чтобы не схватить ее руку и не покрыть поцелуями.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Скороденко. Достигнутая гармония</i>	<i>5</i>
Бремя страстей человеческих. Главы 1—59.	
<i>Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова.</i>	<i>33</i>

СОМЕРСЕТ МОЭМ

*Собрание сочинений
в 9 томах*

Том 1

Редактор *А. Шустов*

Художественный редактор *И. Марев*

Технический редактор *Т. Фатюхина*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0599221.

Подписано в печать 06.05.99 г.

Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂.

Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48.

Уч.-изд. л. 19,48. Заказ № 552.

ТЕРРА—Книжный клуб.

113093, Москва, ул. Щипок, 2, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ООО «Галатея».

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

**Книжный клуб
Холдинговой компании «Терра»
выпускает в свет:**

Лот № 2600

Уильям Фолкнер

Собрание сочинений в девяти томах

Самобытное творчество Уильяма Фолкнера (1897–1962), высокий гуманизм и истинное мастерство его прозы выводят писателя на авансцену не только американской, но и мировой литературы. В настоящем Собрании сочинений представлены основные произведения, характеризующие все периоды творчества У. Фолкнера, — романы «йокнапатофской саги», включая трилогию о Сноупсах, рассказы, объединенные в сборники «Эти тринадцать», «Доктор Марино», «Сойди, Моисей» и «Ход конем».

*Книги можно заказать по адресу:
150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2.*

**В открытке не забудьте указать название книги,
количество экземпляров и ваш адрес
(обязательно с почтовым индексом).**

*Книги издательств и книжного клуба
Холдинговой компании «ТЕРРА»
вы можете купить в магазинах:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, к. 1
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

113093, Москва, ул. Щипок, 2,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 5.
Тел. 737-04-78

или заказать по адресу:

*150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2*

